ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ

Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science

Научный журнал

2019 № 48

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-30316 от 16 ноября 2007 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Подписной индекс 44046 в объединенном каталоге «Пресса России»

Журнал включен в БД Emerging Sources Citation Index (Web of Science Core Collection) и в «Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук»

Высшей аттестационной комиссии

(№ 1528)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Суровцев В.А. (Томск, Россия) – главный редактор, доктор филос. наук, профессор. E-mail: surovtsev1964@mail.ru: Рыкун А.Ю. (Томск, Россия) - зам. главного редактора (социология), доктор соц. наук, профессор. E-mail: а rykun@mail.ru; Щербинин А.И. (Томск, Россия) – зам. главного редактора (политология), доктор полит. наук, профессор. E-mail: shai52@mail.ru; Агафонова Е.В. (Томск, Россия) - ответственный секретарь, кандидат филос. наук, доцент. E-mail: agaton@rambler.ru; Сухушина Е.В. (Томск, Россия) – ответственный секретарь (социология), кандидат филос. наук, доцент. E-mail: elsukhush@inbox.ru; Скочилова В.Г. (Томск, Россия) - ответственный секретарь (политология), кандидат филос. наук. E-mail: veronassk@gmail.com; **Борисов Е.В.** (Томск. Россия) – доктор филос. наук. профессор: Оглезнев В.В. (Томск, Россия) доктор филос. наук, профессор; Сыров В.Н. (Томск, Россия) доктор филос, наук, профессор: Черникова И.В. (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; Лалов В.А. (Томск, Россия) – доктор филос. наук, профессор; Южанинов К.М. (Томск, Россия) – кандидат филос, наук, доцент: Шербинина Н.Г. (Томск. Россия) – доктор полит. наук, профессор; Кашпур В.В. (Томск, Россия), кандидат соц. наук, доцент

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Химма Кеннет Э. (Университет Вашингтона,

ситет, Дрезден, ФРГ); Шефлер Уве (Техниче-

Сиэтл, США); Ренч Томас (Технический универ-

ский университет, Дрезден, ФРГ); Вяткина Н.Б.

(Институт философии НАНУ, Киев, Украина); Васильев В.В. (Московский государственный университет, Москва, Россия); Микиртумов И.Б. (Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия); Целищев В.В. (Институт философии и права СО РАН, Новосибирск, Россия); Диев В.С. (Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия); Джонсон Марк С. (Университет Висконсина, Мэдисон, США); Балцер Харли С. (Университет Джорджтауна, США); Чалаков Иван (Университет Пловдива, Болгария); Вавилина Н.Д. (Новый сибирский университет, Новосибирск, Россия); Константиновский Д.Л. (Институт социологии РАН, Москва, Россия); Черныш М.Ф. (Институт социологии РАН, Москва, Россия); Ярская-Смирнова Е.Р. (Государственный университет - Высшая школа экономики, Москва, Россия); Малинова О.Ю. (Институт информации по общественным наукам РАН, Москва, Россия);

Соловьев А.И. (Московский государственный

сия); Чахор Рафал (Нижнесилезская высшая

университет им. М.В. Ломоносова, Москва, Рос-

школа предпринимательства и техники, Польковице, Польша); **Шестопал Е.Б.** (Московский

государственный университет им. М.В. Ломоно-

сова, Москва, Россия); Шуберт Клаус (Вестфальский университет им. Вильгельма, Мюнстер, ФРГ)

EDITORIAL BOARD:

Surovtsev V.A. (Tomsk, Russia) -Editor-in-Chief Rvkun A.U. (Tomsk. Russia) -Deputy Editor-in-Chief (Sociology) Shcherbinin A.I. (Tomsk, Russia) -Deputy Editor-in-Chief (Political Science) Agafonova E.V. (Tomsk, Russia) - Executive Editor Sukhushina E.V. (Tomsk, Russia) -Executive Editor (Sociology) Skochilova V.G. (Tomsk, Russia) -Executive Editor (Political Science) Borisov E.V. (Tomsk, Russia) Ogleznev V.V. (Tomsk, Russia) Syrov V.N. (Tomsk, Russia) Chernikova I.V. (Tomsk, Russia) Ladov V.A. (Tomsk, Russia) Uzhaninov K.M. (Tomsk. Russia) Shcherbinina N.G. (Tomsk, Russia) Kashpur V.V. (Tomsk, Russia)

EDITORIAL COUNCIL:

Himma K. E. (University of Washington, Seattle, USA); Rentsch T. (Technical University Dresden, Germany); Scheffler U. (Technical University Dresden, Germany); Viatkina N.B. (Institute of Philosophy of NASU, Kiev, Ukraine); Vasilvev V.V. (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); Mikirtumov I.B. (Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia); Tselishcev V.V. (Institute of Philosophy and Law of SB RAS, Novosibirsk, Russia); Diev V.S. (Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia); Johnson M. S. (University of Wisconsin, Madison, USA); Balzer H.S. (Georgetown University, USA); Tchalakov I. (University of Plovdiv, Bulgaria); Vavilina N.D. (New Siberian Institute, Novosibirsk, Russia); Konstantinovskyi D.L. (Institute of Sociology, Moscow, Russia); Chernysh M.F. (Institute of Sociology, Moscow, Russia); Iarskaia-Smirnova E.R. (National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia); Malinova O.Y. (Institute of Information on Social Sciences of RAS, Moscow, Russia); Soloviov A.I. (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); Czachor Rafal (Lower Silesian University of Entrepreneurship and Technology, Polkowice, Poland); Shestopal E.B. (Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia); **Shubert K.** (Westphalian Wilhelm University, Muenster, Germany)

СОДЕРЖАНИЕ

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

Бажанов В.А., Козина О.А. Феномен плагиата и его восприятие в академической сред Родин К.А. Витгенштейн и социальные исследования (рецензия на книгу Альбе Ожьена «Практические действия: Витгенштейн, прагматизм и социология»)	oa
монологи, диалоги, дискуссии	
Ogleznev V.V. Ascriptive legal language and its origins in the speech act theory	2
Antonov M.V. Truth in judicial interpretation from positivist and non-positivist perspectives Didikin A.B. Free will, action and responsibility: Philosophical and legal analysis Kirillova N.P., Lisanyuk E.N. Truth and legal argumentation in Fyodor Dostoevsky The Karamazov Brothers	1 's
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP "SEMANTICS AND LOGIC OF LEGAL LANGUAGE", APRIL 2018, FACULTY OF PHILOSOPHY, TOMSK STATE UNIVERSITY	
Краснопёров А.Ю. Гражданская культура как форма социальной коммуникации Шишков В.В. Империя в представлении теории нации и национализма	1
мировании современной российской идентичности	и-
ПОЛИТОЛОГИЯ Евгеньева Т.В., Титов В.В., Белоконев С.Ю. Место образа славянского мира в фо	
вания социальности	
порядка в постгуманизированном мире	0-
Катерный И.В. Гендерно-сексуальная трансмобильность как проблема нормативно	ГО
тивным институциональным факторам	ИЗ
Быков Р.А, Быкова Е.Ю. Социальная апатия как форма адаптации учителей к нег	
социология	
Шуталева А.В. Фундаментальная проблема субъективности в нейрофеноменолого Ф. Варелы	
Целищева О.И. Неопрагматистская риторика Р. Рорти в представлении релятивиза Т. Куна	
история философии	
Петренко В.В. Мода как героизация повседневного: женская версия дендизма в горо ской культуре постсовременности	
Дыдров А.А., Невелева В.С. Антропология инноваций	e
СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ	
«прыжок веры» и математическая практика	
Ополев П.В. Проблемы концептуализации сложности в науке и философии	
сической, неклассической и постнеклассической науке	

CONTENTS

ONTOLOGY, EPISTEMOLOGY, LOGIC

Bryanik N.V. The comparative analysis of epistemological distinctions between laws in clas-	
sical, non-classical and post-non-classical science	15
SOCIAL PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HUMANITY	
Dydrov A.A., Neveleva V.S. The anthropology of innovations	35
Klochikhina V.S. Extension of the interpretation of the term "security" on the example of Robert Nozick's "ultra-minimal state"	49
Petrenko V.V. Fashion as a glorification of everyday life: The woman's version of dandyism in the urban culture of postmodernity	58
HISTORY OF PHILOSOPHY	
Tselishcheva O.I. Rorty's neo-pragmatist rhetoric in viewing Kuhn's relativism	72 84
SOCIOLOGY	
Bykov R.A., Bykova E.Yu. Social apathy as a form of teachers' adaptation to negative insti-	91
Danilova L.N. Feminization of the teaching profession: A sociocultural analysis of the gender evolution of educational work in Germany	101
Katernyi I.V. Gender-sexual transmobility as a normative challenge in a posthuman world	112
Udaltsova M.V., Abramova E.A. Social interactions as a mechanism that forms sociality	126
POLITICAL SCIENCE	
Evgenieva T.V., Titov V.V., Belokonev S.Yu. The place of the "Slavic world" image in the formation of the contemporary Russian identity	135
Kerimov A.A. The parliamentary system in modern Russia: Peculiarities and problems of implementation	145
Krasnoperov A.Yu. A civic culture as a form of social communication	154 163
PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP	
"SEMANTICS AND LOGIC OF LEGAL LANGUAGE",	
APRIL 2018, FACULTY OF PHILOSOPHY, TOMSK STATE UNIVERSITY	
Antonov M.V. Truth in judicial interpretation from positivist and non-positivist perspectives Didikin A.B. Free will, action and responsibility: Philosophical and legal analysis	173 186
Kirillova N.P., Lisanyuk E.N. Truth and legal argumentation in Fyodor Dostoevsky's	
The Karamazov Brothers	193
Ogleznev V.V. Ascriptive legal language and its origins in the speech act theory	205 212
MONOLOGUES, DIALOGUES, DISCUSSIONS	
Bazhanov V.A., Kozina O.A. The plagiarism phenomenon and its perception in the academia Rodin K.A. Wittgenstein and social studies (Review of Albert Ogien's Practical Action: Wittgenstein, Pragmatism and Sociology)	225 236
INFORMATIONS ABOUT THE AUTHORS	245

ОНТОЛОГИЯ, ЭПИСТЕМОЛОГИЯ, ЛОГИКА

УДК 167.6

DOI: 10.17223/1998863X/48/1

Н.В. Бряник

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКОНА В КЛАССИЧЕСКОЙ, НЕКЛАССИЧЕСКОЙ И ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКЕ

Переход от классической к постнеклассической науке ведет к трансформации смысла законов. Если классическая наука признает естественные, неизменные, включающие динамический и статический аспекты законы, то неклассическая обнаруживает субъектный характер структурных законов, меняющих значение динамики / статики, предвосхищает новую роль времени, что реализуется в постнеклассической науке, раскрывающей через историко-генетические законы эволюцию как самоорганизацию. Ключевые слова: закон науки, классическая / неклассическая / постнеклассическая наука, статические / динамические законы, структурные законы, историкогенетические законы.

В эпистемологии закон рассматривается достаточно абстрактно как особая форма систематизации научного знания, в философии физики (и других отраслей науки) анализ законов погружается в несводимую к общему конкретику. Сравнительный анализ концепций закона, сложившихся на основных стадиях развития науки современного типа, позволяет составить представление о законе как целостном феномене. Подобного рода исследования отсутствуют в отечественной и зарубежной литературе.

Наука современного типа претерпела существенные трансформации, что позволяет фиксировать *классическую*, *неклассическую* и *постнеклассическую* стадии в ее развитии [1, 2].

Трактовка закона классической науки

Наука Нового времени радикально изменила структуру научного мышления – поиск законов становится главной целью исследования. Галилей обнаруживает тождество законов Неба и Земли, и законы механики становятся универсальными. Но это еще не означало признания их объективности. Первая величина классической науки Ньютон заявляет: «...не должно философии... полагать, что мир мог возникнуть из хаоса только по законам природы» [3. С. 305]. Если не по законам природы, то как? А. Койре, исследовавший творчество Ньютона, приходит к выводу, что «вера в вездесущего... бога позволила ему... отказаться от механических объяснений» [4. С. 246]. И в этом он следует ценностным установкам классической науки, которые господствовали до середины XVIII в. Так, идейный противник Ньютона в науке Декарт в трактате «Мир», по сути, подходит к открытию закона сохранения, а фундаментальность его обосновывает, «ссылаясь... на боже-

ственную неизменность, согласно которой бог всегда действует одним и тем же способом» [4. С. 217]. К середине XVIII в., по оценке В.И. Вернадского, наука освобождается от сверхъестественных сил, а законы механики становятся синонимом естественности.

Анализ законов классической науки дает известный идеолог этой науки О. Конт. Подытоживая путь, пройденный наукой к началу XIX в., он выделяет сложившиеся к этому времени признаки законов. Конт вводит понятие «естественные законы». Мы находим у него: «...основной переворот... заключается в повсеместной замене недоступного определения причин... простым исследованием законов, т.е. постоянных отношений, существующих между наблюдаемыми явлениями» [5. С. 12]. Новые структуры мышления позволяют ограничиться законами, которые могут быть сформулированы, если мы располагаем данными наблюдений. Спустя сто лет схожие оценки закона науки дает Л. Витгенштейн. Ложное возвеличивание законов, считает он, связано с неоправданными надеждами на их объяснительную функцию. В этой связи он пишет: «В основе всего современного мировоззрения лежит иллюзия, будто бы так называемые законы природы суть объяснения природных явлений» [6. С. 69]. Признавая описание в качестве функции законов науки, Витгенштейн близок к позиции Конта, для которого «в законах явлений действительно заключается наука» [5. С. 15].

Конт, настаивая на том, что закон есть регулярно повторяющиеся отношения между наблюдаемыми явлениями, вместе с тем критикует позицию эмпиризма: сами по себе факты всего лишь сырой материал для законов. Основоположник позитивной философии, сторонник рациональной природы закона, которая заключается в способности ученых предвидеть на их основе, он утверждает: «...видеть, чтобы предвидеть, изучать то, что есть, и отсюда заключать о том, что должно произойти согласно общему положению о неизменности естественных законов» [Там же]. Неизменность столь же существенный признак законов, как и их естественный характер. Неизменность означает их тождественность для прошлого, настоящего и будущего, что и позволяет предвидеть будущее.

В середине XX в. К. Поппер, решительно настроенный на критику позитивистской традиции, в понимании предсказательной функции закона, по сути, придерживается позиции Конта. По Попперу, наука оправдывает себя тем, что ее теоретические достижения органически связаны с практическими — способностью предсказывать и иметь технические приложения. Законы позволяют выйти за пределы исследованного и экстраполировать их на неизведанное. Отличие его подхода от контовского в том, что Поппера интересует логическое своеобразие предсказания — оно трактуется им как разновидность логического заключения.

Конт отрицает возможность в науке какого-то всеобщего закона: «...нужно открыто признать... прямую невозможность все приводить к единому положительному закону» [Там же. С. 19]. Он признает свои законы для каждого «класса явлений». Таких «главных классов явлений» столько, сколько областей научного знания представлено в его «иерархии наук», которая сама подчиняется так называемому «энциклопедическому закону». Как один из создателей социально-политической науки, особое внимание он уделяет законам «политическим и моральным, так как главная деятельность челове-

чества должна... состоять в беспрерывном улучшении своей собственной индивидуальной или коллективной природы в пределах, указываемых... совокупностью всех реальных законов» [5. С. 22].

Конт производит еще одно значимое разделение законов: «Относительно каждого рода событий в... законах должно... различать два класса, смотря по тому, связывают ли они по подобию события сосуществующие, или – по преемственности — следующие друг за другом... отсюда во всякой реальной науке вытекает основное различие между статической и динамической оценками какого-либо предмета» [Там же. С. 18]. Он вводит концепт статических и динамических законов, устанавливая различие между ними: первые раскрывают аспект сосуществования (пространственный параметр), вторые — аспект следования (временной параметр). В разработанной им социологии эти аспекты предстают как законы социальной статики и социальной динамики.

Итак, классическая наука приходит к признанию приоритетной значимости закона в научном исследовании, который приобретает признаки универсального, неизменного, естественного отношения между регулярно наблюдаемыми явлениями в статическом и динамическом аспектах, обладающего функциями описания и предвидения.

Трактовка закона неклассической науки

Принципиальные отличия неклассической трактовки закона связаны в первую очередь с особенностями эксперимента неклассической науки [7], главная отличительная черта которого – неустранимость влияния субъекта на результаты эксперимента.

Одна из значимых фигур в исследовании данного вопроса – Э. Мах. Высоко оценив философскую позицию Конта, он признал недооценку им психологии, которая заставляет пересмотреть основополагающие представления, в том числе и о законах науки. Суть позиции Маха состоит в признании того, что «по происхождению своему "законы природы" суть ограничения, которые мы предписываем нашим ожиданиям по указаниям опыта» [8. С. 425]. Выходит, законы природы создаются человеком. На этом основании Мах критикует подход, согласно которому закон представляет собой многократно повторенные восприятия, в силу чего он может быть спроецирован на внешний мир и приписан ему. Ведь тогда логично предположить, что «естественный закон мог бы существовать и ранее, чем он был познан человеком» [Там же. С. 426], т.е. существовать до появления человека. Мах квалифицирует подобное предположение как крайний эмпиризм. Ему самому близка позиция умеренного эмпиризма - он постоянно подчеркивает, что законы лишь описывают изучаемый объект и являются наиболее экономным приспособлением мыслей к фактам. Это приспособление заключается в обработке фактов с помощью схем, абстракций и идеализаций. Поэтому всякий закон представляет собой «методическое приспособление» и некое условное построение. Условный характер законов природы обусловлен тем, что человек с его особенной психической конституцией всего лишь часть природы, и эта часть не в состоянии на каждом данном этапе схватить целое. Признание субъективной природы законов не означает для него отождествления этой субъективности с психикой индивидуума - он понимает под ней биологически детерминированную психику рода человеческого. Согласно Маху «научный закон имеет значение для всякого нормального человеческого существа и неизменен, доколе его познавательные способности остаются на той же ступени развития» [8. С. 426]. Позитивистская установка в понимании закона ярко выражена в биологизации им функций законов. Раз законы «ограничивают наши ожидания», то они работают на самосохранение рода человеческого. В ограничении человеческих ожиданий и заложена предсказательная функция законов.

А. Эйнштейн – другая важная для неклассической науки фигура. Начав с принятия философской установки Маха, Эйнштейн по ходу работы над общей теорией относительности переосмысливает ее и утверждается на позициях рационалистического реализма [9]. В противовес неизменным естественным законам классической науки Эйнштейн обосновывает зависимость законов от систем координат. Координатные системы он связывает с субъектом-наблюдателем, но цель, которой руководствуется Эйнштейн, – это поиск объективного положения дел, ведь только «тогда мы будем в состоянии применять законы природы в любой системе координат» [10. С. 297].

Статические и динамические законы принципиально значимы для его концепции, но они приобретают новый смысл. Вот его разъяснения на этот счет: «Мир событий может быть описан динамически с помощью картины, изменяющейся во времени и набросанной на фоне трехмерного пространства. Но он может быть также описан посредством статической картины, набросанной на фоне четырехмерного пространственно-временного континуума. ... С точки зрения теории относительности статическая картина... более объективна» [Там же. С. 295]. Согласно Эйнштейну классическая физика основана на динамических законах, а релятивистская — на статических. И хотя в теории относительности время учитывается, но все-таки в эйнштейновских идеализациях движение предстает как то, что есть, а не то, что изменяется, — отсюда, правомерность использования понятия статики. Включенность времени в координатные системы позволяет законам науки предсказывать.

Принципиальные новации в понимании закона, обнаруженные Эйнштейном, связаны с открытием поля как особого вида физической реальности, тогда как классические представления базировались на веществе (теле). В рассуждениях ученого мы находим: «Ньютонов закон тяготения связывает движение тела здесь и теперь с действием другого тела в то же самое время на далеком расстоянии... Уравнения Максвелла суть структурные законы. Они связывают события, которые происходят теперь и здесь, с событиями, которые происходят немного позднее и в непосредственном соседстве. Они суть законы, описывающие электромагнитное поле. Наши новые гравитационные уравнения суть также структурные законы, описывающие изменения поля тяготения» [Там же. С. 313]. Если ньютоновские законы – это законы дальнодействия, то структурные законы – это законы близкодействия. Структурные законы, по Эйнштейну, присущи электромагнитным и гравитационным полям. Для него этот признак становится фундаментальным: «...форма структурных законов... требуется от всех физических законов со времени великих достижений теории поля» [Там же. С. 314]. Переходя от «новой физики» к «новой философии», он заявляет цель второй - обосновать справедливость структурных законов везде и всюду.

Эйнштейн приходит к выводу, что природные процессы предстают не в виде разных по качеству форм реальности – вещества и поля, они являют собой реальности одного качества. Ученый задается фундаментальным вопросом о физическом критерии различия поля и вещества. Его ответ таков: «Раньше, когда мы не знали теории относительности, мы пытались бы ответить на этот вопрос следующим образом... Поле представляет энергию, вещество представляет массу... Из теории относительности мы знаем, что вещество представляет собой огромные запасы энергии и что энергия представляет собой вещество... различие между массой и энергией не качественное» [10. С. 315]. На трактовке законов чисто количественное различие между веществом и полем сказывается самым непосредственным образом. Считая разделение физической реальности на два вида искусственным, он рассматривает поле как единственный способ существования физической реальности. Устанавливая математическую эквивалентность массы и энергии, он упраздняет закон сохранения массы вещества, подчиняя его закону сохранения энергии. Тем самым Эйнштейн производит обобщение законов науки.

Представления об особенностях трактовки законов в неклассической науке будут существенно неполны, если не будет привлечена еще одна фигура — А. Эддингтона [11], идеи которого относительно законов целиком вырастают из неклассической науки, но уже в его интерпретации позволяют выйти к постнеклассической науке. Он рассуждает о законах науки не только в контексте событий начала XX в., но и с учетом открытий в термодинамике.

Влияние познающего субъекта на природу законов физического мира — одна из двух наиболее важных тем его книги. Он различает собственно физический мир, мир повседневного опыта, а также научный мир, который выстраивается сознанием. Между элементами научного мира и составляющими опыта нет прямой корреляции, считает он, поскольку мышление оказывает «селективное влияние» на выстраиваемый наукой мир, и дает такое пояснение: «Благодаря своей селективной мощи мышление способно соответствовать процессам, происходящим в природе, и это возможно только в рамках закона, модель которого выбрана самим разумом... мышление получает обратно из природы только то, что оно само же и вложило в нее» [Ibid. P. 123].

Эддингтон разделяет законы природы на три группы: идентичные, статистические и трансцендентальные. Двигаясь от законов первой группы, выстроенных на математических идентичностях, он приходит к выводу, что это не подлинные законы самого мира. Оспаривая точку зрения на статистические законы (вторая группа), что они всего лишь способ математической адаптации других законов к практическим проблемам и признавая за этой группой предсказательную функцию, он все-таки заявляет: «...если и есть подлинные законы, контролирующие физический мир, то они должны быть найдены в третьей группе трансцендентальных законов» [Ibidem]. Эта группа законов определяет поведение атомов, электронов и квантов. Поясняя название «трансцендентальные» для этой группы законов, Эддингтон отмечает: «...трансцендентальные законы связаны с тем фактом, что мы больше не возвращаем себе из природы то, что мы сами в нее вложили, а, наконец, сталкиваемся с внутренне присущей природе системой управления» [Ibid. Р. 34]. Здесь и совершается прорыв субъективности – понятие «трансценденталь-

ное» в данном случае означает выход за формы активности познающего субъекта.

Вторая важная тема книги Эддингтона связана с делением законов на первичные и вторичные. Суммировав критерии различения этих законов, получаем следующие: первичные законы относятся к индивидуальным предметам и событиям, а вторичные – к их совокупностям; первичные законы запрещают невозможные события, а вторичные – слишком невероятные; первичные законы относятся к классической науке, тогда как вторичные – к тому, что Эддингтон оценивает как неклассическую науку. К классической науке он относит законы не только классической механики, но и релятивистской физики, и квантовой механики. Объединяющим началом этих трех областей физического мира является их отношение к параметру времени. Соответственно, в его концепции неклассическая наука начинается с термодинамики: «Мы должны обратиться к выдающемуся закону – второму закону термодинамики... Он открывает нам новую область знания, а именно учение об организации, которая определяется направлением временного потока и различением обратимых и необратимых процессов» [11. Р. 34].

Признание направления времени – главный критерий отличия вторичных законов. Эддингтон вводит образ «стрелы времени» («Time's Arrow»). Если исходить из того, что события обратимы, то здесь, по сути, не учитывается направление времени; различия между прошлым и будущим в данном случае сравнимы всего лишь с отличиями плюса от минуса или правого от левого. Поэтому для Эддингтона и новаторские идеи Эйнштейна относятся все-таки к классической установке в физике. Вот что в этой связи он пишет: «В четырехмерном мире... события прошлого и будущего лежат перед нами, как на карте. Эти события обладают собственными пространственными и временными отношениями; но здесь нет указания на то, что они подвержены изменению... И вопрос об их обратимости и необратимости не возникает. Мы видим на карте дорогу из прошлого в будущее и из будущего в прошлое; но ничто не указывает на то, что это дорога с односторонним движением» [Ibidem]. Задаваясь вопросом о том, как эволюционирует Вселенная в целом, Эддингтон заключает: «...универсум подвержен глобальным эволюционным процессам, и, достигнув при этом всего того, что можно было бы достичь, он, скорее, возвращается к хаосу, чем банально совершает повторяющиеся схемы эволюции» [Ibid. P. 40]. Он называет себя «эволюционистом», противопоставляя свою позицию «мультипликационизму», согласно которому эволюция предстает как процесс бесконечного повторения одного и того же. Переводя позицию эволюционизма в плоскость законов, Эддингтон говорит о «недостаточности первичных законов» и особое место отводит второму началу термодинамики, когда утверждает, что «закон постоянного возрастания энтропии - второй закон термодинамики - занимает высшую позицию среди законов природы» [Ibid. P. 41]. Энтропию он рассматривает как символическое выражение в научном мире физического закона эволюции, «стрелы времени». В мире повседневного опыта коррелятом физического закона эволюции и энтропии как математического конструкта является процесс становления («Becoming»). И здесь круг его аргументации замыкается - он вновь ссылается на субъекта, но уже субъекта не научного, а повседневного опыта, поясняя: «Если я схватываю понятие существования в силу того, что я

сам существую, то точно так же я схватываю понятие становления, потому что мне самому присущ этот процесс. Все то, что существует и становится, лежит в глубине Эго» [11. С. 49].

Итак, законы неклассической науки связаны с разными аспектами субъективности, новый смысл в них приобретают динамические и статические законы, обнаруживается структурный характер законов, а термодинамика, открывая «стрелу времени», делает шаг в сторону признания исторического характера законов.

Трактовка закона в постнеклассической науке

«Стрела времени» и второй закон термодинамики являются отправными для создания новой концепции закона. У И. Пригожина, одного из творцов постнеклассической науки, основополагающий тезис его концепции формулируется так: «...необратимые процессы столь же реальны, как и обратимые, и не соответствуют дополнительным ограничениям, которые нам приходится налагать на законы, обратимые во времени» [12. С. 11–12]. Он делает из этого философские выводы: «Необратимость привносит неожиданные свойства. При правильном понимании они дают ключ к переходу от существующего (бытия) к возникающему (становлению)» [Там же. С. 18]. Пригожин пользуется понятиями, введенными Эддингтоном, но встраивает их в новую картину мира. Если с философской точки зрения оценить новизну представлений о мире, то в качестве центральных надо назвать идею эволюции как самоорганизации, а также концепцию внутреннего времени. Прототипом новой трактовки закона служат эволюционные процессы в живых и социальногуманитарных системах. По этому поводу Пригожин пишет: «...физику и химию вводится элемент истории, что до сих пор... было только особенностью наук, изучающих явления, относящиеся к области биологии, социологии и искусства» [13. C. 138].

С позиций эволюционизма история науки представлена им так, что еще в начале XX в. ученые отстаивали статический подход, тогда как уже к середине этого столетия «почти во всех областях науки главенствующую роль играет динамическая точка зрения, учитывающая односторонность времени» [Там же. С. 9–10]. Эволюционный подход в данном случае квалифицируется им как «динамическая точка зрения», а параметр одностороннего времени является критерием эволюции. Как видим, динамические и статические законы приобретают новый смысл, связанный с эволюционной парадигмой. Динамический подход в контексте эволюции, понятой как самоорганизация, можно назвать эволюционно-динамическим. Эволюционно-динамический подход означает, что любая сложная система является историческим объектом.

По оценке Пригожина, в неклассический период науки имеет место субъективистская трактовка «стрелы времени», когда наблюдателю отводится роль активного начала, производящего из своего настоящего разделение на прошлое и будущее. Пригожин, претендуя на концептуальную революцию, вводит понятие «внутреннее время». Конкретизирует его он так: «...необратимость как деятельность, протекающая в пространстве-времени, приводит к изменению его структуры. На смену статического двуединства пространства и времени приходит более динамичное двуединство «овремененного» пространства» [12. С. 253].

Если существующее связано с «опространственным» временем – это внешнее время, то возникающее связано с «овремененным» пространством это внутреннее время. Концепция внутреннего времени обосновывает асимметрию времени, что приводит к неожиданным выводам в понимании законов. Исследователи отмечают, что «с классической точки зрения (включая квантовую механику) состояния симметричны во времени и развиваются по законам, которые также обладают такой временной симметрией. Теперь нам приходится рассматривать состояния, которые характеризуются нарушением временной симметрии и развиваются по законам с нарушенной временной симметрией» [14. С. 250]. Симметричность времени означает, что открытые в настоящем законы могут быть опрокинуты в прошлое и на их основе можно предвосхищать будущее – законы неизменны, тогда как асимметрия времени нивелирует тождество между прошлым и будущим - они становятся различимыми. Это идет вразрез со всей сложившейся научной традицией Запада, связывающей законы природы с устойчивым, повторяющимся и вневременным.

Особая роль в этой асимметрии принадлежит настоящему. Если симметричное внешнее время графически предстает в виде прямой, где из настоящего, сжатого в точку, время движется по прямой в бесконечное прошлое и бесконечное будущее, то в пригожинской концепции «прошлое отделено от будущего... и настоящее обретает продолжительность» [12. С. 239]. Что собой представляет это несжимаемое в точку настоящее? Пригожин вводит понятие «средний возраст состояния» системы, которое и являет собой внутреннее время. Чтобы снять налет антропоморфности, ассоциирующийся со «средним возрастом состояния», Пригожин пишет: «...мы рассматриваем себя как высокоорганизованную разновидность диссипативных структур и объективно обосновываем различие между прошлым и будущим» [Там же. С. 214]. Тогда начальные условия – это не произвольно выбранное «теперь», а объективно протекающие события в одной из разновидностей систем, по отношению к которой прошлое и будущее также имеют объективный характер. Тем самым в постнеклассической науке развенчиваются разные аспекты субъективности, которые вплетались в трактовку неклассического закона.

Если выразить одним концептом отличительные черты законов постнеклассической науки, то их можно назвать историко-генетическими законами; они диаметрально противоположны структурным законам неклассической науки.

Предложенный в статье эпистемологический анализ законов науки — это все-таки один из аспектов философского рассмотрения данного феномена, который необходимо дополнить исследованием социокультурных и аксиологических оснований законов для воссоздания реального механизма их открытия в науке.

Так, ценностно-оценочный контекст, в котором конструируются законы постнеклассической науки, связан с отрицанием существования некоего фундаментального уровня знаний, к которому в конечном счете можно было бы все свести, с признанием плюрализма интерпретационных моделей как математического, так и содержательного характера, а также принципиальной незавершенности этого конструирования в силу того, что законы прошлого и будущего асимметричны. Если учесть при этом, что детерминированный

хаос, как разновидность причинности постнеклассической науки, коррелирует с управляемым хаосом социальных процессов, а социально-гуманитарные системы становятся прототипом для исследования закономерностей любых динамических систем, то важность указанного контекста, дополняющего эпистемологический анализ, становится очевидной. Аргументированное изложение данного вопроса — тема следующей статьи автора.

Литература

- 1. *Черникова И.В.* Постнеклассическая наука и философия процесса. Томск : НТЛ, 2007. 252 с.
- 2. *Бряник Н.В.* Наука современного типа и ее этапные трансформации: философский анализ // Уральская философская школа: 50 лет 50 имен: сб. науч. тр. / под ред. Л.М. Андрюхиной, Л.А. Мясниковой, В.А. Лоскутова, В.В. Скоробогацкого. Екатеринбург, 2016. 668 с. С. 212–225.
- 3. *Ньютон И.* Оптика, или Трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света / пер. с англ. С.И. Вавилова, М.: Гостехиздат, 1954. 365 с.
- 4. Койре А. Очерки истории философской мысли: О влиянии философских концепций на развитие научных теорий / пер. с фр. Я.А. Ляткера. М.: Прогресс, 1985. 288 с.
- 5. Конт О. Дух позитивной философии: слово о положительном мышлении / пер. с фр. И.А. Шапиро. М.: Либроком, 2012. 76 с.
- 6. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. 1 / пер. с нем. М.С. Козловой, Ю.А. Асеева. М., 1994. С. 1–75.
- 7. Бряник Н.В. Эпистемологические особенности неклассического эксперимента // Эпистемология и философия науки. 2012. № 1 (31). С. 108–125.
- 8. *Мах* Э. Познание и заблуждение: Очерки по психологии исследования / пер. с нем. Г. Котляра. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. 456 с.
- 9. *Холтон Дж.* Мах, Эйнштейн и поиск реальности / пер. с англ. В.С. Кирсанов // Холтон Дж. Тематический анализ науки. М., 1981. 384 с. С. 73–119.
- 10. Эйнитейн А. Поле и относительность / пер. с англ. С.Г. Суворова // Эйнштейн А. Физика и реальность : сб. ст. М., 1965. 360 с. С. 275–320.
- 11. Eddington A.S. The Nature of the Physical World. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. 188 p.
- 12. *Пригожин И*. От существующего к возникающему: время и сложность в физических науках / пер. с англ. Ю.А. Данилова. М.: Наука, 1985. 327 с.
- 13. *Пригожин И.* Введение в термодинамику необратимых процессов / пер. с англ. В.В. Михайлова. Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2001. 160 с.
- 14. *Николис Г., Пригожин И.* Познание сложного. Введение / пер. с англ. В.Ф. Пастушенко. М. : Наука, 1977. 342 с.

Nadezda V. Bryanik, Ural Federal University named after the First President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: vastas07@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 5–14.

DOI: 10.17223/1998863X/48/1

THE COMPARATIVE ANALYSIS OF EPISTEMOLOGICAL DISTINCTIONS BETWEEN LAWS IN CLASSICAL, NON-CLASSICAL AND POST-NON-CLASSICAL SCIENCE

Keywords: science law; classical / non-classical / post-non-classical science; static / dynamic laws; structural laws; historical and genetic laws.

The author admits that the laws of science represent a distinctive feature of the contemporary type of science which developed through classical, non-classical and post-non-classical stages. This article is the first attempt in Russian and foreign epistemology to give a comparative analysis of distinctive features of science laws for these stages. The empirical material of the article is investigations of the contemporary type of science law made by scientists (such as Isaac Newton, René Descartes, Ernst Mach, Albert Einstein, Arthur Eddington, Ilya Prigogine, and others) and by those who analyse

14 Н.В. Бряник

science laws from a philosophical position (such as Auguste Comte, Alexander Koyre, Ludwig Wittgenstein, Karl Popper). The results of the study are the following. Classical science comes to a recognition of the law's priority meaning in a scientific research, which acquires features of a universal, immutable and natural relation between observable phenomena in their static and dynamic aspects, and which possesses a foresight function. Laws of non-classical science relate with different aspects of subjectivity. Einstein gave a new meaning to static and dynamic laws; he introduced the concept of a structural law. Based on thermodynamics, Eddington discovered the time's arrow; when making a distinction between primary and secondary laws, he came to recognise the historical character of laws. The distinctive features of post-non-classical science laws can be verbalised as historical and genetic laws. This type of laws relates to the idea of internal time opposite to the idea of external time, the latter being the foundation of classical and non-classical science. Internal time as an "average age of a state" of any system transforms it into a historical structure, so laws tell us how a system occurs and what its sources are as well as how and into what it will transform. The historical and genetic character of post-non-classical science laws is directly opposite to the structural laws of non-classical science, like the internal is opposite to the external.

References

- 1. Chernikova, I.V. (2007) *Postneklassicheskaya nauka i filosofiya protsessa* [Postnonclassical science and the philosophy of the process]. Tomsk: NTL.
- 2. Bryanik, N.V. (2016) Nauka sovremennogo tipa i ee etapnye transformatsii: filosofskiy analiz [The science of the modern type and stages of its transformations: the philosophical analysis]. In: Loskutova, V.A., Skorobogatskiy, V.V. et al. (eds) *Ural'skaya filosofskaya shkola: 50 let 50 imen* [Ural Philosophical School: 50 years 50 names]. Ekaterinburg: Ural Institute of Management, Branch RANEPA. pp. 212–225.
- 3. Newton, I. (1954) *Optika, ili Traktat ob otrazheniyakh, prelomleniyakh, izgibaniyakh i tsvetakh sveta* [Optics, or Treatise on reflections, refractions, bendings and colors of light]. Translated from English by S.I. Vavilov. Moscow: Gostekhizdat.
- 4. Koyre, A. (1985) Ocherki istorii filosofskoy mysli: O vliyanii filosofskikh kontseptsiy na razvitie nauchnykh teoriy [Essays on the History of Philosophical Thought: On the Influence of Philosophical Concepts on the Development of Scientific Theories]. Translated from French by A. Lyatker. Moscow: Progress.
- 5. Comte, O. (2012) *Dukh pozitivnoy filosofii: slovo o polozhitel'nom myshlenii* [The Spirit of Positive Philosophy: The Word about Positive Thinking]. Translated from French by I.A. Shapiro. Moscow: Librokom.
- 6. Wittgenstein L. (1994) *Filosofskie raboty* [Philosophical Works]. Translated from German by M.S. Kozlova and Yu.A. Aseeva. Moscow: Gnozis.
- 7. Bryanik, N.V. (2012) Epistemologicheskie osobennosti neklassicheskogo eksperimenta [Epistemological Features of Nonclassical Experiment]. *Epistemologiya i filosofiya nauki Epistemology and Philosophy of Science*. 1(31), pp. 108–125.
- 8. Mach, E. (2003) *Poznanie i zabluzhdenie: Ocherki po psikhologii issledovaniya* [Cognition and Delusion: Essays on the Psychology of Research]. Translated from German by G. Kotlyar. Moscow: BINOM. Laboratoriya znaniy.
- Holton, J. (1981) Tematicheskiy analiz nauki [Thematic Analysis in Science]. Translated from English by V.S. Kirsanov. Moscow: Progress.
- 10. Einstein, A. (1965) *Fizika i real'nost'* [Physics and Reality]. Translated from German by S.G. Suvorov. Moscow: Nauka.
- Eddington, A.S. (2008) The Nature of the Physical World. Cambridge: Cambridge University Press.
- 12. Prigogine, I. (1985) Ot sushchestvuyushchego k voznikayushchemu: vremya i slozhnost' v fizicheskikh naukakh [From Being to Becoming: Time and Complexity in the Physical Sciences]. Translated from English by Yu.A. Danilov. Moscow: Nauka.
- 13. Prigogine, I. (2001) *Vvedenie v termodinamiku neobratimykh protsessov* [Introduction to the Thermodynamics of Irreversible Processes]. Translated from English by V.V. Mikhailov. Izhevsk: Regulyarnaya i khaoticheskaya dinamika.
- 14. Nikolis, G. & Prigogine, I. (1977) *Poznanie slozhnogo. Vvedenie* [Exploring Complexity. Introduction]. Translated from English by V.F. Pastushenko. Moscow: Nauka.

УДК 101.01+165.04

DOI: 10.17223/1998863X/48/2

П.В. Ополев

ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ СЛОЖНОСТИ В НАУКЕ И ФИЛОСОФИИ

Современная наука и философия обнаруживают недостаточность существующих подходов к феномену сложности. Требуется переосмысление феномена сложности, выявление проблем его концептуализации. В статье исследуются особенности агрегативного и системного подхода к сложности, проблемы её определения, виды сложности и подходы к её рассмотрению в современной науке и философии.

Ключевые слова: концептуализация, простота, синергетика, сложность, философия.

Понятие «сложность» является общеупотребительным и активно используется в повседневности, в рамках общенаучной и философской традиции. Тем не менее ни философия, ни наука не имеют ясного определения сложности. Интерес к феномену сложности не является искусственным, его нельзя отнести к «философскому мейнстриму». Важность концептуального выражения феномена сложности усиливается рядом обстоятельств.

Во-первых, современность в полной мере не может быть удовлетворительно объяснена с позиции классических редукционистских подходов. Возникает конфликт между образом современности, в основании которого лежит множество всеобщих, но простых принципов, и образами «убегающего сложного мира» (Э. Гидденс).

Во-вторых, под воздействием ряда научных открытий изменяются онтологические и эпистемологические установки современной науки. Неклассическая рациональность обнажила тот факт, что понятие «сложность» не является вторичным следствием простоты. Сложность рассматривается как один из аспектов взаимоотношений между устойчивостью и изменчивостью, частью и целым, элементом и системой, хаосом и порядком в бытии человекомерных и саморазвивающихся систем.

В-третьих, поиск междисциплинарного синтеза, NBIC-конвергенции (по первым буквам областей исследования: N- нано; B- био; I- инфо; C- когно) стимулируют появление комплекса «наук о сложном». Подход к действительности, предполагающий дробление действительности на «аналитические единицы», простые абстрактные объекты, не может удовлетворительно описать сложные системные объекты и наметить границы складывающегося междисциплинарного пространства.

В-четвертых, сложность начинает осмысляться как философская проблема, которая имеет свою онтологию и гносеологию. В рамках классической философской метафизики сложность рассматривается как вторичное следствие простоты. «Парадигма простоты» вырастает из признания предзаданных смыслов, простых, но всеобщих законов, которые ждут своего обнаружения. Однако при всем стремлении к простым познавательным моделям философская метафизика сама демонстрирует сложность используемых методологических приемов.

П.В. Ополев

При всей актуальности заявленной проблемы современная литература не вносит ясности в многообразие определений сложности и ее разновидностей. В общенаучных словарных изданиях сложность определяется с помощью абсолютизации количественных характеристик либо рассматривается как вторичное следствие простоты. Большинство определений сложности тавтологичны – рассматривают «сложное» как сложенное.

Можно выделить несколько базовых проблем концептуализации сложности в науке и философии. Во-первых, возможно ли выйти за пределы агрегативного понимания сложности, определить сложность именно как сложность, не прибегая к классическим редукционистским схемам ее расщепления на простые элементы? Во-вторых, можно ли дать интегральное определение сложности, которое будет инвариантным для разных дисциплинарных онтологий? В-третьих, какие существуют виды сложности? В-четвертых, какие имеются подходы к определению сложности?

Понятие «сложность» не имеет комплементарного определения, а различные представления о сложности (в том числе и взаимоисключающие) органично сосуществуют в сознании ученых и философов. Как справедливо подметил Я.И. Свирский, «непонятность "сложного" предполагает в своей парадоксальности целый "пучок" проблем как философского, так и естественно-научного характера, проблем, касающихся пересмотра традиционных дихотомий типа: "внешнее – внутреннее", "объективное – субъективное", "наблюдатель – наблюдаемое", "живое – неживое" и т.д.» [1. Т. 21. С. 153].

В настоящее время сложность понимается не как самостоятельный феномен, а как понятие, фиксирующее совместное существование элементов, свойств, отношений и связей в действительности и в нашем сознании. Данный подход мы назовем «агрегативным». Понятие «сложность» выступает в роли своеобразной «логической» связки, которая позволяет констатировать многообразие объектов и когнитивных ситуаций. Используя терминологию Аристотеля, можно сказать, что сложность «высказывается» о многообразии, но само многообразие ничего не говорит нам о характере той сложности, из которой состоит.

Содержание понятия «сложность» формируется в недрах обыденного сознания. При широкой распространенности понятия «сложность» оно используется интуитивно. Исследуя семантические свойства понятия «сложность», мы обнаруживаем их многообразие. В переводе с латинского «сложное» – то, что соткано, сплетенное вместе. Сложное – значит, прежде всего, состоящее из нескольких частей или элементов, образованное посредством соединения, сложения частей. Сложный – значит «составной», «сложенный», «трудный», «запутанный». Под «сложным» подразумевается нечто, образованное посредством соединения, сложения частей. «Чувство сложного» можно связать с предчувствием неопределенности, невозможности решить ситуацию однозначно, используя знакомые модели поведения. «Сложное» часто противопоставляется «простому» как не имеющему частей, примитивному, легкому для понимания и т.д.

Логический объем понятия «сложность» относится к такому множеству мыслимых объектов (обладающих сложностью), которые не поддаются принципиальному учету. Сложность представляет отвлеченное положительное свойство некоторого целого, которое существует самостоятельно. Поня-

тие «сложность» нельзя отнести к каждому отдельному элементу целого, хотя они также могут быть сложными. Практика научных исследований достаточно часто показывает, что сложный объект может состоять из не менее (а иногда даже и более) сложных объектов.

Является ли суждение «этот предмет сложный» аналитическим или синтетическим? Добавляет ли данное суждение новое знание об этом гипотетическом предмете? На первый взгляд суждение привносит информацию, согласно которой тот или иной предмет является составным, состоит из нескольких элементов. При этом остается непонятным, какое количество элементов делает данный предмет сложным, что возвращает нас к классическим философским проблемам (к примеру, к парадоксу Евбулида «Куча»).

В понятии «сложность» мыслится такая совокупность предметов, которые составляют единое целое (некоторые множества, мыслимые как единый предмет), и утверждается свойство, отвлеченное от самих предметов, что делает это понятие собирательным и абстрактным. Тем не менее в процессе рассуждения понятие «сложность» может употребляться как в разделительном, так и в собирательном смысле. Скажем, суждение «этот мир сложный» может указывать на нередуцируемую целостность действительности (в том смысле, что мир необъятен и непостижим) или, напротив, подчеркивает, что сложный мир — это состоящий из совокупности простых элементов, каждый из которых доступен для познания.

Одна из особенностей сложности состоит в том, что она не всегда мыслится как самостоятельно существующий объект. Сложность видится то в минимально необходимом уровне знаний, то в самих элементах, составляющих сложный объект, то в постоянно ускользающей от сознания взаимосвязи между элементами, то в недостатке информации об объекте, а то и вовсе в оценке навыков человеческой деятельности. Так, познавательная деятельность рассматривается как сложная, если познание осуществляется в ситуации неопределенности, недостаточной информации, а связи между элементами сложной системы оказываются трудноуловимыми. Как избыток, так и недостаток информации позволяют нам констатировать сложность той или иной проблемы.

Достаточно часто исследователи определяют сложность путем указания на ее аспекты. Л.В. Малышева выделяет в сложности такие аспекты, как количество и разнообразие компонентов, количество и сила взаимодействий, скорость изменения, многообразие причинно-следственных связей [2. С. 537]. В работе «Адаптация сложных систем» Л.А. Растригин предлагает выделять такие признаки сложности, как отсутствие однозначного математического описания, «зашумленность» (выражающаяся в затруднении наблюдения и управления), «нетерпимость» к управлению (система существует не для того, чтобы ею управляли), «нестационарность» (системные параметры изменяются во времени), невоспроизводимость экспериментов с ней (различная реакция на одну и ту же ситуацию) [3. С. 45-46]. В интегративной концепции информационной сложности И.С. Гуревич определяет сложность системы количеством содержащейся в ней информации или количеством информации, необходимой для полного описания (экспериментального или теоретического) системы [4. С. 3-37]. По мысли Е.Н. Князевой, «сложными являются те объекты, описать функции которых на порядок сложнее, чем само строение

18 П.В. Ополев

этих объектов» [5. С. 165]. Г.И. Рузавин рассматривает сложность как «результат взаимодействия между начальными состояниями систем и природой их аттракторов» [6. С. 106]. Философ науки В.С. Стёпин определяет сложность с позиции эмерджентности как некоторую автономную систему, качества которой не сводятся к свойствам ее частей [7. С. 97–103]. Как полагает Р. Арзуманян, сложной системой является та, которая «имеет два или более неперекрывающихся описания» [8. С. 19].

Шкала уровней сложности была предложена в работе К. Боулдинга [9. Р. 197-208]. Автор предлагает выделять девять уровней сложности: уровень статической структуры (расположение электронов вокруг ядра), уровень простых динамических систем с детерминированным движением (часовой механизм), уровень систем, стремящихся к равновесию (термостат), уровень самосохраняющейся системы (уровень клетки), уровень животного, уровень человека, уровень социальных организаций и уровень трансцендентальных систем. Представленная шкала оказывается созвучной формам движения материи, предложенным еще в рамках диалектического материализма. Ф. Энгельс также полагал, что науки можно упорядочить по их предметам, отражающим восхождение человеческой мысли от простого к сложному. В отечественной религиозной философии усложнение как неотъемлемая характеристика бытия осмысляется в работах В.С. Соловьева. Его представления о переходе от минерального царства к царству животных и в дальнейшем к человеку органично вписываются в представления об усложнении как факторе мировой истории.

В работе В.С. Тюхтина «Диалектика познания сложных систем» предлагается выделять «сложность состава системы» и «сложность организации системы». Как подмечает автор, «сложность состава учитывает разнообразие и многообразие компонентов суммарно, т.е. отвлеченно от их места и роли в этом многообразии», а «сложность организации фиксирует композицию элементов как многообразие связей, а не их единство» [10. С. 15]. Сложность состава системы предполагает несколько разновидностей сложности. Сложность, порожденная многообразием компонентов, подсистем, уровней организации, определяется как субстратная сложность. Сложность, основанная на многообразии свойств, связей или отношений, называется параметрической сложностью. Многообразие качественно разнородных состояний системы, этапов внутреннего функционирования или внешнего поведения характерна для динамической сложности. Сложность организации предполагает две основные разновидности сложности: сложность, порожденную многообразием уровней организации систем, и сложность программ развития системного целого.

А.М. Леонов выделяет объективную, субъективную и инструментальную сложность. Утверждая, что сложность существует объективно, он выделяет «сложность размера» и «сложность связности» [11. С. 40–51].

Сложность размера возникает из множества сходных частей, образованных в результате объединения, сложения. В этом случае можно говорить о сложности как совокупности простого. Математическим инвариантом такого рода сложности можно считать самоподобные структуры с дробной метрической размерностью — фракталы. Именно «сложность размера» долгое время была определяющей онтологические особенности и эпистемологические ха-

рактеристики классической научной картины мира. Как заметил М.А. Слемнев: «Вертикальная и горизонтальная масштабная инвариантность, структурная и функциональная похожесть качественно разнородных объектов является основой "умеренного редукционизма" и дает возможность сведения сложного к простому в допустимых границах» [12. С. 103]. «Сложность связности» определяется не количеством частей, а качеством связей между ними. В таком случае сложность системы вызвана взаимообусловленностью существования явлений в пространстве и во времени. Если исходить из многообразия типов связей, то можно говорить и о разных видах сложности, порожденной разными типами связей. «Субъективная сложность» в работе А.М. Леонова связана с познавательной деятельностью субъекта и представлена такими видами сложности, как «сложность незнания», «сложность некомпетенции», «сложность недоумения» и «сложность симулякра» [11. C. 47].

В работе Э.Ю. Калинина и Ю.В. Черновицкой «Реальность сложности или сложность реальности (информационно-коммуникативный подход)» предлагается типологизация сложности в зависимости от степени предсказуемости систем [13. С. 111–125]. Согласимся с тем, что на первый взгляд детерминированные системы оказываются менее сложными, чем системы относительно свободные. Получается, что хаос — это пример высшей формы сложности.

Доминирующей стратегией осмысления сложности как в отечественных, так и в зарубежных исследованиях является системная и агрегативная стратегия. В настоящее время сложные системы связывают с предметом изучения теории систем и синергетики, а саму синергетику называют теорией сложности. Сложность в синергетическом контексте оказывается связанной с системной активностью, которая также рассматривается как мера сложности. Сложные системы обладают целым рядом свойств: динамичностью (сеть элементов, соединенных нетривиальными связями), внутренним разнообразием (систем, элементов или же подсистем), многоуровневостью, открытостью, эмерджентностью, наличием памяти и обратной связи. Еще одним свойством сложных систем можно считать отсутствие элемента (внутри или вне системы), который бы обладал полным знанием о самой системе. Е.Н. Князева связывает системную сложность с холистическим мировоззрением, операциональной замкнутостью (обратными связями самых разных типов), эмерджентностью, взаимопроникновением пространственных и временных характеристик бытия, самоорганизацией [1. С. 172–175].

Мы предлагаем выделять несколько базовых подходов к проблеме осмысления сложности. Подход, рассматривающий сложное как совокупность простого, представляет собой крайнюю форму редукционизма. Такого рода допущение характерно для наивных форм механицизма. Механицизм в своей вульгарной форме предполагает сведение сложных явлений (как природных, так и социальных) к механике и полагает, что мир состоит из неизменных простых частей, перемещающихся в пространстве. Сложность в таком случае есть не самостоятельная сущность, а сумма свойств составляющих его простых частей. Многие ученые по-прежнему предполагают, что рано или поздно все-таки будут обнаружены математически сформулированные законы сложности.

20 П.В. Ополев

В рамках умеренно-редукционистского подхода сложность рассматривается в качестве следствия нашего незнания или неумения подвести обнаруженную сложность под известный «простой» закон. Ещё более умеренные виды механицизма полагают, что сложное может быть описано как то, что составлено из многих элементов, каждый из которых подчиняется простым или сложным, но всегда всеобщим законам. В основе идеи о том, что сложное можно свести к простому (в допустимых границах), лежат представления о масштабной инвариантности (как структурной, так и функциональной) качественно разнородных объектов. Учёный в каком-то смысле вынужден смириться со сложностью, полагая, что рано или поздно она найдёт свое разрешение в «простых» научных объяснениях, отсылающих нас к всеобщему и универсальному закону. «Простое» в этом случае означает адекватное существующей научной картине мира, соответствующее самой сути природы, выражающее ее естественное состояние.

Подход, ориентированный на создание научных методов, которые были бы адекватны, соразмерны природе сложного, условно можно назвать сложностным. Сложностное познание основывается на методологической позиции, согласно которой предзаданные смыслы отсутствуют, а познание связано с их конструированием, самоорганизацией в познавательном процессе. В рамках этого подхода также осуществляется изучение феномена «сложного мышления». Предполагается, что свойства постигающего сложность мышления должны быть соразмерны самой сложной действительности. Существуют и компромиссные подходы к сложности. Некоторые исследователи не противопоставляют «сложное» и «простое», предполагают создание методологии, которая, с одной стороны, учитывала бы особенности существования сложных систем, а с другой стороны, выражала бы естественное стремление человека упростить сложное.

Один из наиболее крайних подходов к проблеме сложности можно назвать радикальным холизмом. Несмотря на то, что принято выделять множество холистических направлений, наиболее знаковыми для нас являются рациональный и иррациональный холизм. Иррациональный холизм основывается на постулате принципиальности, непознаваемости целого (например, в биологии — непознаваемость такого особого качества организма, как «жизнь»). Рациональный холизм стремится выработать соответствующий методологический инструментарий и познать целое не как совокупность частей, а именно как целое. В случае радикального холизма говорить о ясных границах сложности также не представляется возможным. Нередуцируемая сложность целого не снимает сложности составляющих его частей.

В спектр рассуждений о сложности включаются самые разнообразные дискурсы, ориентированные на объективные или субъективные характеристики сложности. Размышляя о сложности, нельзя сказать наверняка, где начинается философский либо общенаучный дискурс. Объективная сложность имеет более или менее однозначную трактовку в рамках естествознания, кибернетики, общей теории систем, синергетики. Системное целое на разных уровнях и в разных условиях может проявлять себя как «сложное» или же как «простое» (в зависимости от познавательного масштаба, познавательных задач или используемых методов). Если рассматривать сложность как атрибутивное свойство системного объекта, то можно говорить о слож-

ности по количеству элементов, сложности по связям, сложности структуры и т.д. Если рассматривать сложность как самостоятельную сущность, то можно говорить о структурной сложности, процессуальной сложности и т.д. Сложность рассматривается как уровень организованности системы, либо количественно (множество связей, элементов, параметров), либо ссылкой на непредсказуемость ее поведения, либо констатацией ее эмерджентной природы, связанной с возникновением новых свойств, целостностей, функций. Обращаясь к роли сложности в познавательной и практической деятельности, можно выделить многообразные виды субъективной сложности.

Поиск определения сложности выражает логику развития всего человеческого познания: от вещного многообразия - к теоретическому единству нашего знания и от единства обнаруженных законов – к многообразию их проявлений в действительности. Господствующим подходом к определению сложности по-прежнему является агрегативный подход. Сложность рассматривается как принцип, обеспечивающий разнообразие: многомерное устройство объекта, многообразие внутренних и внешних связей. Философы и ученые ключ к сложности объектов продолжают видеть в расщеплении его на «аналитические единицы», в выявлении «внутренней схемы» объекта, в обнаружении его трансцендентальных свойств, которые позволяют обозначить скрытую сущность, зафиксировать принцип работы, что делает возможным прогнозировать их поведение, анализировать структуру, гарантирует управляемость объекта (хотя бы в рамках мысленного эксперимента). Оценки сложности оказываются относительными и связанными с дисциплинарной областью, познавательным масштабом, характером системных объектов. Все подходы высказываются о том, как сложность себя проявляет, но не о неё самой. Интегральное определение сложности, как и представления о ее мере, ускользают, и мы оказываемся перед необходимостью давать определение меры сложности для каждой предметной области. Последовательная концептуализация понятия «сложность» призвана способствовать междисциплинарному диалогу, формированию «сложностного» подхода к действительности.

Литература

- 1. Инновационная сложность: Парадигма сложности в перспективе философской стратегии Жиля Делеза: [материалы круглого стола] / подгот. Я.И. Свирский // Философия науки и техники. 2016. Т. 21, № 2. С. 149–181. [Авт. выступлений: О.В. Аронсон, В. И. Аршинов, В.Г. Буданов, В.Ю. Кузнецов, Е.Н. Князева, В.Е. Лепский, А.С. Плахов, В.М. Розин, Я.И. Свирский, Е.М. Шулепов].
- 2. *Малышева Л.В.* Об определении и взаимосвязи понятий «сложность» и «трудность» в контексте исследования интеллекта // Территория науки. 2007. № 4. С. 536–543.
 - 3. Растригин Л.А. Адаптация сложных систем. Рига: Зинатне, 1981. 375 с.
- 4. *Гуревич И.С.* Законы информатики основа исследований и проектирования сложных систем // Информационные технологии. 2003. № 11. С. 3–37.
- 5. *Князева Е.Н.* Обсуждаем статьи о сложности // Эпистемология и философия науки. 2008. № 4. С. 165–169.
- 6. Рузавин Г.И. Синергетика и сложноорганизованные системы // Эпистемология и философия науки. 2008. № 1. С. 100–116.
- 7. Степин В.С. О философских основаниях синергетики // Синергетическая парадигма. Синергетика образования. М., 2007. С. 97–103.
 - 8. Арзуманян Р. Сложное мышлении и наука сложности // 21-й век. 2010. № 4/16. С. 12–38.
- 9. Boulding K. General systems theory: Skeleton of science // Management science. 1956. Vol. 2. P. 197–208.

22 П.В. Ополев

- 10. Диалектика познания сложных систем / под ред. В.С. Тюхтина. М. : Мысль, 1988. $316\,\mathrm{c}$.
- 11. *Леонов А.М.* Эпистемология сложности в контексте компьютерных наук: дис. ... д-ра филос. наук. Якутск, 2006. 356 с.
- 12. Слемнев М.А. Диалектическое измерение феномена фрактальности // Ученые записки Витебского государственного университета. 2015. Т. 19. С. 101–105.
- 13. Калинин Э.Ю. Реальность сложности или сложность реальности (информационно-коммуникативный подход) / Э.Ю. Калинин, Ю.В. Черновицкая // Философия науки и техники. 2013. Т. 18, № 1. С. 111–125.

Pavel V. Opolev, Siberian State Automobile and Highway University (Omsk, Russian Federation).

E-mail: pvo-sinergetica@rambler.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 15–23.

DOI: 10.17223/1998863X/48/2

PROBLEMS OF CONCEPTUALIZATION IN THE PHILOSOPHY AND SCIENCE OF COMPLEXITY

Keywords: conceptualization; simplicity; synergy; complexity; philosophy.

In the article, the problems of a conceptual understanding of complexity are discussed. The concept of complexity is a general one; it is actively used in daily life, in the framework of general scientific and philosophical traditions, yet its subject and meaning remain hidden. Reflections on complexity include a variety of discourses suggesting that the concept has a general scientific and philosophical character. Currently, the concept "complexity" does not have a universal definition, and different perceptions of complexity (including mutually exclusive) organically coexist in the minds of philosophers and scientists. The dominance of the aggregative approach to complexity prevents its consistent interpretation. Modern literature does not clarify the diversity of existing definitions of complexity and its variations. In general scientific dictionaries, complexity is defined either by using absolute quantitative characteristics, or regarded as a secondary consequence of simplicity. Estimations of complexity are relative, and relate to the disciplinary area, cognitive scale and nature of objects under study. The article highlights aspects of complexity, problems of its definition that encompass objective and subjective features of complexity. The author offers a typology of approaches to complexity including reductionist and holistic options for its interpretation.

References

- 1. Aronson, O.V., Arshinov, V.I., Budanov, V.G., Kuznetsov, V.Yu. et al. (2016) Paradigm of complexity in perspective of philosophical strategy of Gilles Deleuze. *Filosofiya nauki i tekhniki Philosophy of Science and Technology*. 2. pp. 149–181. (In Russian). DOI: 10.21146/2413-9084-2016-21-2-149-181
- 2. Malysheva, L.V. (2007) Ob opredelenii i vzaimosvyazi ponyatiy "slozhnost" i "trudnost" v kontekste issledovaniya intellekta [On the definition and interrelation of concepts "complexity" and "difficulty" in the context of the study of intelligence]. *Territoriya nauki*. 4. pp. 536–543.
- 3. Rastrigin, L.A. (1981) Adaptatsiya slozhnykh system [Adaptation of complex system]. Riga: Zinatne.
- 4. Gurevich, I.S. (2003) Zakony informatiki osnova issledovaniy i proektirovaniya slozhnykh sistem [The laws of informatics as the basis of research and design of complex systems]. *Informatsionnye tekhnologii Information Technology*. 11. pp. 3–37.
- 5. Knyazeva, E.N. (2008) Obsuzhdaem stat'i o slozhnosti [Discusssing complexity]. *Epistemologiya i filosofiya nauki Epistemology and Philosophy of Science*. 4. pp. 165–169.
- 6. Ruzavin, G.I. (2008) Sinergetika i slozhnoorganizovannye sistemy [ynergetics and complex systems]. *Epistemologiya i filosofiya nauki Epistemology and Philosophy of Science*. 1. pp. 100–116.
- 7. Stepin, V.S. (2007) O filosofskikh osnovaniyakh sinergetiki [The philosophical foundation of synergetics]. In: Budanov, V.G. (ed.) *Sinergeticheskaya paradigma. Sinergetika obrazovaniya* [Synergetic paradigm. Synergy education]. Moscow: Progress-Traditsiya. pp. 97–103.
- 8. Arzumanyan, R. (2010) Slozhnoe myshlenii i nauka slozhnosti [Complex thinking and science of complexity]. XXI VEK: Itogi proshlogo i problemy nastoyashchego XXI Century: Resumes of the Past and Challenges of the Present. 4/16. pp. 12–38.

- 9. Boulding, K. (1956) General systems theory: Skeleton of science. *Management Science*. 2. pp. 197–208. DOI: 10.1287/mnsc.2.3.197
- 10. Tyukhtin, V.S. (ed.) (1988) *Dialektika poznaniya slozhnykh sistem* [The dialectic of complex systems knowledge]. Moscow: Mysl'.
- 11. Leonov, A.M. (2006) *Epistemologiya slozhnosti v kontekste komp'yuternykh nauk* [Epistemology of complexity in the context of computer science]. Philosophy Dr. Diss. Yakutsk.
- 12. Slemnev, M.A. (2015) Dialekticheskoe izmerenie fenomena fraktal'nosti [The dialectical dimension of the phenomenon of fractality]. *Uchenye zapiski*. 19. pp. 101–105.
- 13. Kalinin, E.Yu. & Chernovitskaya, Yu.V. (2013) The reality of the complexity or the complexity of the reality (information and communicative approach). *Filosofiya nauki i tekhniki Philoso-phy of Science and Technology*. 1(18). pp. 111–125. (In Russian).

УДК 165.4

DOI: 10.17223/1998863X/48/3

В.В. Целищев, А.В. Хлебалин

ИНТЕНСИОНАЛЬНЫЙ МОДУС В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ: «ПРЫЖОК ВЕРЫ» И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА¹

Статья посвящена характеристике интенсионального модуса математической практики на примере анализа причин истинности геделева предложения. Показано, что допущение обоснованности или непротиворечивости формальной системы связано с неустранимым «прыжком» от размышлений о формальных теориях арифметики к эпистемологическим вопросам об обосновании веры математика в указанные характеристики формальной системы.

Ключевые слова: интенсиональность математики, геделево предложение, непротиворечивость, вера.

Интенсиональность в математическом дискурсе возникает, по крайней мере, в трех случаях. Во-первых, это необходимость придания смысла терминам в формальных конструкциях, первоначально мыслимых в качестве экстенсиональных. Важным случаем такой интенсиональности является формальное определение непротиворечивости при доказательстве второй теоремы Геделя о неполноте арифметики. Экстенсионально эквивалентные различные определения имеют разные смыслы, некоторые из них приводят к ложности теоремы. Требуется аккуратное определение непротиворечивости, которое в наибольшей степени отвечает концептуальному каркасу, в данном случае конкретной схеме арифметизации синтаксиса. Больше того, смысловые оттенки играют столь значительную роль, что выделяется единственная «каноническая формула» с подходящей интенсиональной структурой [1].

Во-вторых, это использование в математическом дискурсе модальных понятий. Оно также довольно разнообразно: от представления всей математики как модального исчисления [2] до моделирования семантики теории доказательств в виде логики доказательств GL [3]. В явном виде интенсиональный аспект проявляется при трактовке модальностей средствами семантики возможных миров. Но и без таких средств аналогия между интенсиональностью модальностей и интенсиональностью математических контекстов устанавливается довольно легко [4]. Следует отметить, что интенсиональность модальных контекстов является более общей концепцией, чем учет смыслов при формализации интуитивных понятий.

В-третьих, в математическом дискурсе есть интенсиональность предельно общего порядка, которая тесно связана с эпистемологией математического доказательства. В частности, речь идет о понятии веры в ту или иную харак-

¹ Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (проект 19-011-00518).

теристику математических структур и объектов. Любой формализации предшествуют интуитивные понятия, образующие фон для сложных формальных конструкций. В такого рода конструировании участвует множество предположений и посылок, некоторые из них столь важны, что требуют особого осознания. Фактически это то, что называется верой в определенные закономерности эпистемологических процедур, такие как истинность, непротиворечивость, основательность суждений об определенном фрагменте действительности. Даже не впадая в платонизм, можно указать на неизбежность подобного рода вер на интуитивном уровне, образующих основу концептуального фона. Данная статья посвящена как раз такого рода интенсиональности математического дискурса.

В конечном счете вера в обоснованность концептуальных математических процедур оказывается тем базисом, который невозможно устранить полностью при формализации, что и позволяет говорить об интенсиональности математического дискурса. Например, предположение о непротиворечивости сложных математических или логических теорий является таким базисом. Экспликация базиса через формальное определение непротиворечивости во многих случаях позволяет доказать непротиворечивость формальной теории в рамках других теорий, более сильных или более выразительных. Вторая теорема Геделя говорит о том, что для достаточно богатых формальных теорий невозможно доказательство их непротиворечивости в рамках самих этих теорий. Но для многих теорий, например формальной системы Арифметика Пеано (РА) или аксиоматической теории множеств Цермело – Френкеля (ZF), вопрос об их непротиворечивости остается открытым. Важно, что обе теоремы Геделя о неполноте формулируются как условные утверждения, антецедентом которых является предположение о непротиворечивости системы. Коль скоро последняя не доказана, провозглашение ее в качестве условия есть настоящий акт веры. Интуитивные соображения и обширная математическая практика служат фундаментом для такой веры. Тем не менее, если иметь в виду, что математика в значительной степени представляет собой систему исчислений или формальных манипуляций с символами, апелляция к вере является несколько неожиданным элементом математического дискурса. Можно даже прибегнуть к более сильной формулировке: заимствуя знаменитую терминологию у Кьеркегора, можно сказать, что в данном случае мы имеем дело с прыжком веры, или, переходя на более точный язык, прыжком в интенсиональность. Соотнесение веры и интенсиональности здесь вполне оправданно, поскольку интуитивное понятие веры в математическом дискурсе мы постоянно стремимся эксплицировать формальными средствами с учетом смысловых категорий.

Интерес к исследованию проблем интенсиональности математического дискурса в последнее время в значительной степени мотивирован особенностями доказательства второй теоремы Геделя о неполноте. Неразрешимое геделево предложение, являющееся формальным выражением неформального понятия непротиворечивости, так называемое G2, может иметь различные формы выражения с различным смыслом. Необходимый учет такого рода интенсиональности в обычно экстенсиональных метаматематических утверждениях связан со структурными особенностями конструирования геделева предложения. В этом отношении представляют интерес некоторые общие

характеристики геделевской конструкции, объединяющей как геделево предложение G1 первой теоремы Геделя о неполноте, так и G2. В частности, установление истинности геделева предложения G1 оказывается связанным с природой интенсиональности математического дискурса в той же степени, что и в случае G2. Анализ эпистемологических аспектов интенсиональности первой теоремы возможен через исследование условий истинности геделева предложения G1. Эти эпистемологические следствия включают рассмотрение проблемы веры в некоторые базисные эпистемологические установки математического дискурса.

В текущей литературе по вопросам установления причин истинности геделева предложения существуют три распространённые точки зрения [5]. Первая из них является в определенной степени стандартной: геделево предложение G1 утверждает о себе самом, что оно недоказуемо. Математически доказуемо, что оно действительно недоказуемо. Таким образом, оно является истинным. Этот аргумент имеет долгую историю и опирается на понятие самореференции, которое является признанным источником интенсиональности. Вторая точка зрения на истинность геделева предложения принадлежит М. Даммиту; в этом случае решающую роль играет то обстоятельство, что мы имеем дело со стандартной интерпретацией квантификации над числами [6]. Третья точка зрения состоит в том, что истинность геделева предложения устанавливается тем фактом, что в расширенной формальной системе, получающейся присоединением к исходной системе неразрешимого предложения в качестве аксиомы, мы получаем непротиворечивую систему [7].

Каждая из этих точек зрения встречает серьезные возражения. Так, в ряде работ подвергнут критике взгляд о роли самореференции в геделевом предложении, поскольку, строго говоря, в нем нет прямой самореференции. Действительно, есть геделев номер, который есть число, указывающее на предложение, которое есть синтаксический объект. В этом отношении аспект самореференции геделева предложения оказывается в существенной степени уязвимым. Это возражение относится скорее к эпистемологическим сторонам дела, поскольку в любом случае самореференция какого-то рода имеет место при конструировании диагональных предложений согласно математической Диагональной лемме [8].

Концепция М. Даммита подвергается серьезным атакам, связанным с дуальной природой геделева предложения, которое интерпретируется и как метаматематическое утверждение, и как арифметическое утверждение. Ряд авторов, особенно Г. Серени, указывают на тот факт, что установление истинности геделева предложения как арифметического утверждения радикально отлично от установления этой истинности в случае метаматематической интерпретации [9]. Отличие лежит, главным образом, в эпистемологических аспектах предложения, в частности в непостижимости огромной сложности арифметического предложения, представленного геделевым предложением.

Наконец, выход за пределы исходной системы связан с так называемым семантическим аргументом в рамках дефляционной концепции истины. Не вдаваясь в подробности, следует сказать, что в данном случае философская мотивация при установлении истинности геделева предложения является еще более сильной, чем во втором случае. Таким образом, мы имеем в некотором

роде иерархию резонов, от чисто математических ко все более философским. Но хотя первая точка зрения на истинность G опирается на самореференцию как математический прием при диагонализации, он все-таки апеллирует к понятиям, трактуемым и в философии, в частности к парадоксу лжеца.

Расхождение интересов философов и математиков в данном вопросе очевидно [10]. В этой связи представляет большой интерес мотивация чисто математического порядка, приводящая к аргументации об истинности геделева предложения, радикально отличной от упомянутых выше трех вариантов. П. Смит дал совсем новую трактовку проблемы, освободив первый самореферентный вариант объяснения истинности G от каких-либо философских посылок [11]. Ход его мысли вкратце таков.

Мы начинаем с элементарных арифметических операций и функций, которые являются п.р. (примитивно-рекурсивными). Их формализация подразумевает такую интерпретацию, при которой истинность формальных утверждений не вызывает ни малейших сомнений (как при совершении элементарных действий арифметики). Затем мы переходим к образованию все более сложных функций и, стремясь к конструированию геделева предложения, строим с помощью процедуры диагонализации такие функции, как duag и Gld. Способ построения таков, что обе функции являются п.р., и их истинность при принятой интерпретации столь же бесспорна, как и в отношении более простых функций. При формализации этого дискурса (с соблюдением условий представимости и пр.) мы получаем формулы формальной системы, скажем РА, которые истинны при соответствующей интерпретации. Хотя, по признанию Смита, G выглядит довольно экзотическим в качестве арифметического предложения, нет ничего странного в понятии истинности G. Действительно, он не усматривает никакого разрыва в способах присвоения истинности элементарным предложениям арифметики, таком же присвоении истинности при все более усложняющихся функциях (при сохранении их примитивно-рекурсивного характера) и, наконец, в присвоении истинности все также примитивно рекурсивным функциям diag и Gld.

Однако разрыв есть, и очень серьезный. Функции diag и Gld получаются диагонализацией, которая включает кодирование синтаксических элементов в арифметические, и при таком кодировании интуитивное понимание таких операций является затруднительным. Очевидно, что непрерывность в процедуре присвоения истинности функциям и выражениям теряется. И мы возвращаемся к проблеме, в каком смысле геделево предложение G можно считать арифметическим утверждением вообще, исходя из убеждения об интуитивной постижимости арифметических истин. Таким образом, этот путь установления истинности геделева предложения апеллирует скорее к математической интуиции, игнорируя при этом философские аспекты всего предприятия.

Таким образом, «простой» путь к установлению истинности геделева предложения упирается в проблемы интуитивного постижения процедуры диагонализации, поднимающих, в свою очередь, значительное число проблем относительно следствий кодирования в свете тезиса Д. Исааксона [12]. Очевидно, поэтому П. Смит предлагает два других варианта объяснения истинности геделева предложения. Первый из них связан с тем, что можно назвать «прыжком веры» в логико-математическом дискурсе, а второй с более тон-

кими мотивами о роли принципа рефлексии в метаматематике. В данной статье будет рассмотрен лишь первый вариант.

П. Смит обращает особое внимание на известное обстоятельство, что доказательство существования неразрешимого предложения зависит от посылок об обоснованности или непротиворечивости формальной системы. Предположение этих концепций придает различную силу формальным конструкциям, но в любом случае, говоря об истинности формальной системы, мы должны иметь гарантию либо обоснованности, либо непротиворечивости. Прежде всего П. Смит апеллирует к интуиции в отношении этих посылок. Оказывается, что интуиция подобного рода является на самом деле соответствующей верой математиков, на которой зиждется математическая практика. Это вполне обыденный прием в математическом дискурсе; скажем, вопросы о непротиворечивости в формальных системах PA или ZF действительно требуют обращения к уверенности математиков в этой непротиворечивости. Тогда более тщательное исследование вопроса об истинности геделева предложения требует анализа понятия веры, точнее, конкретных примеров этой веры, что является делом уже чисто эпистемологическим. Прибегая к типично философской метафоре, следует говорить о «прыжке веры». Этот термин Кьеркегора вполне уместен, поскольку тут действительно совершается прыжок от размышлений о формальных теориях арифметики к эпистемологическим вопросам об обосновании веры, или ее резонам. Последнее утверждение более уместно, потому что сама проблематика обоснования веры слишком обширна. Поэтому имеет смысл проанализировать конкретные аргументы обоснованности веры, подкрепленные аналогами из эпистемологии.

Коль скоро вера обычно ассоциируется с интенсиональностью контекста, вера в непротиворечивость и обоснованность формальной системы может полагаться интенсиональным аспектом первой теоремы Геделя о неполноте арифметики. Интересной особенностью такой интенсиональности является то, что вера в упомянутые вещи может зиждиться на разнообразных обстоятельствах математического дискурса, проще говоря, на разных резонах математической практики в пользу истинности такой веры. Такой подход противоречит как собственно метаматематическим соображениям, так и эпистемологическим аспектам понимания геделева предложения. Смит рассматривает четыре случая демонстрации истинности такого предложения.

Для чистоты эксперимента в качестве формальной системы рассматривается относительно слабая формальная система Apuфметика Poбинсона Q, в которой обнаруживаются неразрешимые утверждения (геделевы предложения G_Q). Эта система вбирает все элементарные арифметические истины, так что ее аксиомы можно считать общими истинами арифметики. Лежащая в основе системы Q логика первого порядка сохраняет истинность, так что Q — тривиально обоснованная теория. Далее, важно то, что неполнота Q, т.е. аргумент о недоказуемости GQ, является семантическим, отсюда следует, что вывод об истинности GQ, по выражению Смита, «банальный». Если же аргументация о недоказуемости GQ является синтаксической, истинность GQ не столь очевидна. При такого рода разночтениях следует прибегнуть к «продвинутому» варианту.

Сама по себе система Q не представляет интереса, помимо своего особого места в иерархии все более сильных формальных систем арифметики,

приближающихся в своих выразительных возможностях к реальным математическим теориям. В качестве такого рода приближения можно рассмотреть систему Q (Г), которая получается добавлением к Q гипотезы Гольдбаха в качестве аксиомы. Эта гипотеза (любое четное число есть сумма двух простых чисел) является знаменитой пока не доказанной догадкой, для веры в истинность которой есть много оснований. Если гипотеза действительно истинна, тогда геделево предложение новой системы $G_{O(\Gamma)}$ будет истинным в силу предыдущего случая. Этот пример представляет особый интерес, потому что истинность геделева предложения здесь является актом веры в истинность гипотезы Гольдбаха. Этот акт веры в некотором (неформальном) смысле обоснован двумя факторами: во-первых, чисто эмпирическим обстоятельством, что до сих пор не найдено контрпримера гипотезе; во-вторых, социологически обоснованным оптимизмом по поводу обнаружения в будущем ее доказательства. Но принимая во внимание эмпирический и социологический факторы, вряд ли можно считать истинное геделево предложение $G_{O(\Gamma)}$ аналитическим, что, безусловно, требуется от истинных логических утверждений. Правда, есть сомнения в том, считать ли $G_{O(\Gamma)}$ логическим (в силу его искусственности) или же математическим (в силу добавления к логическим конструкциям какого-то математического содержания). В любом случае вера в истинность геделева предложения не опирается на чисто логико-математические соображения.

Очевидно, осознавая некоторую слабость подобного рода аргументации, П. Смит представляет аналогичную систему $Q_{(\Phi)}$, только уже с добавлением знаменитой теоремы Ферма. Теперь речь идет не об обоснованности, а о непротиворечивости, потому что теорема Ферма уже доказана. Раз эта система непротиворечива, мы образуем в ней геделево предложение $G_{Q(\Phi)}$. Теперь его истинность не есть следствие просто непротиворечивости $Q_{(\Phi)}$, а зависит опять-таки от понимания истинности канонического геделева предложения [11. Р. 171–173].

Этот аргумент не совсем корректен, потому что в серии предлагаемых Смитом примеров мы только подходим к пониманию истинности «канонического» геделева предложения, а здесь нам предлагается прямо обратиться к такому пониманию. Далее, как отмечается Смитом, ситуация осложняется тем, что доказательство теоремы Ферма включает разного рода инфинитарные элементы, далеко выходящие за пределы обычной арифметики, кроме того, само по себе доказательство является очень тонким и сложным. Теперь акт веры в истинность геделева предложения $G_{Q(\Phi)}$ обосновывается пониманием сложного доказательства, да еще и с использованием инфинитарных элементов. С учетом этого возникает вопрос, а какой вид будет иметь в этом случае арифметическое выражение $G_{Q(\Phi)}$? Вряд ли тут можно будет апеллировать к интуитивным истинам арифметики. Таким образом, здесь уже можно говорить не просто о «прыжке веры» в интуитивную арифметику, а о «суперпрыжке» через бесконечное.

Таким образом, у нас нет оснований для полного удовлетворения демонстрацией истинности геделева предложения через постепенный переход от элементарных арифметических истин ко все более сложным системам, потому что каждый из примеров является «прыжком» по отношению к предыдущему. В этом отношении представляет интерес позиция Р. Пенроуза: «У ма-

тематиков нет абсолютно определенных убеждений относительно обоснованности или непротиворечивости используемых ими формальных систем... Не подвергаются ли их убеждения постепенному размыванию по мере того, как формальные системы все более удаляются от области феноменов, доступных непосредственному интуитивному... восприятию?» [13. С. 169].

Довольно интересно (имея в виду противоположные позиции Р. Пенроуза и П. Смита по поводу истинности геделева предложения), что оба дают практически одинаковый ответ на вопрос о соотношении истинности геделева предложения и предположения об обоснованности системы: «Любая позиция... в которой имеется убеждение в обоснованности [формальной системы] F, должна включать с себя и убежденность в истинности геделева предложения $G_{(F)}$... эта убежденность уже подразумевается неявно в исходной позиции, допускающей принятие истинности формальной системы F, пусть по началу это и не очевидно» [Там же. С. 170].

Р. Пенроуз также отмечает возможность «прыжков», говоря об уменьшении степени убежденности математика, когда обоснованность F кажется неопровержимой, а вот в обоснованности более сильной системы F* он будет лишь «практически уверен». Таким образом, возрастающая сложность формальных систем не демонстрирует непрерывности, которая гарантировала бы сохраняющуюся интуитивно истинность геделева предложения. На самом деле «мы вовсе не утверждаем, что высказывание $G_{(F)}$ будет непременно истинно для любой формальной системы F, мы утверждаем лишь, что высказывание $G_{(F)}$ настолько же достоверно, насколько достоверна любая другая истина, получаемая применением правила самой системы F» [Там же. C. 175–176].

Таким образом, мы начинаем отходить от интуитивной истинности геделевых предложений в пользу обоснованности правил формальной системы. И для подтверждения этого нам нужно дальнейшее варьирование формальных систем с целью демонстрации истинности геделевых предложений. Одним из интересных случаев в этом варьировании является предположение не об обоснованности формальной системы, а о ее непротиворечивости. С точки зрения установления причин истинности геделева предложения более сильным предположением является обоснованность системы, когда все доказуемые утверждения истинны. Какой будет ситуация, при которой обоснованность системы заменяется на ее непротиворечивость? Если и при таком ослаблении требований к системе можно будет говорить об истинности геделева предложения, это означает, что его истинность имеет гораздо более основательный характер, чем просто артефакт формальной системы. Как замечает Пенроуз, «полагая систему F непротиворечивой, мы знаем, что в высказывании $G_{(F)}$ подразумевается все же наличие некоего истинного смысла. Это, однако, происходит лишь в том случае, если символы, составляющие в действительности формальное выражение, обозначаемое « $G_{(F)}$ », имеют подразумеваемые значения. Если эти символы интерпретировать как-то иначе, то полученная в результате интерпретация $G_{(F)}$ вполне может оказаться ложной» [Там же. С. 177].

Однако, как считает Смит, из этого затруднения можно выйти за счет той самой переинтерпретации, о которой говорит Пенроуз. Рассмотрим систему Арифметики Пеано, к которой в качестве аксиомы добавлено отрицание ге-

делева предложения, а именно: $PA^* = PA + \neg G$. В этом случае мы имеем случай непротиворечивой, но ω -противоречивой системы. Существование таких систем вполне доказуемо. Хотя такие системы непротиворечивы, они не являются обоснованными. Но простой непротиворечивости PA достаточно для синтаксического доказательства ее неполноты, а стало быть, для демонстрации истинности ее канонического геделева предложения G.

Известно, что $PA* = PA + \neg G$ имеет нестандартную интерпретацию. В нестандартной интерпретации G не является истинным предложением. Однако при более общей трактовке понятия интерпретации формальной системы этот «дефект» можно исправить. Нестандартная интерпретация означает, что помимо натуральных чисел в область квантификации входят еще какието элементы, не образующие структуры ряда натуральных чисел. Эти элементы могут быть использованы для той самой переинтерпретации, когда символы, согласно Пенроузу, подразумевают другие значения. Тогда можно спасти ситуацию и вновь объявить, несмотря ни на что, геделево предложение G истинным. Смит приводит пример такой процедуры [11. P. 69].

Можно показать, что в Q не выводится формула $\forall x \ (0+x=x)$. Доказательство состоит в нахождении такой модели, в которой все формулы Q истинны, а означенная формула ложна. Однако можно найти такую интерпретацию арифметических операций и модификацию области действия кванторов. Так, к натуральным числам добавляются два инородных элемента. При такой (ненамеренной) переинтерпретации теоремы и аксиомы Q будут истинными. Далее, образуем новую систему Q# путем добавления к Q отрицания утверждения $\forall x \ (0+x=x)$ в качестве аксиомы. Ясно, что Q# будет необоснованной, но при описанной выше переинтерпретации она будет непротиворечивой. И этого факта достаточно для признания соответствующего геделева утверждения Q# истинным.

Все рассмотренные четыре случая являют собой впечатляющее разнообразие мотивов, по которым формальная теория считается обоснованной или непротиворечивой. Это означает, что признание истинности геделевых предложений дело чисто математическое: «Наши примеры также раскрывают, что в то время как наши основания для принятия истинности геделевых предложений могут быть самыми различными, причины, которые мы выдвигаем [в пользу этого]... имеют характер полностью обычных математических рассуждений» [Ibid. P. 173].

Фактически стратегия Смита сводится к тому, что истинность геделева предложения полагается бесспорной для целого ряда «нормальных» и «странных» формальных систем арифметики, для которых даже при нестандартной интерпретации можно верить если не в обоснованность, то в непротиворечивость. Последней вполне достаточно для существования геделева истинного предложения, которое оказывается просто вездесущим. При этом вера в непротиворечивость никак не увязывается с проблемой истинности кроме как чисто экстенсионального понимания соотношения непротиворечивости и истинности G: истинность антецедента при сохраняющей истинность логике обусловливает истинность консеквента. Никаких «независимых» аргументов об истинности G, которые перечислены в начале данной статьи, не принимается в расчет.

Но сами эти причины при этом имеют характер веры в непротиворечивость или обоснованность формальных систем, а не логического аргумента. В этом случае следует признать, что эта вера является стандартной частью математического дискурса, не поддающейся рациональной аргументации, на чем настаивает Пенроуз. И в этой связи очень странно звучит заключение Смита: «Когда мы в первый раз сталкиваемся с идеей неполноты, то гадаем, а нет ли некоторого особенного, превосходящего правила когнитивного постижения чисел, которое лежит в основе нашей способности распознавать геделевы предложения корректными арифметическими утверждениями. ...Эти спекуляции должны сейчас казаться совершенно посторонними» [11. Р. 173].

Последнее заключение является поразительно непродуманным. Аргументация Смита опирается на два предположения. Во-первых, для всех относительно слабых формальных систем арифметики, схватывающих элементарные арифметические истины, доказывается их неполнота с соответствующим существованием геделева неразрешимого предложения. Вовторых, истинность геделева предложения обусловливается как раз схватыванием элементарных арифметических истин. Оба предположения можно подвергнуть сомнению, поскольку они основаны на отказе признать двойственное понимание природы геделева предложения. На самом деле, геделево предложение G является одновременно метаматематической конструкцией и арифметическим предикатом. Неполнота относительно слабых формальных систем арифметики доказывается метаматематическим путем, и соответствующая геделева конструкция G понимается метаматематически, со всеми интересными следствиями и эквивалентностями. Что касается арифметического предиката G, то он чрезвычайноно сложный и вряд ли подлежит когнитивному осмыслению [9]. К тому же и сам переход в осмыслении природы G от метаматематического его смысла к арифметическому представляет значительный «прыжок», который становится источником трудностей в понимании этой проблематики. Так что вряд ли проблематичность полагания геделевых предложений корректными арифметическими утверждениями является «посторонней».

Таким образом, интенсиональные аспекты математического дискурса проявляются, в частности, в приписывании истинности геделеву предложению Первой теоремы Геделя о неполноте арифметических формальных систем в силу веры в непротиворечивость. Фактически это означает «прыжок веры» из экстенсионального математического дискурса в интенсиональный дискурс. Но такой «прыжок» не является оправданным, если рассматривать геделево предложение в качестве обоснования прыжка, поскольку такое обоснование оторвано от эпистемологических проблем понимания природы арифметического аспекта геделева предложения.

Литература

- 1. Giaquinto M. The Search for Certainty: A Philosophical Account of Foundations of Mathematics. Oxford: Oxford University Press, 2002.
- 2. *Putnam H.* Mathematics without Foundations // Philosophy Mathematics / eds. P. Benacerraf, H. Putnam. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. P. 295–311.
 - 3. Boolos G. The Logic of Provaility. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

- 4. *Peregrin J.* Intensionality in Mathematics // Truth, Existence, and Explanation / eds. M. Piazza, G. Pulcini. Springer, 2018. P. 57–70.
- 5. Raatikainen P. On the Philosophical Relevance of Gögel's Incompleteness Theorem // Revue international de philosophie. 2005. Vol. 59, № 4 (234). P. 513–539.
- 6. *Dummett M.* The Philosophical Significance of Gödel's Theorem // Truth and Other Enigmas. Cambridge: Harvard University Press, 1978. P. 186–201.
- 7. Tennant N. Deflationism and the Gödelian Phenomena // Mind. 2002. Vol. 111, № 443. P. 563–564.
- 8. Halbach V., Visser A. Self-Reference in Arithmetic I // The Review of Symbolic Logic. 2014. Vol. 7, № 4. P. 671–691.
- 9. Sereny G. How do We Know that the Godel Sentence of a Consistent Theory Is True? // Philosophia Mathematica. 2011. Vol. 19, № 1. P. 47–73.
- 10. Smorynski C. The Development of Self-Reference: Löb's Theorem // Perspectives on the History of Mathematical Logic / ed. T. Drucker, Berlin : Birkhäuser, P. 110–133.
- 11. Smith P. Introduction to Gödel's Theorems. Second Edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- 12. *Isaacson D.* Arithmetical Truth and Hidden Higher-Order Concepts // The Philosophy of Mathematics / ed. W.D. Hart, N.Y.: Oxford University Press, 1996, P. 203–224.
- 13. Пенроуз Р. Тени разума. Ч. 1. Понимание разума и новая физика. М. : Институт компьютерных исследований, 2003.

Vitaliy V. Tselishchev, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: leitval@gmail.com

Aleksandr V. Khlebalin, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: sasha khl@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 24–34.

DOI: 10.17223/1998863X/48/3

INTENSIONAL MODUS IN MATHEMATICAL DISCOURSE: A "JUMP OF BELIEF" AND MATHEMATICAL PRACTICE

Keywords: intensionality of mathematics; Gödel sentence; consistency; belief.

The intensionality of mathematical discourse is vividly represented by the features of the proof for Gödel's Second Incompleteness Theorem. An undecidable Gödel sentence can have various forms of expression with different meanings. The necessary consideration of this kind of intensionality in usually extensional metamathematical statements is connected with the structural features of the construction of a Gödel sentence. Especially important are the general characteristics of the Gödelian construction, which combines both the Gödel sentence G1 of the First Incompleteness Theorem and G2. In particular, establishing the truth of G1 is related to the intensional nature of mathematical discourse to the same extent as in the case of G2. The analysis of the epistemological aspects of the intensionality of the First Theorem is possible through the study of the truth conditions for the Gödel sentence. These epistemological consequences include the consideration of the problem of belief in some basic epistemological attitudes in mathematical discourse. It is known that the proof of the existence of an undecidable sentence depends on the assumptions about the validity or consistency of the formal system. The assumption of these concepts gives different strengths to formal constructions, but, in any case, speaking about the truth of the formal system, we must have a guarantee of either validity or consistency, which is intuition based on the belief of mathematicians rooted in mathematical practice. There are two components to establishing the truth of the Gödel sentence. First, for all relatively weak formal systems of arithmetic, grasping elementary arithmetic truths, their incompleteness is proved with the corresponding existence of a Gödel undecidable sentence. Secondly, the truth of the Gödel sentence is determined precisely by the capture of elementary arithmetic truths. In fact, G is both a metamathematical construction and an arithmetic predicate. The incompleteness of relatively weak formal systems of arithmetic is proved in a metamathematical way, and the corresponding Gödel's construction G is understood metamathematically. As for the arithmetic predicate G, it is monstrously complex and hardly subject to cognitive understanding. In addition, the transition itself in understanding the nature of G from its metamathematical meaning to the arithmetic one represents a significant "jump", which is a source of difficulties in understanding this problem. Thus, the intensional aspects of mathematical discourse are manifested particularly in the attribution of truth to G1 by virtue of belief in consistency. In fact, this means a "jump of belief" from extensional mathematical discourse to intensional one.

References

- 1. Giaquinto, M. (2002) The Search for Certainty: A Philosophical Account of Foundations of Mathematics. Oxford: Oxford University Press.
- 2. Putnam, H. (1983) Mathematics without Foundations. In: Benacerraf, P. & Putnam, H. (eds) *Philosophy Mathematics*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 295–311.
 - 3. Boolos, G. (1993) The Logic of Provaility. Cambridge: Cambridge University Press.
- 4. Peregrin, J. (2018) Intensionality in Mathematics. In: Piazza, M. & Pulcini, G. (eds) *Truth, Existence, and Explanation*. Springer. pp. 57–70.
- 5. Raatikainen, P. (2005) On the Philosophical Relevance of Gögel's Incompleteness Theorem. *Revue International De Philosophie*. 4(234). pp. 513–539.
- 6. Dummett, M. (1978) *Truth and Other Enigmas*. Cambridge: Harvard University Press. pp. 186–201.
- 7. Tennant, N. (2002) Deflationism and the Gödelian Phenomena. *Mind*. 111(443). pp. 563–564. DOI: 10.1093/mind/fzg035
- 8. Halbach, V. & Visser, A. (2014) Self-Reference in Arithmetic I. *The Review of Symbolic Logic*. 7(4). pp. 671–691.
- 9. Sereny, G. (2011) How do We Know that the Godel Sentence of a Consistent Theory Is True? *Philosophia Mathematica*. 19(1). pp. 47–73. DOI: 10.1093/philmat/nkq028
- 10. Smorynski, C. (2008) The Development of Self-Reference: Löb's Theorem. In: Drucker, T. (ed.) *Perspectives on the History of Mathematical Logic*. Berlin: Birkhäuser. pp. 110–133. DOI: 10.1007/978-0-8176-4769-8
- 11. Smith, P. (2013) Introduction to Gödel's Theorems. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.
- 12. Isaacson, D. (1996) Arithmetical Truth and Hidden Higher-Order Concepts. In: Hart, W.D. (ed.) *The Philosophy of Mathematics*. New York: Oxford University Press. pp. 203–224.
- 13. Penrose, R. (2003) *Teni razuma* [Shadows of the Mind]. Translated from English by A. Logunov, N. Zubchenko. Moscow: Institute for Computer Science Research.

СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ И ФИЛОСОФСКАЯ АНТРОПОЛОГИЯ

УДК 101.1:3

DOI: 10.17223/1998863X/48/4

А.А. Дыдров, В.С. Невелева

АНТРОПОЛОГИЯ ИННОВАЦИЙ¹

Статья посвящена философско-антропологическому осмыслению феномена инновации. Авторы обосновывают значимость новой предметной области — антропологии инноваций, направленной на разрешение противоречия между высокой интенсивностью внедрения новшеств во все сферы жизни и отсутствием соразмерного значению инноваций универсального осмысления. Особое внимание уделено человеку и его двойственному положению — как создающей новшества творческой силе и объекту воздействия инноваций.

Ключевые слова: антропология инноваций, философская антропология, инновация, творчество, постчеловек, трансгуманизм.

Постановка проблемы

В X главе «Левиафана» Т. Гоббс сравнил могущество человека с движением тяжелого тела: чем дальше оно движется, тем больше увеличивается его скорость [1. С. 58]. Способности к достижению в будущем некоего «видного» блага пока не видно предела. Сегодня могущество человечества распространяется не только на природу или социальные структуры, но и на самого человека. Индикатором такого могущества являются интенсивно развивающиеся технологии (информационные, когнитивные, биологические, медицинские и др.), позволяющие непосредственно воздействовать на человеческую природу и бороться с «несовершенством» материально-телесной организации, контролировать психические состояния и процессы, влиять на интеллектуальные способности и т.д.

Отвечая «запросам времени», человек, по выражению М. Хайдеггера, «загоняет одну возможность за другой» [2. С. 104] и опредмечивает идеи в так называемых «инновационных продуктах». Скорость внедрения новшеств сегодня высока и постоянно растет под лозунгами «Больше инноваций!» и «Инновации или смерть». По мере увеличения скорости внедрения новшеств в различные сферы жизни растет значимость моментов «остановки» и вопрошания: ради чего происходит рост могущества человека? К чему приведет увеличение скорости внедрения новшеств, кроме успехов в конкурентной борьбе за технологическое, экономическое и политическое лидерство? Однако осознается ли значимость этих вопросов настолько, чтобы «остановки»

 $^{^1}$ Статья выполнена при поддержке Правительства РФ (Постановление № 211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011.

стали обязательными в скоростном инновационном процессе, а высвечивающееся в них аксиологическое содержание стало самостоятельным предметом внимания. Кроме того, не создалась ли своеобразная противоречивая ситуация, когда, с одной стороны, инновации предстают как универсальное средство движения вперед, с другой стороны, понимание того, что такое инновации, оказывается редуцированным, поскольку они однозначно связываются с научно-техническим прогрессом, со сферой техники и технологий.

В этой связи возможен ли разговор об инновациях за пределами экономического, управленческого и технико-технологического контекстов? Поиск ответов на поставленные вопросы де-факто не входит в область компетенции экономистов, управленцев и инженеров. В определенном смысле обозначенные вопросы пребывают в забвении, потому что они «неудобны» для современного человека, растворившегося в вещественной предметности и озабоченного «подручным».

О том, что человек растворяется именно в подобного рода предметности, свидетельствуют и распространенные сегодня определения инновации. Например, авторы проекта «Инновационная Россия - 2020», рассуждая о проблеме невосприимчивости населения к инновациям, связывают последние с продуктами и технологиями. В качестве наиболее эффективного средства повышения восприимчивости к новшествам названа пропаганда инновационного предпринимательства и научно-технической деятельности [3. С. 25]. С выходом «Теории экономического развития» Й. Шумпетера инновация стала связываться с внедрением нового продукта, открытием рынка, созданием новой технологии производства, открытием источника сырья и появлением организационных структур в хозяйственной деятельности. Это мнение прочно укоренилось в интеллектуальной среде и считается очевидным. Но именно эту «очевидность», возможно, и следует поставить под сомнение. В противном случае инновационность оказывается замкнутой на предметновещественный мир и не выходит за его границы. Обозначенные «неудобные» вопросы ориентируют на универсальное осмысление предметного мира, поскольку он не сводится к вещественным компонентам, на приостановку калькуляции и рефлексию над смысложизненными ценностями. Поскольку жизнь человека не замкнута на предметно-вещественный мир, но все больше определяется «мерками» этого мира и аксиологическая сторона бытия не должна уйти в тень, имеет смысл говорить о важности и своевременности антропологии инноваций. Антропология инноваций позволит не только концептуализировать феномен инновации и обосновать возможность и необходимость выведения понятия инновации за пределы экономического и инженерного дискурсов (поскольку его содержание будет определяться исходя из всеобщего отношения «человек - мир»), но и высветить аксиологические аспекты инноваций, инновационной деятельности (без чего невозможна рефлексия философского уровня и содержания), а также сконцентрироваться на их «человеческом измерении», на человеке - субъекте и объекте инновационной деятельности. Это дает возможность дистанцироваться от всех узкоспециальных определений инновации и посмотреть на инновацию с другого ракурса - не только как на продукт или технологию, замкнутые на коммерческую реализацию.

Попытки вывести понятие инновации за границы обозначенных контекстов уже предпринимались. В числе современных исследователей, занимаю-

щихся проблематикой инноваций и выводящих понятие инновации за пределы контекстов экономики и инженерной и управленческой деятельности, есть не только философы, но и экономисты [4. С. 49–50], культурологи [5. С. 3–8], [6. С. 10–17], социологи [7. С. 103–112], [8. С. 42–47] и др. Однако антропология инноваций никоим образом не ограничивается работой над определением понятия. Работа с понятием — важная, но не единственная задача. Нужно обозначить для человека необходимость «прорваться» за сферу «подручного», к тому, что за ней стоит или что ее сопровождает. Антропология инноваций акцентирует внимание на аксиологическом смысле социально значимой деятельности человека, на ценностной стороне всякого знания и умения и побуждает обратить внимание не на то, *что* можно делать, а на то, *можно* ли и *ради чего* это стоит делать.

Антропология инноваций призвана преодолеть рассогласование между предметно-вещественной и ценностно-смысловой ориентациями человека. Ценностно-смысловая ориентация личности нередко не учитывается как обязательная, но именно она имеет огромное значение для формирования картины мира. Вопрос о сформированности картины мира у молодого поколения — вопрос насущный. Не случайно в одном из выступлений П.Г. Щедровицкий утверждал, что сегодня «огромное число молодых людей не имеют никакой картины мира» [9]. В отличие от получения специальных знаний, формирования конкретных умений и навыков формирование картины мира — дело чрезвычайно длительное и сложное. Сложность и длительность этого дела не являются основаниями для отказа от него. В этой связи претензия антропологии инноваций на участие в формировании картины мира современного человека очевидна и обоснованна.

Предмет антропологии инноваций определяется теми «неудобными» вопросами, которые современный человек пропускает или на которые предпочитает не отвечать: Что инновации дают человеку? Чем для него оборачиваются? Чего инновации лишают человека? Чем ему угрожают? Каждый из обозначенных вопросов требует сосредоточения, вдумчивости и времени для поиска ответа. Но кажется, на этот длительный поиск у современного человека совсем нет времени. По выражению Э. Тоффлера, «перемены набирают скорость, из-за которой реальность иногда кажется калейдоскопом» [10. С. 21]. В том, что «поток перемен настолько ускорил свой ход, что он влияет на наше чувство времени, революционизирует темп повседневной жизни», не приходится сомневаться [Там же. С. 28]. Однако не становится ли ссылка на ускорение ритма жизни своеобразным «алиби» для современного человека? Не является ли она оправданием «бегства» от ответственного, «участного» мышления?

В общем смысле антропология инноваций — это еще один способ понимания человека, его внутреннего и внешнего мира. Она сосредоточена на поиске ответа на вопрос, что есть человек перед лицом инноваций. Такая постановка вопроса не случайна. Сама философская традиция говорит о том, что мы понимаем человека как находящегося перед лицом чего-то: Бога (К. Барт) или «смерти» бога (Г. Марсель), смерти (С. Кьеркегор), «атомного» века и техники (М. Хайдеггер) и т.д. Антропология инноваций следует этой традиции и пытается понять человека, стоящего перед лицом инноваций, которые рассматриваются как основной инструмент прогрессивного развития.

Предметная область антропологии инноваций

Антропологию инноваций можно определить как раздел философии, посвященный осмыслению феномена инновации в контексте способов совместного и индивидуального бытия людей. Иными словами, для антропологии инноваций особый интерес представляет не инновация как таковая, взятая сама по себе, а инновация в ее отношении с мышлением, деятельностью, творчеством, ценностями человека. Осмысление инноваций как своеобразного символа нестабильности позволит вновь поставить вопрос об идентичности человека, в новых условиях осуществить «вопрошание» о человеке.

Одна из первостепенных задач обозначенной области знания заключается, очевидно, в определении инновации. Могут возразить, что эта процедура уже неоднократно совершалась и существуют десятки ясных и четких определений. Дело, однако, вовсе не в количестве определений, а в их содержании: все они предложены с учетом одного и того же социального контекста замкнуты на контекст предметно-вещественного мира и рыночных отношений. В таком случае инновации заданы характеристикам внешнего по отношению к человеку мира, выступающим своеобразными «объективными условиями», в которых человек вынужден искать возможность существовать. В очередной раз «логика вещей» оказывается доминирующей. Подобный редукционистский подход вряд ли соответствует масштабности проблем, связанных с инновациями. Антропология инноваций исходит из иного понимасвязана с тем, что человек всегда осуществляет самотрансцендирование, он выходит за границы себя самого, порождает свой внешний мир и все время пересоздает его в новых условиях, расширяя сферу своего присутствия. Различные исследователи видят связь понятия инновации с понятиями новации [11. С. 104-109], творчества [12. С. 243-250.], открытия [13. С. 20-24.], объективации [14. С. 12-17] и др. В сходствах и различиях обозначенных понятий еще только предстоит разобраться. Скорее всего, этот процесс будет долгим и породит как множество дискуссий, так и множество оригинальных гуманитарных идей и концепций.

Инновации являются предметом осмысления в философии науки, философии техники и социальной философии. По-видимому, существуют некоторые основания для предположения, что инновации могут быть предметом осмысления и в философской антропологии. Антропология инноваций связана с расширенным пониманием инновации и инновационных процессов, не сводимым только к тому, что касается внедрения в производство новой технологии, или к продуктам, ориентированным на коммерческую реализацию. Более того, расширенное понимание предполагает, что инновации вовсе не обязательно «вещественны». Это утверждение нуждается в обосновании. Историко-философская традиция (по крайней мере с раннего Нового времени) дает благодатный материал, позволяющий обоснованно говорить о необходимости подобного расширенного понимания. Об инновации писали Ф. Бэкон, А. Фергюсон, И. Бентам, Д. Дидро, И. Кант, А. Уайтхед, Б. Рассел, К. Поппер и другие мыслители. В их сочинениях инновация была связана с изменением государственного и общественного порядка, масштабными преобразованиями религиозных практик, реформами в сфере образования и т. д. В социогуманитарной традиции XX в. об инновации часто писали в связи с научным и художественным творчеством, философским осмыслением действительности («теоретическая инновация» у Т. Куна, «концептуальная инновация» у И.Р. Пригожина и И. Стенгерс, «культурная инновация» у Т. Парсонса). Таким образом, сфера интерпретации инновации выглядит практически универсальной.

Антропология инноваций выявляет, что меняется в человеке и его мире, поскольку они неразрывно связаны: любое изменение одного влечет изменение в другом. Кроме того, всякий раз новые «вызовы» времени, когда их начинают осмысливать, заново ставят вопрос «что есть человек?». В истории философии и гуманитарного познания человек обозначался и как «animal symbolicum» (Э. Кассирер) и «homo religiosus» (П. Пупар), и как «homo faber» (А. Бергсон, Х. Арендт), и как «homo ludens» (Й. Хейзинга), и т.д. Некоторые ученые маркируют современного человека как «homo innovaticus» (В.А. Герасимова, Е.А. Другова и др.). Данный маркер используется не только и даже не столько в науке, сколько в политике. Авторы проекта «Инновационная Россия – 2020» утверждают, что «для инновационной экономики нужен инновационный человек», т.е. человек, «способный в полной мере использовать достижения науки и техники», «мотивина создание инноваций, внедрение их во все сферы общественной жизни». В государственном проекте «Инновационная Россия - 2020» инновации интегрированы в экономический и техникотехнологический контексты. Между тем нет оснований для утверждения, что иное понимание homo innovaticus невозможно.

Предметом антропологии инноваций является инновация в ее связи и в отношении с человеком в его целостности, с его материально-телесной природой, душевно-духовным миром и социокультурным бытием, так как инновации затрагивают не только самого человека, но и мир человека, созданный и создаваемый им. В отличие от инноватики, акцентирующей внимание на управлении инновационной деятельностью, на организации и результатах инновационной деятельности, в фокусе внимания антропологии инноваций находится человек, сама же инновация получает философско-культурологическую интерпретацию, не сводящуюся к пониманию ее природы как социальной. В антропологии инноваций происходит обращение к гуманитарной составляющей философии инноваций, ее гуманистическим и ценностным аспектам. Человек является и активным и пассивным началом: он внедряет инновации и испытывает влияние, даже властное воздействие новшеств на свою жизнь. В соответствии с этим двойственным положением человека образование и воспитание как сферы «возделывания человека» призваны выполнять две основные задачи: во-первых, помочь человеку выжить в условиях инновационного «бума» (этому способствуют различные инновационные формы и методы образования и воспитания), адаптироваться в мире интенсивных перемен; во-вторых, помочь в формировании ценностного мира, в развитии интеллектуального и нравственного начал человека как творца. Будучи творцом, человек не может избежать вопросов о свободе творчества, мере дозволенного в преобразовании самого себя и окружающего мира и ответственности за разработку, распространение, использование, за социальные и антропологические последствия инновационной деятельности.

Антропология инноваций и феномен творчества

Антропология инноваций акцентирует внимание на связи инновации с творчеством, т.е. с процессом возникновения нового (с переходом из небытия в бытие, по мысли Платона, обновлением и изменением, согласно идее А. Бергсона, отрицанием существующего и созданием нового мира, по мнению Н.А. Бердяева, с действием не по инструкции, по выражению П.Л. Капицы) и деятельностью, порождающей новые идеи, ценности, смыслы и вещи.

Творчество - основополагающий феномен бытия человека, человек творческое существо. Свобода – это стихия творчества, «бунтующего» против мировой данности и необходимости. В творчестве рождается новое, прерывающее постепенность и вторгающееся в сложившийся порядок, не имеющее оснований и ничем не предуготовленное. Оно рождается во вдохновении и озарении, без предварительной программы или заранее написанного плана, без поставленной цели, заключающейся в раздвигании границ предметно-вещественного мира. Новое, возникающее в осененном духом творчестве, всегда значительно и уникально - оно опережает свой век и получает «мировоззренческую аппликацию» в будущем [15. С. 58]. Вместе с тем столь же очевидно, что новое может быть выведено из определенных условий, обусловлено задачами, создано по плану, предуготовлено. Оно может удовлетворять потребности человека в преобразовании мира. В таком случае новое вписано в деятельностно-прагматический контекст. Разграничение двух измерений творчества - онтологического и деятельностнопрагматического - позволяет видеть среди новаций те, которым предшествует «ничто», и те, что появились в результате перекомбинации существующего, те, что родились в озарении, и те, что были запланированы и заранее просчитаны, предзаданы четко обозначенной целью. Онтологическое измерение творчества требует универсального понимания новации и инновации, свободного от технико-технологического, экономического и управленческого контекстов. Новации и инновации – это не только производственные технологии, не только элементы предметно-вещественного мира, но и новые смыслы, ценности, идеи. Универсальное понимание новаций и инноваций нуждается в философских, в частности в философско-антропологических, основаниях.

Будучи поставленным в «середину» своего существования и зная об этой середине, человек преступает ее. Как «автор» собственного существования человек всегда выходит вовне, за пределы «здесь-и-теперь». Выход за границы центра к внешнему миру, в «континуум пустоты» [16] позволяет обустроить мир, воздействовать на другого — на особую индивидуальную реальность и особый внутренний мир. Выход за границу обеспечивает существование совместного мира, бытие с Ты и Он. В порождаемом человеком как «эксцентрическим существом» мире совместного бытия размещаются плоды труда, идеи, смыслы и ценности. Встреча эксцентрических актов, позитивный ответ другой индивидуальной реальности на мое предложение обустроить мир является почвой для созревания плодов.

Вместе с тем творческая деятельность в определенном смысле отрицает существующий мир, а ее плоды борются с сущим за свое место под солнцем,

вытесняя существующее на периферию, делая его неуместным. Инновация возникает тогда, когда другой говорит «да» результату, в котором выразилось мое творческое начало. Человек ответствен за собственное эксцентрическое бытие постольку, поскольку воздействует на другого. По выражению Ж.-П. Сартра, «нет ни одного нашего действия, которое, создавая из нас человека, каким мы хотели бы быть, не создавало бы в то же время образ человека, каким он, по нашим представлениям, должен быть» [17]. Обустраивая и перестраивая мир, человек может стать образцом для другого. Понимание этого немаловажного факта побуждает поставить вопрос об ответственности человека за свою инновационную деятельность. В философии этот вопрос всерьез обсуждался во второй половине XX – начале XXI в. Ответом на него стали появление биоэтики, акцентирующей внимание на моральных проблемах в связи с развитием биомедицинской теории и практики, и идея гуманитарной экспертизы — социальной практики, призванной защитить человека от реальных и потенциальных угроз инноваций.

Антропологию инноваций интересует то, на каких ценностях инноватор основывается и какие ценности и смыслы вкладывает в свою деятельность. Если творчество – это не механическое выполнение работы, не действие по инструкции, но всегда привнесение личного, то какова граница личного и коллективного опыта в акте внедрения инновации? Если трактовать творчество как воплощение цели, рождающейся из глубин человеческого духа (что соответствует традиции русской религиозной философии), то далеко не всякий продукт можно назвать результатом творческой деятельности.

Антропология инноваций не рассматривает коммерческую составляющую в качестве неотъемлемого признака инновации и акцентирует внимание на распространении, использовании и усвоении различных идей, концепций, методологий как авторских новаций, явно выполняющих при этом функцию любой инновации — качественное изменение той сферы, той системы, где новшество получило применение (изменение видения человеком себя и действительности). Инновации возникают в любых науках, фундаментальные достижения в которых стали основанием новых технологических и технических решений. Есть основания полагать, что внедрение инноваций происходит и в социально-гуманитарной сфере. В отличие от технико-технологических инноваций, гуманитарные концепции распространяются сравнительно медленно и, доказывая свою жизнеспособность, постепенно укореняются в социокультурной среде. Они могут пройти долгий путь в борьбе за признание и в конце концов добиться его. Примеров гуманитарного творчества очень много.

Одним из ярких примеров гуманитарных инноваций являются рационалистические идеи Р. Декарта, получившие дальнейшее развитие и ставшие основой не только для новых концепций европейского рационализма, но и для программ социального переустройства, т.е. внедренные в общественную жизнь. Философские идеи французского мыслителя повлияли на сложившиеся научные принципы и представления о природе и человеке, став основой механистической картины мира. Столь же очевиден вклад Р. Декарта в теорию и практику научного исследования. В частности, это выражается в анализе оснований научного мышления и требовании рефлексии. Картезианский рационализм имеет не только научно-методологическое, но и социальное

значение. Совместная жизнь людей в гражданском обществе предполагает анализ собственных позиций и позиций другого, а также поиск консенсусов на основе рациональности.

Идеи, концепты и концепции участвуют в коренном изменении картины мира. За любой такой идеей всегда стоит автор, конкретный человек. Идея может стать всеобщим достоянием, преодолеть границу индивидуально-авторского значения, стать инновационным «продуктом», поскольку начинает активно потребляться и становится эффективным средством обновления миропонимания и человекопонимания.

Человек как объект воздействия инноваций

Антропология инноваций рассматривает человека не только как инноватора, но и как того, на кого направлена инновационная деятельность. Антропология инноваций исходит из принципа антропоцентризма и гуманоцентризма, важности гармонии природного и сконструированного, органического и неорганического, наследственного и приобретенного, естественного и искусственного и т.д. В условиях развития новых, непосредственно направленных на человека технологий и областей исследования (НБИК-технологий, геномики, трансплантологии, фармацевтики и др.) фундаментальные антропологические константы переосмысляются и наполняются новым содержанием. Например, трансцендирование в религиозном и религиозно-философском контекстах означало выход за пределы чувственного опыта, за рамки физического в метафизический мир. В философии Н. Гартмана трансцендирование заключено в интенциональности сознания, указывающего через предмет сознания на нечто существующее-в-себе и для-себя. У М. Хайдеггера трансцендирование трактовалось как переход от несобственного существования, от растворения в людях к подлинному существованию, экзистенции. У Ж.-П. Сартра человек трансцендирует, так как выходит за границы любого возможного опыта.

В связи с увеличением значимости научного знания, качественными изменениями в мире техники и, главным образом, в связи с популяризацией идей радикальной трансформации человеческой природы трансцендирование приобретает иной смысл. В 80-90-х гг. прошлого века появились первые работы трансгуманистов, в которых утверждалось, что человек не является вершиной эволюции и может с помощью информационных технологий, нанотехнологий, биомедицинских открытий достичь принципиально иного уровня жизни. Трансцендирование связывается с преодолением несовершенства тела и даже с отказом от тела, с отделением сознания от биологического субстрата, с идеей «загрузки» сознания, т.е. его размещением на небиологическом носителе и в информационной сети. «Загрузка», по определению трансгуманиста Н. Бострома, представляет собой гипотетический процесс переноса сознания из биологического мозга в компьютер. В «Часто задаваемых вопросах по трансгуманизму» шведский ученый пишет: «Сканирование мозга с достаточным разрешением может быть выполнено путем разборки мозга атом за атомом с помощью нанотехнологии» [18]. Тема существования человека в Сети уже сравнительно давно не только принадлежит творчеству кинематографистов и писателей-фантастов, но всерьез обсуждается в научных кругах.

Принципиально иное значение приобретает и константа телесности. Современные технологии глубоко воздействуют на такие феномены, как аффект, сексуальность, перверсии, плоть и т.д. Не случайно американский футуролог Ф. Фукуяма назвал биолабораторию «символом современности» [19. С. 9]. По мнению Ф. Фукуямы, над генетикой навис «призрак евгеники» вмешательство в геном с целью преобразования человеческой природы, программирования заранее определенных свойств [Там же. С. 124]. То же касается и эмоций. То, что ранее считалось несоизмеримым с рациональностью и даже противостоящим ей, относилось к области иррационального, становится программируемым с помощью медицинских мер и препаратов. В гуманитарных науках процесс внедрения новых технологий получил различные оценки - от откровенно негативных до позитивных, от нещадной критики до восторженности. В некотором смысле эти оценки сопряжены с традициями сциентизма и антисциентизма. Трансгуманизм базируется на идее о том, что homo sapiens не является самым совершенным творением природы, но при этом обладает инструментарием для преодоления ограничений собственной природы. В противовес утверждениям о стихийности эволюции трансгуманисты выдвигают тезис о направленной и контролируемой эволюции. По мнению трансгуманистов (Н. Бостром, М. Мор, Д. Пирс и др.), человек должен стать постчеловеком. По определению Н. Бострома, постчеловек - «потомок человека, модифицированный до такой степени, что уже не является человеком». Критики трансгуманизма (Ф. Фукуяма, В.А. Кутырев и др.) считают идеи радикальной трансформации человеческой природы опасными. По мнению В.А. Кутырева, трансгуманизм - это «прямое объявление войны человеку» [20. С. 7], подталкивающее homo sapiens к самоубийству. Сторонник умеренной позиции, не предполагающей ни отказа от трансгуманизма и идеи управляемой эволюции, ни восторженного отношения к мысли о трансформации человеческой природы, Ю. Хабермас, сформулировал аргумент «чужого влияния». В книге «Будущее человеческой природы» философ говорил о том, что «дизайнер» человеческой природы в соответствии с собственными или чужими предпочтениями конструирует будущую личность, предопределяя ее физическое, психическое, интеллектуальное развитие [21. С. 91]. Обозначенный аргумент выводит на экзистенциальную проблему реализации человеком собственного жизненного проекта.

Антропология инноваций и образование

В 60-х гг. прошлого столетия австрийский политик и писатель Р. Юнг выступил с инициативой организовать в системе школьного образования «прогностические ячейки», состоящие из педагогов и учащихся. Спустя десятилетие Э. Тоффлер в книге «Шок будущего» писал о «советах будущего» – группах, всецело посвятивших себя изучению будущего в интересах настоящего. Российский ученый А.Д. Урсул в прошлом десятилетии выступил с инициативой внедрения в образовательную систему стратегии футуризации, включающей в себя разработку и применение «механизмов понимания и освоения будущего» [22. С. 13]. В то же время некоторые российские философы начали говорить о необходимости диалога гражданского общества с государством на предмет допустимости и масштабов применения потенциально опасных для жизни и здоровья человека технологий [23. С. 115]. При

всем своеобразии каждой из обозначенных идей в них есть и кое-что общее: во-первых, все они выражают озабоченность будущим, а во-вторых, признают важность образования как почвы, которая должна дать новые всходы – культуру мышления о будущем.

Для антропологии инноваций вполне подходит обозначенное высказывание футуролога Э. Тоффлера - она озабочена будущим в интересах настоящего. Область развертки ее содержания не ограничивается институциональным образованием. Однако именно образованию принадлежит особая роль как многовековой практике социализации поколений, среде, в которой человек учится «активно использовать свой творческий потенциал и воображение» [24. С. 78]. В институциональном образовании (как основном, так и дополнительном) сочетается то, что Б.Г. Юдин называл «ценностями изменения» и «ценностями сохранения». Первые связаны с креативностью, инновационностью, жаждой перемен, вторые - с сохранением традиций, созерцанием, обереганием и спасением [25. С. 130]. В действительности обозначенные ценности не воплощаются в образовательной системе в равных «пропорциях». Нередко это служит поводом для нещадной критики и обвинений в адрес образовательной системы в «реакционности» и «обскурантизме». Например, в книге «Революционное богатство» Э. Тоффлер сравнил общественные институты (бизнес, правотворчество, общественные движения и т.д.) с гоночными машинами. По убеждению Э. Тоффлера, в гонке социальных структур образовательной системе достается место аутсайдера [26. С. 59-60]. Если основанием для сравнения системы образования с бизнес-структурами являются «ценности изменения», то в этом случае образование действительно находится в проигрышной позиции. Однако у системы образования есть и преимущество, которое не всегда замечают. Она дает почву для потесненного «калькулирующим» мышлением «осмысляющего раздумья» и тем самым отдает должное ценностям сохранения. Сказанное вовсе не означает, будто система образования игнорирует «ценности изменения». Напротив, она дает почву и для воплощения этих ценностей, проявляя заботу о том, чтобы в будущее вошел все-таки человек во всей полноте его наличных и возможных определенностей, с пониманием собственной ответственности за себя и свой мир, чтобы самостоятельно делать выбор тактики и стратегии своего существования.

Современный цивилизационный тренд выражается в «производстве инноваций» на «конвейере» [27]. В этой связи вопрос об ответственности за внедрение инноваций вовсе не является праздным – напротив, он вызван к жизни ценностной трансформацией: одной из высших ценностей в публичном пространстве является скорость (реакций на изменения и принятия решений). Не удивительно, что «производитель» инноваций далеко не всегда успевает осмыслить то, что он делает. Образование позволяет заниматься творчеством и осмысливать возможные последствия творческих актов, воплощать ценности изменения и ценности сохранения. Идеи организации прогностических групп, футуризации и гуманитарной экспертизы пока не реализованы так, как того хотели их авторы. То же касается антропологии инноваций – новой области знаний, призывающей внимательно относиться к тому, что делается человеком и для человека в настоящем и ради будущего. По-видимому, дело будущего заключается не только в том, чтобы посадить

семена новой культуры – культуры бережного отношения человека к собственным мыслям и поступкам, но и в том, чтобы дать им прорасти.

Выводы

В эпоху инноваций предметно-вещественная ориентация человека доминирует над ценностного-смысловой. Между тем именно вторая из обозначенных ориентаций имеет значимость для формирования картины мира. Многие философы опасались, что человек предаст забвению ценностно-смысловое содержание своей жизни и деятельности. Он создает вещи одну за другой, но не успевает осмыслить, что эти вещи ему дают, чем может обернуться их создание и чем они могут ему угрожать. У человека нет времени и на осмысление того, что есть он сам перед лицом бесчисленных инноваций. Антропология инноваций как раз и пытается обратить внимание и ответить на обозначенные вопросы, в ней вновь актуализируется во всех своих составляющих проблемный вопрос о том, «что такое человек». Выходя за собственные границы, человек порождает свой внешний мир, постоянно изменяет его и меняется сам. Антропологию инноваций интересует как тот, кто изменяет, творит, действует, так и тот, кто пользуется, претерпевает, приспосабливается или гибнет. Она озабочена тем, какими ценностями инноватор руководствуется и какие смыслы вкладывает в свою работу. Кроме того, в фокусе ее внимания человек как объект воздействия инноваций. В конце XX в. в связи с развитием новых технологий появились идеи о переходе человека на новую, постчеловеческую ступень жизни. Стали слышны призывы к отказу от «несовершенного» тела в пользу существования в Сети. О человеке говорили, что он обречен и неуклонно движется к гибели (фактически – к самоликвидации). Такое положение дел требует серьезного отношения к идеям трансгуманизма и способам применения НБИК-технологий. Тот факт, что уровень развития этих технологий еще не позволяет воплотить желания трансгуманистов, не является основанием для отказа от философско-антропологического осмысления потенциальных рисков и угроз, которые несут технологические новшества. Антропология инноваций, поскольку она озабочена будущим человека в интересах настоящего, не должна отставать от мировых технико-технологических тенденций и претенциозных проектов по преобразованию человеческой природы.

Образовательная среда может быть благодатной почвой для формирования ценностно-смысловой ориентации человека и для поиска баланса между ценностями изменения и ценностями сохранения, жаждой преобразования и осмыслением существующего, калькулирующим мышлением и осмысляющим раздумьем. Многие насущные вопросы, непосредственно связанные с инновациями, необходимо ставить уже в школе. В противном случае человек не будет способен ни творить, ни отвечать за собственные действия.

Литература

- $1.\, \Gamma o 6 6 c\, T$. Левиафан, или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М. : Мысль, $2001.\,478$ с.
- 2. *Хайдеггер М.* Отрешенность // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге : Избранные статьи позднего периода творчества. М., 1991. 192 с.
- 3. *Инновационная* Россия 2020 : Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. М. : Минэкономразвития России, 2010. 105 с.

- 4. *Осипов Ю.М.* Инновационный мир растерянной России // Экономика: теория и практика. 2006. № 1 (10). С. 49–50.
- 5. *Мазаева Т.А*. Инновация в этнокультурной среде // Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2006. № 3. С. 3–8.
- 6. Чижиков В.М. Инновации в культурной динамике общества // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2014. № 4 (60). С. 10–17
- 7. *Кройтор С.Н.* Социологическое исследование инноваций: основные категории и уровни анализа // Социологический альманах. 2011. № 2. С. 103–112
- 8. *Кучко Е.Е.* Социологическое изучение инноваций // Социологический альманах. 2012. № 3. С. 42–47.
- 9. *Щедровицкий П.Г.* Революция уже произошла, мы просто этого не видим // ХВИЛЯ [Электронный ресурс]. URL: http://hvylya.net/analytics/society/pyotr-shhedrovitskiy-revolyutsiya-uzhe-proizoshla-myi-prosto-etogo-ne-vidim.html (дата обращения: 26.04.2018).
 - 10. Тоффлер Э. Шок будущего. М.: АСТ, 2002. 557 с.
- 11. *Цветкова В.Д.* Новые возможности исследования новации и инновации в философии // Вестник Челябинского государственного университета, 2008. № 14. С. 104—109.
- 12. *Борзова А.В.* Инновация и творчество // Вестник Тихоокеанского государственного университета. 2015. № 4 (39). С. 243–250.
- 13. *Крючкова С.Е.* Открытие творчество инновация // Гуманитарные исследования. 2009. № 1. С. 20–24.
- 14. *Теркина А.В.* Инновация как социокультурный феномен // Аналитика культурологии. 2015. № 2(32). С. 12–17.
 - 15. Степин В.С. Цивилизация и культура. СПб. : СПбГУП, 2011. 408 с.
- 16. *Плеснер X*. Ступени органического и человек: введение в философскую антропологию. М.: Рос. полит. энцикл., 2004. 368 с.
- 17. *Сартр Ж.-П.* Экзистенциализм это гуманизм // Научно-просветительский журнал «СКЕПСИС» [Электронный ресурс]. URL: https://scepsis.net/library/id_545.html (дата обращения: 26.04,2018).
- 18. *Бостром Н*. FAQ по трансгуманизму // Российское трансгуманистическое движение [Электронный ресурс]. URL: http://transhuman.ru/faq (дата обращения: 25.04.2018).
- 19. Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: последствия биотехнологической революции. М.: ACT, 2004. 349 с.
- 20. *Кутырев В.А.* Философия трансгуманизма : учеб.-метод. пособие. Н. Новгород : Нижегородский ун-т, 2010. 85 с.
 - 21. Хабермас Ю. Будущее человеческой природы. М.: Весь Мир, 2002. 144 с.
- 22. *Урсул А.Д.* Образовательная революция XXI века в перспективе устойчивого будущего // Знание. Понимание. Умение. 2009. №2. С. 11–19.
- 23. *Луков В.А.* От экспертизы социальной к гуманитарной экспертизе // Знание. Понимание. Умение. 2012. № 2. С. 114–118.
- 24. Робинсон К., Ароника Л. Школа будущего. Как вырастить талантливого ребенка. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. 368 с.
- 25. *Юдин Б.Г.* От гуманитарного знания к гуманитарным технологиям // Знание. Понимание. Умение. 2005. № 3. С. 129–138.
 - 26. Тоффлер Э. Революционное богатство. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2008. 569 с.
- 27. Ковалевич Д.А., Щедровицкий П.Г. Конвейер инноваций: Кто несет ответственность за производство инноваций? // Сибирский фронтир: экспертно-аналитический портал [Электронный ресурс]. URL: http://sibfrontier.ru/wp-content/uploads/2016/05/SHHedrovitskiy-P.G.-Konveyer-innovatsiy.pdf (дата обращения: 25.04.2018).

Artur A. Dydrov, South Ural State University (Chelyabinsk, Russian Federation).

E-mail: dydrovaa@susu.ru

Vera S. Neveleva, Chelyabinsk State Institute of Culture (Chelyabinsk, Russian Federation).

E-mail: vsneveleva@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 35–48.

DOI: 10.17223/1998863X/48/4

THE ANTHROPOLOGY OF INNOVATIONS

Keywords: anthropology of innovation; philosophical anthropology; innovation; creative; posthuman; transhumanism.

Innovations are considered now as a new kind of symbol of the spirit. Innovative achievements measure the effectiveness and social significance of various fields of activity. One of the most important trends today is the innovative race, the competition of innovations; their production is a modern trend. The bet on innovation generates a situation of euphoria in relation to them. Innovation is a stable element of economic, management, political and technical (engineering) discourses; innovations have been quite clearly defined in the relevant fields of science. At the same time, the value of innovation is self-sufficient, and the immediate goals and objectives of innovation are closed within the framework of the activity and pragmatic approaches, in which the "logic of things" dominates. The scheme of the innovation process - from investment and development to obtaining "additional value", quality growth - does not take into account the ultimate goal and general meaning of this process; it does not represent the "human dimension" of innovation. There is a problematic situation, the content of which is determined by the existing contradiction: on the one hand, innovations are viewed as the main and universal means of progressing; on the other hand, innovations have not yet received a universal comprehension commensurate to their value; being an object of a "calculating thinking", they have not yet become an object of a "reflective thinking" or a philosophical reflection. Meanwhile, innovative products, ideas and technologies increasingly claim not only to transform the external world of people, but also their nature. Therefore, ideas, projects and programs of innovative development, transhumanism, of supporters of a posthuman future, of wide application of NBIC technologies need a philosophical "expert examination". The aim of this article is to substantiate the necessity and possibility of a philosophical reflection, to comprehend innovations in the context of people's individual and shared existence. This context determines the subject area of the anthropology of innovation, in which they are considered in their ontological, axiological, humanistic, social and cultural aspects. On the basis of the method of abduction, using the methodological and theoretical resources of philosophical anthropology, the authors make a humanitarian and humanistic interpretation of innovations, in which the axiological and semantic orientation of a person is emphasised, and the question "What is a human?" is again updated in the face of innovations. Based on the ideas of representatives of classical and non-classical philosophy and science, and of modern researchers, the authors take the definition of innovation beyond the scope of scientific and technical rationality, and thus its reduced interpretation is overcome. The conceptual theoretical conclusions of the anthropology of innovation, which is preoccupied with the future in the interests of the present, determine the special significance and responsibility of the sphere of education as a sphere of "cultivation of a human", in which a balance must be found between the values of change and the values of preservation.

References

- 1. Hobbes, T. (2001) Leviafan, ili materiya, forma i vlast' gosudarstva tserkovnogo i grazhdanskogo [Leviathan or The Matter, Forme and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civil]. Translated from English. Moscow: Mysl'.
- 2. Heidegger, M. (1991) *Razgovor na proselochnoy doroge* [Conversation On A Country Path]. Translated from German. Moscow: Vysshaya shkola.
- 3. Ministry of Economic Development of Russia. (2010) Innovatsionnaya Rossiya 2020. *Strategiya innovatsionnogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii na period do 2020 goda* [Innovative Russia 2020. Strategy of innovative development of the Russian Federation up to 2020]. Moscow: Ministry of Economic Development of Russia.
- 4. Osipov, Yu.M. (2006) Innovatsionnyy mir rasteryannoy Rossii [Innovative world of perplexed Russia]. *Ekonomika: teoriya i prakti-ka*. 1(10). pp. 49–50.
- 5. Mazaeva, T.A. (2006) Innovatsiya v etnokul'turnoy srede [Innovation in the ethnocultural environment]. *Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Severo-Kavkazskiy region. Obshchestvennye nauki.* 3. pp. 3–8.
- 6. Chizhikov, V.M. (2014) Innovatsii v kul'turnoy dinamike obshchestva [Innovations in the cultural dynamics of society]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv The Bulletin of Moscow State University of Culture and Arts.* 4(60). pp. 10–17
- 7. Kroytor, S.N. (2011) Sotsiologicheskoe issledovanie innovatsiy: osnovnye kategorii i urovni analiza [Sociological study of innovation: the main categories and levels of analysis]. *Sotsiologicheskiy al'manakh*. 2. pp. 103–112
- 8. Kuchko, E.E. (2012) Sotsiologicheskoe izuchenie innovatsiy [Sociological study of innovation]. *Sotsiologicheskiy al'manakh*. 3. pp. 42–47.
- 9. Shchedrovitsky, P.G. (2017) Revolyutsiya uzhe proizoshla, my prosto etogo ne vidim [The revolution has already happened, we just do not see it]. [Online] Available from:

http://hvylya.net/analytics/society/pyotr-shhedrovitskiy-revolyutsiya-uzhe-proizoshla-myi-prosto-etogo-ne-vidim.html. (Accessed: 26th April 2018).

- 10. Toffler, E. (2002) Shok budushchego [Future Shock]. Translated from English by V. Kulagina-Yartseva et al. Moscow: AST.
- 11. Tsvetkova, V.D. (2008) Novye vozmozhnosti issledovaniya novatsii i innovatsii v filosofii [New opportunities of innovation research and innovations in philosophy]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. 14. pp. 104–109.
- 12. Borzova, A.V. (2015) Innovatsiya i tvorchestvo [Innovation and creativity]. *Vestnik Tikhookeanskogo gosudarstvennogo universiteta*. 4(39). pp. 243–250.
- 13. Kryuchkova, S.E. (2009) Otkrytie tvorchestvo innovatsiya [Discovery creativity innovation]. *Gumanitarnye issledovaniya Humanitarian Researches*. 1. pp. 20–24.
- 14. Terkina, A.V. (2015) Innovatsiya kak sotsiokul'turnyy fenomen [Innovation as a sociocultural phenomenon]. *Analitika kul'turologii*. 2(32). pp. 12–17.
- 15. Stepin, V.S. (2011) *Tsivilizatsiya i kul'tura* [Civilization and Culture]. St. Petersburg: St. Petersburg University of Humanities and Social Sciences.
- 16. Plesner, H. (2004) Stupeni organicheskogo i chelovek: vvedenie v filosofskuyu antropologiyu [Steps of the organic and man: an introduction to philosophical anthropology]. Translated from German. Moscow: Rosspen.
- 17. Sartre, J.-P. (n.d.) Ekzistentsializm eto gumanizm [Existentialism is humanism]. *SKEPSIS Scepsis*. [Online] Available from: https://scepsis.net/library/id_545.html. (Accessed: 26th April 2018).
- 18. Bostrom, N. (n.d.) *FAQ po transgumanizmu* [FAQ on transhumanism]. [Online] Available from: http://transhuman.ru/faq. (Accessed: 25th April 2018).
- 19. Fukuyama, F.Y. (2004) *Nashe postchelovecheskoe budushchee: posledstviya biotekhnologicheskoy revolyutsii* [Our posthuman future: the consequences of the biotechnological revolution]. Translated from English by M.B. Levin. Moscow: AST.
- 20. Kutyrev, V.A. (2010) *Filosofiya transgumanizma* [The Philosophy of Transhumanism]. Nizhny Novgorod: Nizhny Novgorod State University.
- 21. Habermas, Ju. (2002) *Budushchee chelovecheskoy prirody* [The Future of Human Nature]. Translated from German. Moscow: Ves' Mir.
- 22. Ursul, A.D. (2009) Educational Revolution of the XXI century in the Long Term Sustainable Future. *Znanie. Ponimanie. Umenie Knowledge. Understanding. Skill.* 2. pp. 11–19. (In Russian).
- 23. Lukov, V.A. (2012) From social expertise to human expert evaluation. *Znanie. Ponimanie. Umenie Knowledge. Understanding. Skill.* 2. pp. 114–118. (In Russian).
- 24. Robinson, K. & Aronica, L. (2016) Shkola budushchego. Kak vyrastit' talantlivogo rebenka [Creative Schools: The Grassroots Revolution That's Transforming Education]. Translated from English by O. Medved. Moscow: Mann, Ivanov i Ferber.
- 25. Yudin, B.G. (2005) From the Humanitarian Knowledge to the Humanitarian Technologies. *Znanie. Ponimanie. Umenie Knowledge. Understanding. Skill.* 3. pp. 129–138. (In Russian).
- 26. Toffler, E. (2008) *Revolyulsionnoe bogatstvo* [Revolutionary Wealth]. Translated from English by M. Sultanova, N. Tsyrkun. Moscow: AST: AST MOSKVA.
- 27. Kovalevich, D.A. & Shchedrovitsky, P.G. (n.d.) *Konveyer innovatsiy. Kto neset otvetstven-nost' za proizvodstvo innovatsiy?* [Innovation conveyor. Who is responsible for producing innovation?]. [Online] Available from: http://sibfrontier.ru/wp-content/uploads/2016/05/SHHedrovitskiy-P.G.-Konveyer-innovatsiy.pdf. (Accessed: 25th April 2018).

УДК 321.01

DOI: 10.17223/1998863X/48/5

В.С. Клочихина

РАСШИРЕНИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПОНЯТИЯ «БЕЗОПАСНОСТЬ» НА ПРИМЕРЕ УЛЬТРАМИНИМАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА Р. НОЗИКА¹

В статье используются описанные Р. Нозиком принцип компенсации, схема распределения защитных функций охранных агентств и идеи, связанные с обманом и мошенничеством. С помощью указанных элементов концепции развития государства Р. Нозика демонстрируется процесс трансформации защитных функций «минимального государства» за счет изменения понятия «безопасность индивида». Ключевые слова: Р. Нозик, нейроэкономика, государство, безопасность.

С точки зрения большинства авторов либеральных концепций, «минимальное государство» является единственным приемлемым типом государства. Роберт Нозик часть своей работы [1], содержащей его основные идеи о происхождении и развитии государства и представления о принципах справедливого государства и общества, посвящает «минимальному» и «ультраминимальному государству», главной функцией которого является защита индивида. Однако в современных условиях «защита индивида» и «безопасность индивида» претерпевают изменения.

Илеи Нозика

Р. Нозик использует понятие «принцип компенсации». Этот принцип связан с обыденными действиями и предусмотрен как способ исправить положение индивида в случае, если его жизнь и деятельность подверглись изменениям вследствие воздействия другого индивида или группы. Осуществлять компенсации должны те индивиды, действия которых привели к изменениям образа жизни объектов воздействия.

Например, одним из случаев применения принципа компенсации является применение запрета. Согласно Нозику запрещать действия возможно, если обе стороны будут согласны прийти к соглашению со взаимовыгодными условиями, связанными с запретом. Запрещать какую-либо деятельность можно при условии компенсации результатов действия запрета [Там же. С. 108–114]. Запреты делятся на два типа: запрет опасных для других действий и запрет действий агента, «являющихся единственным способом для производства необходимых для его выживания благ». Запрет опасных действий связан с необходимостью поддержания безопасности, но если под запрет попадает деятельность, единственно доступная конкретному индивиду, то размер компенсации должен быть полностью соразмерен потерям [Там же.

 $^{^1}$ Статья подготовлена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых — докторов наук № МД-1530.2018.6 «Теория определений в современной юриспруденции».

С. 113–114]. Принцип компенсации регулирует отношения между индивидами и процесс создания запретов.

Другое рассуждение Нозика посвящено обману. Обман является недопустимым действием (как действие, затрагивающее жизнь другого человека) и равноценен мошенничеству, посягательству на личность и ресурсы индивида [2. С. 30–33].

Рассмотрим взаимодействие обмана и принципа компенсации Нозика. Например, индивид А может заплатить индивиду В компенсацию за то, что индивид А запрещает соседу-индивиду В красить свой дом в определенный цвет. Если индивид В пришел предупредить соседа А об отделочных работах, специально назвав ненавистный А цвет, то В незаконно получил компенсацию (обман, мошенничество) [1. С. 115–119]. Развивая мысль Нозика далее и интерпретируя обман как вмешательство в жизнь индивида, можно применять принцип компенсации. Принцип компенсации распространяется не только на случаи запретов, но также может применяться как возмещение убытков в различных случаях, когда индивиды меняют жизнь другого индивида без его согласия. То есть предполагается, что индивид, которого обманули, может получить компенсацию.

Также в концепции Нозика важное место занимает идея, согласно которой каждый индивид имеет право делать со своей жизнью и своей личностью все, что считает нужным, а общество и государство должны уважать личный выбор индивида. Эта идея сопряжена с мыслью о том, что каждый индивид несет ответственность за свои действия, выбор и свою жизнь [2. С. 29–30]. С точки зрения Нозика, ответственность за положение индивида, в том числе и в обществе, возлагается на конкретного индивида в качестве ответственности за результаты его собственного выбора.

Самостоятельный выбор индивида

Первый вопрос состоит в том, насколько корректно возлагать на индивида ответственность за его выбор и место в социальной структуре в условиях неочевидного воздействия современных методов влияния на индивида как элемента капиталистического рынка. Представим простую структуру общества и назовем ее «белой» (по аналогии с «теневой экономикой») из-за ее открытости и ясности. В белой структуре имеются определенные и известные участникам правила, в ней от конкретных действий индивидов зависят реально происходящие с индивидами события, а от решений индивида полностью зависит его существование и положение в обществе. Простым примером послужил бы идеализированный образ жизни индивида, полностью зависящий от объемов выполненной работы, наподобие жизни собирателя, которая зависит от объема собранных им ресурсов. В белой структуре индивид не зависит от третьих лиц в случаях, когда он к ним не обращается. В то же время такое свойство индивида (как участника экономических отношений), как расточительность, приводит его к состоянию, в котором он, вероятно, будет находиться в худших условиях по сравнению с менее расточительными индивидами. Согласно Нозику данный индивид делал все, что считал правильным, и его положение зависело только от него. Данный расточительный индивид не может предъявлять требования по улучшению своего состояния к кому-либо (социальным институтам, другим индивидам).

Однако возникают определенные трудности при взаимодействии со сложными общественными структурами, в которых существуют неявные механизмы и правила. Речь пойдет о манипуляциях с мнениями и убеждениями индивидов посредством средств массовой информации (СМИ), рекламы и т.п. Еще Маркузе писал о том, что индивид подвергается навязыванию ложных потребностей [3. С. 17]. Сложно отрицать влияние СМИ и способность массовой культуры формировать жизненные ориентиры и поведение индивида. Многие современные публикации, посвященные СМИ и обществу, содержат утверждения вроде таких: «...через СМИ транслируются образцы поведения, стиль жизни, с их помощью формируются нравственные основы бытия»; «...социально значимая, гуманистически окрашенная информация... подменяется содержанием, направленным на удовлетворение низменных сиюминутных потребностей...» [4. С. 193]; «СМИ навязывает стереотипы поведения... предстает как инструмент навязывания определенного отношения к различным социальным реалиям» [5. С. 88]; «...под влиянием СМИ происходят изменения разных ценностных ориентаций: культурных, политических, тендерных, социальных и др.» [5. С. 92].

Если принять во внимание тот факт, что реклама или любое другое направленное на индивида воздействие способны подталкивать его к изменению поведения согласно этому влиянию, то можно ли расценивать действия индивида как его собственный выбор? Серьезной проблемой является определение воздействия на индивида и отделение самостоятельных решений индивида от тех, которые ему навязаны. Однако этот вопрос выходит за рамки текущего исследования, и в данной работе навязанные действия будут восприниматься как доказанный факт. Поэтому представим, что существуют способы, благодаря которым можно отличить самостоятельные желания и решения индивида от тех, которые ему не были свойственны до информационного воздействия (вмешательства).

Можно ли возлагать ответственность на индивида за его положение в обществе, если оно обусловлено идеологическим давлением и если он подвергся целенаправленному воздействию на него ради выгоды других? Как уважать каждое принятое решение каждого индивида в условиях современного общества потребления, когда решения не всегда принимаются индивидом самостоятельно? Или нужно уважать выбор индивида в том смысле, что индивид предпочел ошибиться, что он решил подвергнуть себя рекламному влиянию? Рассмотрим, как применяются принципы Нозика.

Предположим, индивид в результате воздействия на него (навязывание ложных целей или мнения) изменяет свои действия, что приводит его к бедственному положению. Такое манипулирование можно расценивать как вмешательство в его личную жизнь, что непосредственно попадает под действие принципа компенсации Нозика. Изначально, согласно теоретическим построениям Нозика, вмешательство в жизнь индивида требует его согласия, и если он не дает его, но в его жизнь вмешиваются, то он имеет право требовать за это вмешательство компенсацию. Если вмешательство в жизнь индивида происходит скрыто (при допущении существования подобных методов воздействия), то индивид также может требовать компенсацию. Если индивид дал свое согласие на деятельность по воздействию на него, никакой компен-

сации не предусмотрено ¹. Тот факт, что воздействие на жизнь индивида привело к негативным для него последствиям, играет роль лишь при оценке размера компенсации (негативное или позитивное вмешательство – это в первую очередь *вмешательство*). Согласно принципу компенсации выплачивать ее должны те, кто осуществлял воздействие. Дополнительной проблемой является вопрос о том, что считать авторством манипулирования и навязывания ложных целей, приводящих к изменениям в жизни индивидов. Считать ли источником воздействия «заказчика», намеревающегося обогатиться, или средства воздействия, распространяющие это воздействие?

Но не так важно, кто именно будет предоставлять компенсацию, важнее всего то, что принцип компенсации выполняет свою функцию, а именно защиту индивида от любого воздействия на него. В рассматриваемом случае это происходит посредством уравновешивания размера компенсации и размера выгоды, получаемой от воздействия. Если размер компенсации, которую должен возместить индивид А (воздействующий) индивиду В (объект воздействия) в случае, если В подвергнется влиянию без его согласия, будет соразмерен или меньше выгод, которые может получить А от воздействия на любого другого индивида С, то выгода А ставится под сомнение. В лучшем случае А отказывается от скрытого манипулирования. Именно так, если следовать логике Нозика, должен работать сдерживающий фактор механизма «принципа компенсации» для защиты индивидов. Такое государство должно охранять своих граждан от влияния СМИ и рекламы, способных изменить их жизнь без их согласия. Так в понятие «безопасность» включается «безопасность от влияния СМИ и т.п.».

Следующий вопрос состоит в том, что считать согласием индивида. Особенно если речь идет о скрытых методах воздействия (в случае существования таковых). Ранее в качестве средства воздействия были рассмотрены СМИ, транслирующие ложные ценности. Чтобы избежать необходимости возмещать индивидам результаты оказанного на них воздействия (вмешательства в жизнь индивидов с целью повлиять на образ их действий или мыслей), средства воздействия должны получать согласие индивидов. Судя по всему, это означает, что, например, в углу экрана телевизора должна быть предупредительная надпись, что вы соглашаетесь подвергаться навязыванию стереотипов и мнений, или эта информация должна быть размещена на коробке из-под устройства, которое будет использовано для взаимодействия со СМИ (средствами воздействия).

Итак, если индивид подвергается воздействию СМИ и изменяет свои действия под их влиянием, то инициаторы давления должны компенсировать влияние своей деятельности, осознавая свою ответственность за положение индивида. В случае, когда индивид оповещен и предупрежден о том, что СМИ могут изменить его жизнь, ответственность за его поступки и его положение возлагается на него. Учитывая тот факт, что средства манипуляции могут намеренно вводить в заблуждение индивидов, это явление можно считать мошенничеством или обманом. Но независимо от того, как рассматривать это явление, необходимость выплат компенсации или проверки получения согласия остается. Если допустить, что такое государство может

¹ Эти рассуждения относятся к вопросу рабства [1. С. 357–358].

существовать, то возникает множество трудностей: определение величины компенсации, распределение материальной ответственности между «заказчиками» и СМИ, определение согласия, спекуляции со стороны манипуляторов и со стороны индивидов. Эти вопросы решаемы, но создают серьезную вычислительную и административную нагрузку.

Существует более простое и менее затратное решение. В государстве, которое охраняет своих граждан от обмана, мошенничества и вмешательства в личную жизнь, должна быть честная реклама или цензура, должны отсутствовать средства манипулирования. Тогда каждый индивид может быть уверен в том, что он совершает выбор самостоятельно. Это означает, что к полномочиям организации, занимающейся защитой индивидов от физического насилия и посягательства на собственность (минимальное и ультрамнимальное государство), добавляются полномочия осуществлять цензуру и контролировать деятельность любых средств воздействия, чтобы осуществлять защиту индивидов от навязанного поведения.

Защита когнитивных способностей индивида

Вопрос о принятии решений не может не затронуть набирающих популярность нейронаук, вроде нейробиологии и нейроэкономики, в том числе исследующих механизмы принятия решений мозгом (как животных, так и человека). Для текущего исследования не нужно углубляться в описание и схемы, изучать результаты всех исследований, которые при этом можно поразному интерпретировать, а также отвлекаться на дискуссии о детерминизме. Достаточно факта существования данных наук, а также некоторых их однозначных результатов.

Так, например, в обобщающей статье В.А. Ключарева, А. Шмидс и А.Н. Шестакова «Нейроэкономика: нейробиология принятия решений» [6] приводятся исследования, в которых эксперименты посвящены процессу оценки ожидаемой полезности. Они демонстрируют, что в процесс, влияющий на выбор и поведение, вовлечены области мозга, чувствительные в первую очередь к дофамину [Там же. С. 16–17]. Нарушение баланса этого нейромедиатора (нехватка дофамина) влечет за собой нарушения во всей цепочке, в которой он задействован, затрагивая и процесс выбора поведения. В этой же статье приведены результаты экспериментов, во время которых поводилась игра «ультиматум» и на ФМРТ регистрировалась активность «когнитивной» (DLPFC) и «эмоциональной» (островковая кора) нейронных сетей, связанных с внутренним конфликтом при принятии решений относительно несправедливых экономических ситуаций. По превалированию активности одной из них наблюдатели предсказывали, будет ли принято индивидом несправедливое решение [Там же. С. 20-21]. Также проводили эксперименты в условиях «негативного эмоционального прайминга» (плохое настроение), активировавшего ту область, за счет которой испытуемые демонстрировали более частый отказ от несправедливых предложений [Там же. C. 21–22.1.

Предположим, в исследованиях нет ошибки и плохое настроение влияет на решения человека. Во-первых, согласно предыдущим размышлениям под-

¹ Функциональная МРТ.

54 В.С. Клочихина

тверждается мысль о защите индивидов от искусственного воздействия на них. Во-вторых, если головной мозг состоит из нейронов, белков и других веществ, задействованных в его функционировании, то как влияют нарушения, непосредственно связанные с микроэлементным составом мозга?

Самой простой иллюстрацией в качестве ответа является категория состояний «недостаточности питания» (МКБ-10 Е40-46) [7]. Так, для квашиоркора характерна, помимо прочего, задержка физического и умственного развития, а эти состояния могут вызвать необратимые изменения, сохраняющиеся пожизненно [8. С. 97–98.]. Некоторые состояния алиментарной дистрофии, например Бери-бери (МКБ-10 Е51.1) [7], могут приводить к психическим отклонениям за счет поражения нервной системы, аффектной лабильности, характеризующейся отсутствием самоконтроля. Эти состояния сказываются не только на физическом состоянии, но и на когнитивных способностях. В результате только указанных состояний алиментарного нарушения метаболизма, а именно недостатка белков или дофамина, мозг человека теряет свои способности. Если решения зависят от состояния мозга, то при отклонениях по какому-либо показателю индивид уже не может принимать решения так, как принимал бы их в нормальном (в биохимическом плане) состоянии.

Между тем Н.М. Сланевская в работе «Мозг, мышление и общество» приводит обширный материал современной зарубежной юридической практики, в которой в качестве доказательств используются исследования активности мозга подсудимого [9. С. 136–142]. Если биологическое состояние мозга учитывается при вынесении приговора суда, то почему бы не пойти дальше? Н.М. Сланевская как раз обращает внимание на то, что в нейроюридической науке США внимание сконцентрировано на изменениях нормальной нейробиологии мозга, тогда как, по ее мнению, для снижения преступности стоит обратиться к причинам этих изменений [Там же. С. 135–136].

Чтобы обеспечить защиту индивидов от вмешательства внешних факторов в процесс принятия повседневных решений, была предложена идея о цензуре, которая позволяла бы индивиду совершать самостоятельный выбор. Допуская, что нейроны (скорость проводимых импульсов), гормоны и нейромедиаторы (общий уровень, соотношение) влияют на поведение и решения индивидов, можно предложить защищать индивида от действий и решений, которые он принимает на фоне нарушенного биохимического состояния мозга, впадая в самообман вследствие транзиторной (или длительной) нехватки гормонов. С целью защиты индивидов от ошибок при выборе и подготовке планируемого поведения можно было бы контролировать и поддерживать адекватное функционирование мозга и биологическое состояние индивидов. Речь идет не о распространенных мерах поддержки или гуманитарной помощи, а о повсеместных действиях в отношении всех членов конкретного государства. Например, обязательная выдача индивидам необходимого для нормального функционирования мозга набора еды или лекарств.

Из этого можно сделать вывод, что государство, учитывающее биологию поведения человека, позволяет по-новому трактовать фразу «каждому по потребностям». Такое государство выглядит очень гуманным и создает впечатление, что оно действительно образовано индивидами для защиты своих прав и собственности, себя и своей личности. Это государство обеспечивает защи-

ту индивида в биологическом аспекте, расширяя трактовку понятия «безопасность». В подобном государстве индивиды могут быть уверены, что их нейронные системы работают адекватно и сбалансированно, что позволяет быть уверенными в том, что выбор, который совершается индивидами ежедневно, не детерминируется негативным внутренним химико-биологическим состоянием.

Заключение

Итак, государство, созданное для защиты своих членов, предоставляет всем индивидам необходимый для функционирования головного мозга микроэлементный набор ресурсов и требует их обязательного употребления. Институты такого государства следят за соблюдением прав и обязанностей, а также осуществляют цензуру и контролируют рекламную и другие виды деятельности, влияющие на поведение индивидов.

Как уже было сказано, здесь не рассматриваются обращения к вопросам о детерминизме и свободе воли, но можно упомянуть о свободе по И. Берлину. Если использовать пример с употреблением табачной продукции [10. С. 62], когда действиями индивида руководит аддикция, то вышеописанная политика государства как раз позволяет индивидам приблизиться к положительной свободе (по Берлину) в том смысле, что они смогут действовать достаточно независимо. Безопасность в таком случае трактуется как «безопасность от внутренних биологических угроз» в дополнение к «безопасности от СМИ и т.п.», а полномочия ультраминимального или минимального государства расширены. Индивиды заинтересованы в благоприятной социальной среде, которая обеспечивается за счет нормализованного биологического состояния индивидов, но данная ситуация вписывается в дискуссии в рамках либерализма и его критиков относительно свободы и вмешательства государства [Там же. С. 63]. С одной стороны, такое вмешательство в жизнь нарушает права индивида и противоречит концепции Нозика, с другой – иначе его и его личность не защитить от самообмана и самого себя. Помимо этого, как следствие результаты (трудовой) деятельности индивидов скорее всего будет принадлежать государству, ведь, согласно Нозику [11. С. 386], такие результаты труда принадлежат «спонсору» в случае, когда он обеспечивал и покрывал издержки их создателя, а это обстоятельство в шаге от принудительного труда.

Автору данной статьи представляется, что современные исследования в области нейронаук открывают огромный потенциал для поисков допустимых границ применения результатов их исследований в формировании государственно-правовой системы защиты индивидов (в том числе от самих себя). На данный момент можно утверждать, что в современной политической философии следует выделить отдельное место для результатов нейроисследований, игнорировать которые было бы весьма опрометчиво и даже ошибочно. Остается исследовать, какие именно результаты исследований использовать и до каких пределов «справедливое государство» может быть трансформировано согласно им.

¹ Здесь: государству.

Литература

- 1. Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, 2008. 422 с.
- 2. *Клочихина В.С.* Политическая философия Роберта Нозика: магистерская дис. по направлению подготовки: 47.04.01. Философия. Томск, 2017 [Электронный ресурс]. URL: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:5701 (дата обращения: 24.03.19).
- 3. *Маркузе Г*. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества / пер. А. Юдин. М., 2003. Центр гуманитарных технологий, 10.06.2012 [Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5440/5441 (дата обращения: 08.12.2018).
- 4. *Нафталиева В.О.* Влияние современных СМИ на молодежь // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2011. № 2. С. 182–195.
- 5. Попова В.О., Балезина Е.А. Роль средств массовой информации в формировании стереотипов массового сознания // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. 2015. № 2 (22). С. 88–94.
- 6. Ключарев В.А., Шмидс А., Шестакова А.Н. Нейроэкономика: нейробиология принятия решений // Экспериментальная психология. 2011. Т. 4, № 2. С. 14–35.
- 7. *Международная* классификация болезней десятого пересмотра МКБ-10 (принята 43-й Всемирной ассамблеей здравоохранения), ч. I (класс IV) // Информационно-правовой портал Гарант.Ру [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru (дата обращения: 5.12.2018).
- 8. *Литвицкий П.Ф., Мальцева Л.Д.* Нарушения обмена белков, аминокислот и нуклеиновых кислот // Вопросы современной педиатрии. 2015. № 14 (1). С. 95–107.
- 9. Сланевская Н.М. Мозг, мышление и общество. Ч. 2. СПб. : Центр междисциплинарной нейронауки, 2012. 398 с.
- 10. Оглезнев В.В. Интерпретация понятия «свобода» в аналитической политической философии // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2010. № 3 (11). С. 61–67.
- 11. *Клочихина В.С., Оглезнев В.В.* Интеллектуальная собственность и социальная справедливость: Роберт Нозик versus Джон Ролз // Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2016. № 4 (36). С. 385–403.

Veronika S. Klochikhina, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: efr.vs@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 49–57.

DOI: 10.17223/1998863X/48/5

EXTENSION OF THE INTERPRETATION OF THE TERM "SECURITY" ON THE EXAMPLE OF ROBERT NOZICK'S "ULTRA-MINIMAL STATE"

Keywords: Robert Nozick; neuroeconomics; state; security.

A minimal state, whose primary function is to protect an individual, is considered the only acceptable type of state for many supporters of liberal concepts. Currently, the concepts "protection of an individual" and "security of an individual" are changing. The article demonstrates the transformation of the protective functions of a minimal state due to changes in the concept "security of an individual". In Robert Nozick's theory, the principle of reparation governs the relationship between individuals and the imposition of prohibitions. An individual's personality, as well as the idea that all people have the right to do what they want with their lives and personalities, occupies an important place in Nozick's theory. Society and the state should respect the personal choice of an individual. The article does not address discussions about free will and determinism, but addresses the question of how the state can ensure the most independent choice of behaviour by individuals. The problem is that nowadays people are objects of influence of mass culture, and risk making decisions differently than they would like before they became objects of influence. The media dictate stereotypes, and people change their behavior. Protecting individuals from the media would enable them to make decisions more independently of the behavioural patterns dictated. The article demonstrates that the principle of reparation can protect individuals. Due to this protection from the media, the functions of a minimal state are expanded and now the term "security" includes "security from the media". The second problem is how to ensure the independence of the choice of behaviour by individuals in the context of research results of neuroeconomics, neurobiology, etc. Deficiency of hormones or neurotransmitters and alimentary dystrophy violate the usual process of the choice of behaviour, and influence the attitude towards injustice. Changes in the biochemical balance determine an individual's behaviour and choice. The second stage

of the empowerment of a minimal state and of the term "security" is provding "security from internal threats". Because of actions to ensure the security of individuals from these threats, a liberal minimal state conflicts with the principles of liberalism and with Nozick's theory.

References

- 1. Nozick, R. (2008) *Anarkhiya, gosudarstvo i utopiya* [Anarchy, State and Utopia]. Translated from English by B. Pinsker. Moscow: IRISEN.
- 2. Klochikhina, V.S. (2017) *Politicheskaya filosofiya Roberta Nozika* [The political philosophy of Robert Nozik]. Master's Thesis. Tomsk. [Online] Available from: http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/vital:5701. (Accessed: 24th March 2019).
- 3. Marcuse, H. (2003) Odnomernyy chelovek. Issledovanie ideologii razvitogo industrial'nogo obshchestva [One-dimensional man. The ideology of a developed industrial society]. Translated from German by A. Yudin. Moscow: [s.n.]. [Elektron-nyy resurs]. [Online] Available from: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/5440/5441. (Accessed: 8th December 2018).
- 4. Naftalieva, V.O. (2011) Vliyanie sovremennykh SMI na molodezh' [The impact of modern media on young people]. Filosofskie problemy informatsionnykh tekhnologiy i kiberprostranstva Philosophical Problems of Information Technology and Cyberspace. 2. pp. 182–195.
- 5. Popova, V.O. & Balezina, E.A. (2015) Role of mass media in formation of stereotypes of mass consciousness. *Vestnik Permskogo universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya Perm University Herald. Series "Philosophy. Psychology. Sociology"*. 2(22). pp. 88–94. (In Russian).
- 6. Klyucharev, V.A., Shmids, A. & Shestakova, A.N. (2011) Neuroeconomics: the neurobiology of decision-making. *Eksperimental'naya psikhologiya Experimental Psychology*. 4(2). pp. 14–35. (In Russian).
- 7. The World Health Assembly. (n.d.) *Mezhdunarodnaya klassifikatsiya bolezney desyatogo peresmotra MKB-10 (prinyata 43-y Vsemirnoy assambleey zdravookhraneniya)* [International classification of diseases of the tenth revision of the ICD-10 (adopted by the 43rd World Health Assembly)]. [Online] Available from: http://base.garant.ru. (Accessed: 5.12.2018).
- 8. Litvitskii, P.F. & Maltseva, L.D. (2015) Protein, amino acids and nucleic acids metabolism disorders. *Voprosy Sovremennoi Pediatrii Current Pediatrics*. 14(1). pp. 95–107. (In Russian). DOI: 10.15690/vsp.v14i1.1267
- 9. Slanevskaya, N.M. (2012) *Mozg, myshlenie i obshchestvo* [Brain, thinking and society]. St. Petersburg: Tsentr mezhdistsiplinarnoy neyronauki.
- 10. Ogleznev, V.V. (2010) Interpretation of concept freedom in analytical political philosophy. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science.* 3(11). pp. 61–67. (In Russian).
- 11. Klochikhina, V.S. & Ogleznev, V.V. (2016) Intellectual property and social justice: Robert Nozick versus John Rawls. *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science.* 4(36). pp. 385–403. (In Russian). DOI: 10.17223/1998863X/36/38

УДК 304.2 + 316.62

DOI: 10.17223/1998863X/48/6

В.В. Петренко

МОДА КАК ГЕРОИЗАЦИЯ ПОВСЕДНЕВНОГО: ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ ДЕНДИЗМА В ГОРОДСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПОСТСОВРЕМЕННОСТИ

В статье представлены гендерные аспекты моды как социальной практики, показательной для городской культуры постсовременности. Поставлен вопрос об агенте повседневного опыта в пересечении феноменологии, методологии urban studies и гендерной теории. Тематизирован феномен дендизма в его женской версии. Рассмотрены перспективы «дендистского дискурса» как ответвления постфеминистской критики.

Ключевые слова: повседневность, городские исследования, гендер, мода, субъективность, женский дендизм.

We can be heroes just for one day
We can be us just for one day.

David Bowie

Современная городская культура требует гибкой методологии анализа. Последняя учитывает гендерные аспекты и связанные с ними социокультурные практики, берущие в расчет радости и преимущества урбанизма. В рамках общего философского представления это одно из направлений в исследовании феномена повседневности, вошедшего в горизонт актуальной философской мысли, ориентированной прагматистски и направляемой со стороны социально ангажированных тематизаций.

К настоящему времени «городские исследования» (urban studies) выглядят очень убедительно. Резюмируя актуальную социологическую проблематику, Э. Гидденс и Ф. Саттон в работе «Основные понятия в социологии» вводят концепт «урбанизма» в перечень главных тем и основных достижений социологической мысли последних полутора веков, возводя историю предмета к концу XIX столетия, когда был обнародован «...социологический тезис, в соответствии с которым город и проживание в городах имеют отличительный характер или являются особой формой жизни...» [1. С. 101]. К числу тех, кто заложил основы исследований городской культуры и особой городской цивилизационной матрицы с присущим ей стандартом жизненного уклада и форм психической (шире - ментальной) организации субъекта, они относят Ф. Тённиса и Г. Зиммеля, а также основоположников чикагской школы социологии Р. Пака, Э. Бёрджесса и Л. Вирта. Исследовательская стратегия последних получила название «экология города»: здесь опорными пунктами социальных дифференциаций, столь важных для собственно социологической оптики, объявлены динамические механизмы разного рода мобильностей. Держатся они на так называемых «вторичных контактах», которые, в свою очередь, отличают частичность и высокая скорость обращения, - этот тезис разделяет большинство современных авторов (см., например: [2, 3]).

Главным минусом пилотных проектов в области «городских исследований» Э. Гидденс и Ф. Саттон считают топологический «европоцентризм», поскольку пионеры urban studies естественным образом концентрировались на мегаполисах Старого и Нового Света. Кроме того, нерешенными оставались вопросы правильного использования приращения свободного времени и свободного выбора как результата все возрастающей анонимности «вторичных контактов» и в целом торжества городского типа «коротких социальных связей»: в том числе вопросы сбалансированности общинности (коммунальности и индивидуализма.

Разумеется, концепт «урбанизма» претерпевает исторические изменения. Многочисленные вызовы со стороны экономики, политики, экологии, разного рода культурных, религиозных, мировоззренческих противостояний, неизбежных при совместном проживании масс людей, накладывают отпечаток на сам исследовательский интерес и меняют сложившуюся повестку: ей обеспечен разворот в сторону «больших чисел» — масштабных преобразований городской среды и, как следствие, методическое размывание самого понятия «город».

К тому же в течение минувших полутора веков трансформации коснулись структуры городского жизненного (повседневного) уклада. Принимая в расчет интересующий нас гендерный аспект, легко показать, что перераспределение гендерных позиций, связанное с ослаблением традиционного гендерного противостояния, ускоренным темпом шло именно в городах. Здесь коррозия, которой подверглась патриархальная модель публичных и интимных взаимоотношений полов в сфере семейных, сексуальных, бытовых, профессиональных, досуговых связей и взаимодействий, приобрела выраженный и необратимый характер. (Так, рассуждая о гендерной истории применительно к отечественной «культуре оттепели», Н.Б. Лебина в своей книге «Мужчина и женщина: Тело, мода, культура. СССР - оттепель» пишет о «десталинизации» как выражении общей «...смены кодов повседневной жизни, коррекции советского гендерного уклада...» [4. С. 7]. По мнению автора, понятие унисекс в моде, заявившее о себе в период советских 60-х, как нельзя лучше выражает историческую тенденцию сглаживания гендерных различий, нарастания эквивалентности в их взаимообмене: своеобразный «половой символизм» смещается в сторону гармонизации властного дисбаланса, который отличал коммуникативную и психологическую составляющие тоталитарной модели оппозиции мужское - женское.) Некоторое запаздывание в реализации тенденции выравнивания мужской и женской идентичности в условиях советского жизненного уклада вполне объяснимо. Сама же эта тенденция - лишь отражение тех линий сил, что действуют принудительно и вполне универсальным образом: история советской модернизации изначально вписана в парадигму промышленного и цивилизационно-культурного урбанизма, предполагавшего выработку новой социальной стратегии гендерного существования в унифицирующей городской среде.

Итак, основополагающие моменты, связанные со спецификой собственно городского выживания, выделенные, например, Г. Зиммелем, остаются определяющими для методологии всех уровней urban studies и формируют их общую логику. Известна высокая оценка Ю. Хабермасом зиммелевской идеи о превращении социальных и культурных форм городского общения в отчуж-

денные и самостоятельные единицы обмена (см., например: [5]). Действительно, Г. Зиммель пишет о «...нивелировании и поглощении субъекта общественно-техническим механизмом» [6. С. 1], имея в виду капиталистический способ производства и «всепроникающее денежное хозяйство» [7. С. 240]. Большой город для него — квинтэссенция современной формы жизни и естественная среда обитания носителя особого типа сознания. Г. Зиммель разделяет общий тезис о рисках «скученности» городского проживания и притуплении «нерефлексированной» чувственности в условиях утраты природного ландшафта. Но главным завоеванием его рассуждений об особенностях городской формы жизни остается перенос акцента на психологическую сторону дела. Г. Зиммель фокусируется на эмоциональных тратах, которые преследуют обитателя мегаполиса. В целях минимизации последних он предлагает к обсуждению новые механизмы конструирования городской идентичности, сохраняющей баланс общественного и приватного.

В работе «Большие города и духовная жизнь» автор принимает исходный тезис, согласно которому быстрый ритм и сложность городской жизни, мозаичность, пестрота и принудительность ее проявлений в отношении индивида подталкивают последнего к экономии и «сдерживанию» естественной чувственности в пользу рассудочности как эффективного механизма адаптации в условиях все убыстряющегося жизненного темпа: «...типичный житель большого города – тип этот представляет, конечно, тысячи модификаций – создает себе средство самозащиты против угрожающих его существованию течений и противоречий внешней среды: он реагирует на них не чувством, а преимущественно умом, которому развившееся сознание доставило гегемонию в душевной жизни» [6. С. 5]. Успех такого «счетно-расчетного» способа коммуникации с себе подобными и с институтами, обязанными своим появлением специфике городской цивилизации, закрепляет позиции субъекта, ориентированного инструменталистски. У Г. Зиммеля эгоистически прописанная рассудочность, на первый взгляд трактуемая как исключительно приватная добродетель, обращена вовне - в сферу публичного и социально востребованного - как аналог абстрактно циркулирующего денежного эквивалента обмена («Дух современности, по словам Г. Зиммеля, все более и более проникается математикой» [Там же. С. 6]).

В результате то, что Г. Зиммель называет «техникой жизни больших городов», имеет следствием *пресыщенность*: во-первых, как эффект арифметической суммы предоставляемых субъекту возможностей; во-вторых, как структуру его собственной реактивности (Г. Зиммель именует ее «бесчувственным равнодушием»: она призвана нейтрализовать и сбалансировать *«повышенную нервность»*, которой фундирована «индивидуальность большого города»). Он со знанием дела пишет о перевесе того, что называет «объективным духом», над «духом субъективным»: «...в языке и праве, в технике и искусстве, в науке и предметах домашнего обихода заключен дух, за ежедневным ростом которого субъект поспевает далеко не вполне, а часто отстает от него... в зданиях и учебных заведениях, в чудесах и комфорте техники, в формах общественной жизни, внешних государственных институтах сказывается такая подавляющая масса кристаллизованного обезличенного духа, что перед ним личность, можно сказать, совсем бессильна» [Там же. С. 11]. Но парадоксальным образом это тот род бессилия, который создает

почву для «индивидуализации душевных качеств». Она не имеет ничего общего с индивидуацией унифицирующего либералистского толка как производной сугубо социального (правового, политического и имущественного) равенства. Скорее, речь идет о выработке каждый раз *персональной* стратегии самопозиционирования через эмоциональное «возбуждение впечатлений разницы» — то, что Г. Зиммель описывает как тягу к «...умышленным чудачествам, к специфическим для большого города экстравагантностям, самообособлению, капризам, претенциозности, смысл чего заключается уже не в содержании того или другого поведения, а только в его форме: в том, чтобы быть непохожим на других, чтобы выдвинуться и тем самым стать заметным» [6. С. 10].

Таким образом, вышесказанное дает основание увидеть в Г. Зиммеле не просто социального теоретика эпохи становящегося капитализма, но рано заявившую о себе попытку феноменологического описания жителя мегаполиса как выразителя нового – городского – модуса повседневного существования (поскольку с феноменологической точки зрения общество и само качество социальности — это показывающая себя интерсубъективная взаимосогласованность опыта исторического субъекта, учитывающая все типологические составляющие такого опыта).

Формальная структура и логика повседневности изначально задействуют категорию «субъективного». Типологическое описание агента повседневности выступает условием представления онтически разнородного – гетерономного – горизонта единого жизненного мира той или иной эпохи и / или той или иной культуры, в дискурсивном смысле работая на выявление структурного каркаса исторически изменчивой формы культуры и социальности вообще. Поэтому понятие субъективности в практике постклассического философствования трактуется широко и в то же время типологически узконаправленно, подчеркнуто инструменталистски. Это справедливо в отношении современной социальной теории и философии субъекта – его сознания, его языка, его общественно значимых атрибуций; поэтому столь важна типология субъективного опыта, отсылающая к гендерным оппозициям.

Дискурс повседневного берет субъективность вполне ожидаемо - как персонажа непосредственного жизнеосуществления и непосредственной перцептивности, вписанного в поле элементарных дорефлексивных взаимодействий; как субъекта, выступающего от лица простейшей достоверности и самоочевидности «нормальных» установки и способов восприятия реактивности. Фактически перед нами своеобразный дериват изначальной экзистенциальной подлинности в отсутствие какого бы то ни было «кризиса идентичности». Такое понимание повседневности и ее агента – выражение аполлонического в культурфилософской трактовке конкретно-исторической ситуации, практически осваиваемой реальности: здесь все «а-логичное» и «бес-смысленное» снимается в результате изначально гибких и эффективных интерпретативных ходов, призванных поддержать status quo здравого смысла и «естественной установки присутствия». Пущенные в ход бессознательно, они структурируют культурную и социальную «определенность», способствуя утверждению ее позитивности, что для субъекта повседневного опыта служит гарантией «сохранности» и «понятности» форм его каждодневного существования.

В пересечении таких нерефлектируемых интерпретативных усилий по строительству и переделке культурно-исторического мира упрочивается то привычное измерение субъективности, где существо последней слабо коррелирует с понятием носителя только «самосознания», равно как только «желания», и вообще любого исходящего от субъекта изолированного социально значимого жеста. Субъективность в этом ее модусе оказывается сферой приложения «конечной области значений», конститутивных по адресу реальности всех уровней представления (А. Шюц, см., например, [8, 9]). По мнению Э. Гуссерля, здесь мы имеем дело с областью «предельных значений жизненного мира» (см., например, [10]). Диалектику «открытости» и «сокрытости» в истолковании феномена субъективности, взятого со стороны его повседневной ангажированности и генерализирующей «всеобщности», артикулирует феноменологическая идея интерсубъективного взаимодействия. Э. Гуссерль описывает субъективный повседневный опыт в терминах «смутной конкретности», акцентируя сопротивление, оказываемое субъективностью при вхождении в план тематического рассмотрения философии и науки. Это свидетельство неэлиминируемости фундаментальных схем «присутствия» в любых проявлениях индивидуального и одновременно препятствие на пути их объективации, полагания в качестве предмета объективирующего созерцания и концептуализации [Ibid. P. 458-460].

Своеобразный субстанциализм в понимании условий опыта в осуществлении теоретической и, главным образом, практической деятельности, взятых как предельный фон-горизонт естественной человеческой активности, дополнен указанием на принцип историзма, сформировавший повестку постметафизического представления субъективности и ее производных. Принцип историзма позволяет фиксировать постоянный и необратимый сдвиг в онтике и обеспечивающих ее схемах самопрезентации субъекта. Фон-горизонт жизненного мира оказывается функционалистски прописан: это касается его отдельных значений, обособившихся и локализованных в структурной определенности специфических практик и коммуникаций, на складывание которых влияют разнонаправленные векторы сил.

Так понятая повседневность, фундированная со стороны интенциональной взаимосогласованности и целой системы неявных взаимных договоренностей, являет собой исключительно консервативный продукт. Как инстанция обязывающая – инстанция своеобразной автономии и предданности каким бы то ни было способам самообнаружения субъекта, где единство жизнемирного горизонта обеспечено принципиальной общностью, подобием, гомогенностью практик видения, интерпретации, «единственно правильного» понимания природной и социокультурной среды, - повседневность носит характер долгосрочного предприятия. Программный консерватизм, «натурализация» техник и схем повседневного, насильственность повтора, утверждение тождества различного дают эффект специфической надежности форм повседневного опыта, к которым субъект прибегает автоматически, «не задумываясь», внешним образом экономя усилие и выигрывая во времени. При этом субъект повседневности редко страдает от отсутствия подлинной автономии, он попросту не способен заметить лакуну на месте предполагаемого «внутреннего», довольствуясь результатом пассивных синтезов, гарантирующих успех тех предприятий, в которые он вовлечен, для него самого - вполне сознательным образом. Однако простой вопрос, что будет, если все предпочтут экономику индивидуального усилия, наводит на размышления. (По сходному поводу М.М. Баткин писал, что даже во времена палеолита, где уж точно все и всё делали одинаково, нашелся кто-то, кто выделялся из общей массы. Иначе, иронически заметил он, мы пребывали бы там до сих пор [11. С. 126]). Сбой в привычной, рутинной системе простейших, каждодневных связей и отношений между людьми, поэтапное изменение социальной семантики и социальной прагматики дают эффект каждый раз новой конфигурации интерсубъективного поля значений как общезначимой области предметностей сознания и единого интенционального горизонта. В результате испытанию подвергается сама логика повседневного существования и самообнаружения субъекта.

В социальном плане это всегда выводит на авансцену нового игрока, который и выступает проводником непривычного способа действия в предлагаемых обстоятельствах. Новый персонаж истории и социальности иначе демонстрирует общность, генерирующую профанного субъекта: это касается большинства значений жизнемирного горизонта, в особенности конститутивных для физических, телесных проявлений индивида. В нашем случае речь идет о тех, что обеспечены регулярностями и игрой мужского / женского: структурированных как дифференциация, «рационализация» и манифестация революционного социального опыта; как новая «дисциплинарная» (М. Фуко) диспозиция в границах прежнего социального поля. Примеров практик и коммуникаций, где гендерная асимметрия играет решающую роль, великое множество (от семейных, досуговых, образовательных до профессиональных и конфессиональных). В этом ряду дендистская поза и сопутствующий ей образ мысли – яркий пример своеобразия в рамках допустимого и одновременно пробный шар в деле провокативного расшатывания косной социальной норматики, испытания повседневности на прочность и незыблемость негласных социальных конвенций.

На старте становящейся европейской культуры раннебуржуазного образца (конец XVIII — начало XIX в.) дендизм был абсолютно мужским нарративом сопротивления пошлости обыденной жизни и способа ее посильной героизации. Все, кто так или иначе касается приключений европейского дендизма с самыми разными его ответвлениями [12–14], едины во мнении, что, во-первых, это растянутая во времени романтическая биография именно горожанина (в идеале — жителя мегаполиса); во-вторых, пропагандист дендистского образа жизни — молодой белый европеец: он хорошо образован, разбирается в искусстве и обладает необходимой эстетической компетентностью, чтобы утвердить свой способ каждодневного существования как видимо отличный от всех прочих и их превосходящий (не случайно Р. Барт наста-ивает на предикате «distinction», который, по замечанию французского переводчика, означает и «превосходство», и «отличие») [15. С. 394].

История европейского денди восходит к структурной игре аполлоновского и дионисийского: ею вдохновлялись романтики, Ф. Шеллинг и Ф. Ницше. В образе денди как важной отправной точке новейшей культурно-исторической антропологии отражен универсальный смысл вечной фигуры актерства и трикстерства, берущих начало в античном театральном и — шире — праздничном действе. Актер — ипостась «единичного» и одновремен-

но «типического», красной нитью проходящая через этапные произведения Ф. Ницше: от «Рождения трагедии» до «Заратустры» и «Воли к власти». По мнению Ф. Юнгера, брата теоретика нигилизма в философии XX в. Э. Юнгера, актер – тот же нигилист. Ф. Юнгер дает ему определение в духе ницшевского «тематического нигилизма»: «...актер – это человек, который представляет то, чем он не является, и является тем, чего он не представляет» [16. C. 208]. Вслед за Ницше, различая актера «подлинного» и «ложного», Ф. Юнгер фокусируется на сущности последнего, выводя ее из круга дионисийской праздничности и перемещая во внетеатральное и внепраздничное пространство. Здесь, согласно Ф. Юнгеру, важно следующее: с известного момента «ложное актерство» можно приписать каждому – актерская поза, продолжая оставаться достоянием некой персональной идентичности, становится «типическим» в отношении всех. «Этот новый актер, - полагает Ф. Юнгер, - внезапно возникает повсюду; здесь каждый - актер. Каждый изображает то, чем он не является; каждый является тем, чего он не изображает. Этот процесс останется непонятным, если не усматривать в нем следствие разрушения старого иерархического порядка ценностей» [Там же. C. 210].

Кто такой денди – актер «подлинный» или «ложный»? Думается, он наследует обеим ипостасям. В той мере, в какой дендизм – это эпифеномен исторического умонастроения и исторического уклада общественной жизни посттрадиционалистского и тем более постархаического образца, «актерство» – эквивалент фигуры буржуазного «подражания» и массового «потребления», о чем прозорливо и не без отвращения Ф. Юнгер писал уже в 1949 г.: «Теперь все взоры обращены к неподлинным подражанию и имитации; вся реклама, пропаганда рассчитана на это подражание... Больше нет типа, на его месте повсюду возникают подражания, ложные актеры, и эти подражания становятся все менее значительными и все более пошлыми» [Там же. С. 213-215]. Однако вопреки убежденности в безрадостном устройстве современной жизни и утрате ею былого праздничного начала Ф. Юнгер допускает существование «крошечного меньшинства», которое, правда, «все больше и больше загоняется в угол». Он настаивает на жизнемирной продуктивности противопоставления актерства «ложного» и «подлинного»: «Искренний актер не отрицает своего происхождения от дионисийского праздника, он не отрицает самого себя. Он не желает быть ничем, кроме актера. Ложный актер отрицает себя в качестве актера, он не желает, чтобы в нем видели актера. Он человек без праздника; его воздействие является серым, жалким и убогим. Он продукт того процесса, по окончании которого человек выпадает из порядка типов и попадает в массу» [Там же. С. 214]. Иначе говоря, отсутствие рефлексивности по адресу собственного поведения и собственного действия делает массового человека «ложным актером». В противоположность массе денди актер подлинный, играющий в эту игру вполне сознательно, готовый, если потребуется, пренебречь своим собственным сиюминутным благополучием и рискнуть, опять-таки не ради себя.

Героическое начало в фигуре денди образца XVIII—XIX вв. – как и в фигуре истинного актера – требует размежевания с «единичностью» и «индивидуальностью» в формате собственно *буржуазного* и тем самым сугубо социологического измерения: оно обращает нас к феномену особым образом

явленного и оправданного «персонального». Видимый индивидуализм не отменяет границ социального (напротив, денди не прочь подняться на ступень выше в сословной иерархии, присвоив аристократическое достоинство, на которое по рождению не всегда имеет право). Однако его главная претензия в другом: денди, конечно, герой, и героизм такого рода демонстрирует признаки над-персонального «возвышенного». Хотя денди заранее известна трагическая уязвимость и обреченность собственного выбора, радикальный дендистский эстетизм смыкается со столь же категорическим «этическим», требующим безоговорочного принятия своей роли. Истинный денди упивается этой ролью. Он прекрасно осведомлен, что он именно играет – как другие, например, исполняют миссию. Денди выступает от лица такого Символического и Воображаемого, которые возвращают современной жизни оправдание в виде некоего онтологического избытка, компенсирующего ее механистичность, выхолощенность - то, что Ф. Юнгер именует изношенностью, сопутствующей ситуации взаимного «подражания» и всеобщего уравнивания всех со всеми (и в первую очередь посредством капиталистического уравнивания в процессе труда и производства): «Равенство прежде всего оказывается основанием, служащим сведению к плоскости. ...Ему соответствует такой же абстрактный принцип единства, однообразия. Равенство реализуется все больше и больше, оно налично, обнаруживается в растущем однообразии человека, в его монотонности» [16. С. 223]. Современная жизнь, согласно дендистской интуиции, лишена героического импульса и подчинена логике коммерческой «рассудочности», что - единственно - позволяет индивиду удержаться на плаву в условиях переизбытка равных возможностей, равных приобретений и, к сожалению, столь же одинаковых – усредненных – впечатлений, усредненного клишированного опыта.

Денди все это решительно отвергает. Его собственный путь отмечен отчетливой «романтикой фронтира». Разумеется, он канатный плясун, но балансирует он на границе рискованной эгоцентрики и романтической веры в надперсональное оправдание жизни вообще, поскольку, в его представлении, последняя - не сумма отдельно взятых сугубо эгоистических жизненных траекторией; в действительности это - определенный порядок сущего, где у каждого проживающего жизнь есть достойное предназначение. Его собственный выбор – почти как у трагического античного героя – означивает этот раскол, указывает на нечто, что всегда превосходит человека с его «человеческими, слишком человеческими» мелкими эгоистическими склонностями, с тщетной попыткой поспеть за суетным «новым», которое на деле оказывается «тем же самым», поскольку в нем нет подлинной оригинальности, а есть только опредмеченное желание «быть-как-все» и «иметь-то-жечто-у-всех». Другими словами, денди-философ занимает свое место в череде типажей («гений», «романтический герой», «актер», «художник»), востребованных поздней традицией европейского эстетически окрашенного трансцендентализма. Прибегнув ко всем мыслимым мятежным и эксцентричным провокациям, денди, по словам Д. Шиффера, призван распорядиться собственным дендизмом как «...способом десакрализации сакрального с тем, чтобы впоследствии с большим успехом возвести его на уровень жертвенного разрушения и тем самым... настигнуть вечность» [14. C. 277].

Женская субъективность габитуально и экзистенциально наследует стадиям исторического становления субъективности вообще, в западном варианте совпадающим с «мужской» версией субъекта как носителя сознания и самосознания, а также повседневного предрассудка и профанной привычки, вплоть до стиля жизни. Опять же — с точки зрения габитуального «гендерного режима» (под последним мы понимаем способы институциональной встроенности гендерных диспозиций в формы социально значимого праксиса) — женская разновидность дендизма структурно повторяет путь, пройденный европейским денди с момента появления до настоящего времени, что отразилось в конфигурациях исторически меняющихся «гендерных контрактов» и «гендерной композиции» как выражения мужской / женской стратегий «презентации себя» по самым разным поводам (начиная с внешнего вида, одежды, развлечений, форм телесной коммуникации, стандартов потребительской культуры и вплоть до мировоззренческого — политического, этического и «жизнемирного» — самопозиционирования).

Все представленные в литературе новейшие (вторая половина XX в.) ипостаси активиста дендистского образа жизни – стиляга, хиппи, плейбой, «гламурный интеллектуал», бо-бо, даже фрик – имеют свой «женский» аналог. Не стал исключением, например, и метросексуализм. Впрочем, именно с последним связана отдельная – интригующая – история дендистских трансформаций, где женская ипостась дендизма впервые сыграла на опережение. Тот персонаж истории повседневности, которого благодаря удачной сигнификации британского денди конца 90-х г. прошлого века Марка Симпсона мы легко опознаем как метросексуала, появился на пике финансового и предпринимательского успеха урбанистической культуры Запада, успеха ее же демократий, и в первую очередь победы института потребления как значимого атрибута эпохи «цветущего капитализма», активной составляющей которого на первых порах выступила женская прослойка позднебуржуазной структуры социальности.

Консюмеризм не просто занял нишу в системе западных общественных институтов. De facto консюмеризм оформил новую логику и новую грамматику социальных взаимодействий, и всё, что происходило в сфере гендерной дифференциации, встроено в эту логику (например, логика моды лишь частный случай товарной логики). Одновременно институализация потребительской активности способствовала переконфигурации поля социальных значений, дав жизнь новому субъекту с позиций лишь ему присущей суверенности. Выстраивая контуры новой субъективности, мы вынуждены признать: потребляя модные образы, которые в избытке поставляет цивилизация, сделавшая выбор в пользу «экономики удовольствия» и избравшая «оргиастичности» (Ж. Бодрийяр), МЫ объявляем потребительскую комбинаторику привилегированной областью для инвестирования желания. Присваивая ту или иную «модную идентичность» - выбирая «из предложенного», субъект переживает соответствующий обстоятельствам аффект, который и учреждает его субъектом в собственном смысле слова. Простой вопрос, идет ли речь только и исключительно о моде, уже снят посредством констатации ad hoc: мы рассматриваем моду как одну из состоявшихся современных социальных практик. (В конце концов, современный субъект включен во множество других разновидностей социального праксиса, при этом он делает много такого, что указывает на якобы «свободный» выбор и чего он в принципе мог бы не делать: он занимается спортом; он разъезжает по миру; он женится, заводит детей; как правило, получает образование... И обо всём этом мы можем заключить, что кто-то в большей, кто-то в меньшей степени подвержен модным веяниям; всё это может быть представлено как следование модному образцу, что, в свою очередь, указывает на моду как на «игру идентичностей», выражающую современный тренд на мобильность, фрагментарность, частичность в условиях наличного изобилия.)

По этой причине было бы опрометчиво числить за метросексуалом лишь его мужскую разновидность. Метросексуализм немыслим без собственно женского участия в том «принудительном означивании» (Дж. Батлер), которое в нашем случае выступает следствием позднекапиталистического товарного перепроизводства. Именно здесь, подчиняясь логике рыночных отношений, формируется особая эстетика и политэкономия пола (все признаки пола начинают циркулировать как товар среди других товаров; все они производятся, оцениваются, подлежат обмену и в конечном счете потребляются). Как следствие, требования строгой половой дифференциации и половой идентичности (что было немаловажно для мифологии «традиционного» дендизма) стираются, и по всем признакам именно в этом направлении движется его мужская история. Ярко выраженный мотив разного рода «самообъективаций» (через отчуждение, опредмечивание, товарную фетишизацию и т.п.) настиг современного денди. Например, «брутальность» - казалось бы, неотчуждаемое качество мужской сексуальности, учреждающее привилегированность того, кто смотрит (сам оставаясь в тени, за границей видимого), - претерпевает существенные изменения, подвергаясь все более чувствительным атакам со стороны соблазнов и искушений рынка. Метросексуал продолжает потреблять, но этим его миссия - как искушенного потребителя - не ограничивается. Консюмеристская стратегия вызывает к жизни не только «объект желания», но в первую очередь само желание: всё, включая фигуру денди, втянуто в орбиту переживания специфического аффекта, принадлежащего принудительно желающему и аффицированному желанием субъекту, который как бы удвоен оптикой «желающего взгляда» и разделен на собственно «объективную» и «субъективную» составляющие. «Мужское» перестало отделять себя от «женского» в том смысле, в каком ранее только последнее становилось пассивной инстанцией визуального восприятия, подчиненного логике символического присвоения: так дает о себе знать новая онтология сознания в условиях, сформировавших цивилизацию «избыточного производства и свободного времени».

Так другая дендистская жизнемирная установка, сохраняя верность индивидуалистскому кодексу как историческому выбору дендизма вообще, берётся оказать сопротивление победившим настроениям времени: с известного момента освобождение от всепроникающей рыночной логики товарного взаимообмена становится делом и уделом масштабного женского «освободительного движения». Левый феминистский, по преимуществу, социально-политический дискурс затронул тот значительный просвещенный слой женского сообщества, который с негодованием отзывается об откровенно эротизированном пространстве современной коммуникативно и экономически

оформленной социальности. Это социальность того рода, где *сексуальность*, традиционно ассоциируемая с «женской» ее разновидностью (в духе пассивности, слабости, выбора в пользу симулятивных стратегий соблазна / обмана / соглашательства) утверждается в качестве единственно свободно конвертируемого социального знака (все равно, кто перед нами – представители женского или мужского сословия).

Что представляет собой женская версия дендизма? Эмпирически женское дендистское коммьюнити сегодня - это те, кто выступает от лица носителей высокого образовательного ценза; представители интеллектуальных либо так называемых свободных профессий; владелицы символического капитала, связанного с распределением и перераспределением значимых общественно-политических позиций и мнений (примером площадки, на которой разыгрывается актуальная драма перекомбинации устоявшихся, но изживших себя социальных сигнификаций, служит недавняя история харассмента, давшая повод для неожиданной по остроте общественной дискуссии в большинстве стран Запада). Профеминистски настроенное критическое сообщество, ответственное за оформление «новых политик» женской субъективности, - результат завоеваний женской экономической и финансовой эмансипации. Однако сами практики противостояния традиционному способу конституирования субъекта не могут быть сведены к переменам в области имущественного, правового и даже политического неравенства. Сфера «повседневного» (как было показано выше, весьма консервативного образования) и собственно женская укорененность в ней требуют пересмотра большинства поведенческих моделей. Выведенные на уровень анализа языка, они позволяют использовать дендистский дискурс в качестве проводника идей, артикулирующих структурированность «гендерной композиции» как обозначения новой стратегии самопрезентации в противопоставлении мужское / женское.

Лингвистика утверждает, что концепт дендизма не просто претерпевает исторические трансформации. Семантическое поле этого понятия изначально располагалось на разных этажах лингвокультурного горизонта (см., например, [18, 19]). Те, кто практикует так называемый лингвокульторологический диахронический анализ, выделяют подуровни языковой востребованности лексемы «денди». (Правда, предложенная А.Д. Ефимовой трехчленная классификация [18. С. 32] представляется терминологически не слишком удачной, хотя идея поместить понятие «дендизм» в разные смысловые ряды, отвечающие за разноуровневые способы абстрактного полагания, в целом продуктивна.) На наш взгляд, горизонт повседневного эксплуатирует «дендистский» дискурсивный ресурс как особую «философию» и «идеологию» дендизма в формах значимого Символического.

Итак: 1) «этажом ниже», женская разновидность дендизма выглядит как заигрывание с видимыми социальными знаками «мужественности», утвердившимися в культуре и поддающимися простому перцептивному схватыванию (костюм, прическа, манера поведения, языковые и внеязыковые предпочтения в способе общения и налаживания коммуникации и т.п.). Однако перед нами — поверхность. Смысл подобной мимикрии в другом. (История fashion фотографии сохранила для нас провокативные опыты Хельмута Ньютона, обозначившие опасно тонкую, дразнящую грань женского переодева-

ния. Хотя, с другой стороны, никто же не принимает ньютоновскую женщину за мужчину);

- 2) двусмысленность открывшейся нам игры призвана подчеркнуть не столько намерение подражать мужской идентичности или прямо присвоить ее (что, согласно Ф. Юнгеру было бы «ложным актерством»), сколько максимально от нее дистанцироваться, разыгрывая откровенно мужские роли, но ни на минуту не забывая о самой «игре». Перед нами, соответственно, «актерство подлинное», которое идет вразрез с современной модой с ее атрибутикой соблазна, бесконечного и столь же бессмысленного «обмена отличиями» (Ж. Бодрийяр), надуманной симулятивной эротизации и выяснения отношений «кто кого» в вялом противостоянии полов в духе Валери Стил [см. 17]. (Все это продолжается благодаря «ложному актерству», которое осуществляется усилиями современного потребителя). Специфика момента состоит в том, что денди как исключительно мужской нарратив, когда-то противостоявший массе, фактически принял ее сторону. Он с упоением включился в игру симулятивных подражаний, в игру хорошо продающихся «видимостей». Теперь именно он поставляет на рынок культурного обмена свою субъективность, вылепленную по образцу идеалов потребительной стоимости. Тот прежний денди – субъект подчеркнутой рефлексивности – к настоящему моменту сконцентрирован в фигуре, выступающей от лица женского дендизма. Как ее ставленник, он не желает зависеть от коньюнктуры потребительского спроса. (Разумеется, в предложенном описании мы имеем дело с очередным «идеальным типом», хотя дискурсивно это мало что меняет, поскольку в теории речь идет о генеалогии актуальных типологизаций);
- 3) резюмирующей видится мысль о том, что несмотря на уравнивание половых различий, фиксируемых телесным, непосредственно воспринимаемым образом (как мы показали, эту модель распределения элементов мужское / женское закрепляет сложившийся рынок моды, наглядно демонстрирующий, как устроена и работает современная повседневность); несмотря на откровенные заимствования мужских гендерных позиций и копирование традиционно мужского арсенала средств и способов заявить о себе как субъекте, «обладающем теми же правами», - именно «женский дендизм» оформляет новый горизонт Символического. Эта его разновидность возвращает права эксклюзивности самой инстанции «женского». Не будем заблуждаться на счет «равенства полов»: женский дендизм заново утверждает их различие, и делает это максимально радикальным образом; сверхзадача здесь – указать на самоценность женского, а вовсе не уравнять его с чем-то еще. Дендизм вновь движим патетикой фронтира, но теперь перед нами не граница трансценденции «общезначимого» и «эгоистически-приватного» (современная культура давно утратила вкус к эксплуатации классического метафизического тезиса о присутствии трансцендентного обеспечения во взаимоотношениях общественной и индивидуальной форм существования). В женской версии дендизма «другой фронтир» задан посредством акцентирования структуры «различия» в самих конфигурациях гендерных эквивалентностей, при этом он не скрывает своего интереса к собственно женской гендерной составляющей.

В целом женская разновидность дендизма выглядит привлекательнее своего мужского аналога, поскольку настроена решительнее и обещает стать долгосрочным проектом. Она лишена привкуса цинической и нарциссиче-

ской провокативности. Напротив, женский дендизм демонстрирует признаки не сиюминутно-капризного и экзальтированно-пассионарного, но по-настоящему продуктивного, критически организованного и независимого мышления. Это забег на длинную дистанцию, поскольку перед нами ясное понимание того, что именно женской разновидности «денди» (да в общем-то и не «денди») нечего терять в обратной перспективе даже сравнительно недавнего прошлого. А вот приобрести в ситуации не только упразднения сложившихся запретов и табу, но – что более существенно – ломки стереотипизации поведенческих моделей и «усреднения» матриц социальной востребованности женщина может.

Литература

- $1.\ \Gamma$ идденс Э., Саттон Φ . Основные понятия в социологии / пер. с англ. Е. Рождественской, С. Гавриленко; под науч. ред. С. Гавриленко. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. 336 с. (Социальная теория).
- 2. *Вирт Л*. Урбанизм как образ жизни / пер. с англ. В. Николаева. М. : Strelka Press, 2018. 108 с.
- 3. *Митчелл У.* Я++ : Человек, город, сети / пер. Д. Симановского. М. : Strelka Press, 2012. 370 с.
- 4. *Лебина Н*. Мужчина и женщина: Тело, мода, культура. СССР оттепель. М. : Новое лит. обозрение, 2015. $340~\rm c$.
- 5. *Хабермас Ю*. Зиммель как диагност времени / пер. М.И. Левиной // Зиммель Γ . Избранное. Созерцание жизни. М. ; СПб., 2014. С. 357–367.
 - 6. Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3–4 (34). С. 1–12.
 - 7. Зиммель Г. Мода // Избранное. Созерцание жизни. М.; СПб., 2014. С. 236–260.
 - 8. Шюц А. Структуры повседневного мышления // Социологические исследования. 1986. № 1.
 - 9. Schuts A. The phenomenology of the social world. L.: Heinemann, 1969.
- 10. *Husserl E.* Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale Phanomenologie // Husserliana. Den Haag. 1954. Bd. 6.
 - 11. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления. М, 1977.
- 12. Вайнитейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. 2-е изд., испр., доп. М. : Новое лит. обозрение, 2006. 640 с.
 - 13. Schiffer D. Le dandysme, dernier éclat d'heroisme. P.: PUF, 2010.
- 14. *Шиффер Д.* Философия дендизма. Эстетика души и тела (Кьеркегор, Уайльд, Ницше, Бодлер) / пер. с фр. М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2011. 296 с.
- 15. *Барт Р*. Дендизм и мода // Барт Р. Система моды: Статьи по семиотике культуры / пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. С. 393-399.
- 16. Юнгер Φ . Γ . Ницше / пер. с нем. А.В. Михайловского. М. : Праксис, 2001. 256 с. (Идеологии).
- 17. Steele V. Fetish: Fashion, Sex and Power. New York; Oxford: Oxford University Press, 1996. 210 p.
- 18. *Ефимова А.Д.* Диахронический анализ семантической структуры понятия «дендизм»// Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Лингвистика, 2018, № 2. С. 27–35.
- 19. Валова О.М. «Философия дендизма» в комедиях Оскара Уайльда // Вестник Вятского государственного университета. 2012. № 2 (2). С. 161–165.

Valeriya V. Petrenko, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: vptomsk@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 58–71.

DOI: 10.17223/1998863X/48/6

FASHION AS A GLORIFICATION OF EVERYDAY LIFE: THE WOMAN'S VERSION OF DANDYISM IN THE URBAN CULTURE OF POSTMODERNITY

Keywords: everyday life; urban studies; fashion; gender; subjectivity; woman's dandyism.

The article discusses the gender aspects of fashion as a social practice indicative of the urban culture of postmodernity. It has been demonstrated that the study of urban culture requires a flexible analysis methodology. The question was raised about the agent of everyday experience at the intersection

of phenomenology, urban studies and gender theory. It is shown that the redistribution of gender positions, associated with the weakening of the traditional gender confrontation, accelerated in cities. The fundamental points related to the specifics of the urban diversion were highlighted by Georg Simmel. They remain crucial for the methodology of all levels of urban studies, and form their common logic: a big city is the quintessence of the modern form of life and habitual environment of the bearer of a special type of consciousness. The priority strategy is to describe the emotional expenses of a metropolis resident, the psychological side: to present and to reflect the urban focus as an emotional focus, to emphasize the phenomenological description of a megalopolis resident as a spokesman for a new modus of everyday existence. The subject of the discussion is the question of what renders the profane subject: this applies to most of the values of the life zone, especially constitutive for the physical, bodily manifestations of an individual. The phenomenon of dandyism in its woman's version is thematized. It is shown that the female variety of dandyism structurally repeats the path traversed by the European Dandy from its appearance to the present time, which is reflected in the configurations of historically changing "gender contracts" and "gender compositions" as expressions of male or female strategies of "presenting oneself". The article reveals the perspectives of "dandy's discourse" as a branch of post-feminist ideology.

References

- 1. Giddens, A. & Satton, F. (2018) *Osnovnye ponyatiya v sotsiologii* [Essential Concepts in Sociology]. Translated from English by E. Rozhdestvenskaya, S. Gavrilenko. Moscow: HSE.
- 2. Wirth, L. (2018) *Urbanizm kak obraz zhizni* [Urbanism as a Way of Life]. Translated from English by V. Nikolaev. Moscow: Strelka Press.
- 3. Mitchell, W. (2012) *Ya++: Chelovek, gorod, seti* [Me++: The Cyborg Self and the Networked City]. Translated from English by D. Simanovsky. Moscow: Strelka Press.
- 4. Lebina, N. (2015) *Muzhchina i zhenshchina: Telo, moda, kul'tura. SSSR ottepel'* [Man and woman: Body, fashion, culture. The USSR the Thaw]. Moscow: NLO.
- 5. Habermas, J. (2014) Zimmel' kak diagnost vremeni [Simmel as a time diagnostician]. In: Simmel, G. *Izbrannoe. Sozertsanie zhizni* [Selected Works. Contemplation of Life]. Translated from German by M.I. Levina. St. Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ; Universitetskaya kniga. pp. 357–367.
- 6. Simmel, G. (2002) Bol'shie goroda i dukhovnaya zhizn' [Big cities and spiritual life]. *Logos*. 3–4(34). pp. 1–12.
- 7. Simmel, G. (2014) *Izbrannoe. Sozertsanie zhizni* [Selected Works. Contemplation of Life]. Translated from German by M.I. Levina. St. Petersburg: Tsentr gumanitarnykh initsiativ; Universitetskaya kniga. pp. 236–260.
- 8. Shuts, A. (1986) Struktury povsednevnogo myshleniya [Structures of everyday thinking]. Sotsiologicheskie issledovaniya Sociological Studies. 1.
 - 9. Schuts, A. (1969) The Phenomenology of the Social World. London: Heinemann.
- 10. Husserl, E. (1954) Die Krisis der europaischen Wissenschaften und die transzendentale Phanomenologie. *Husserliana*. *Den Haag*. 6.
- 11. Batkin, L.M. (1977) *Ital'yanskie gumanisty: stil' zhizni, stil' myshleniya* [Italian humanists: lifestyle, style of thinking]. Moscow: Nauka.
- 12. Weinstein, O.B. (2006) *Dendi: moda, literatura, stil' zhizni* [Dandy: fashion, literature, lifestyle]. 2nd ed. Moscow: NLO.
 - 13. Schiffer, D. (2010) Le dandysme, dernier éclat d'heroisme. Paris: PUF.
- 14. Shiffer, D. (2011) Filosofiya dendizma. Estetika dushi i tela (K'erkegor, Uayl'd, Nitsshe, Bodler) [Philosophy of dandyism. Aesthetics of soul and body (Kierkegaard, Wilde, Nietzsche, Baudelaire)]. Translated from French. Moscow: Izd-vo gumanitarnoy literatury.
- 15. Barthes, R. (2003) *Sistema mody. Stat'i po semiotike kul'tury* [Fashion system. Articles on the semiotics of culture]. Translated from French by S.N. Zenkin. Moscow: Izd-vo im. Sabashnikovykh. pp. 393–399.
- 16. Jünger, F.G. (2001) *Nitsshe* [Nietzsche]. Translated from German by A.V. Mikhaylovsky. Moscow: Praksis.
- 17. Steele, V. (1996) Fetish: Fashion, Sex and Power. New York; Oxford: Oxford University Press.
- 19. Efimova, A.D. (2018) Diachronic analysis of the semantic structure of the notion "dandy-ism". *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Lingvistika Bulletin of the Moscow Region State University. Series: Linguistic.* 2. pp. 27–35. (In Russian). DOI: 10.18384/2310-712X-2018-2-27-36
- 19. Valova, O.M. (2012) The Philosophy of Dandyism in O. Wilde's Comedies. *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta Herald of Vyatka State University*. 2(2). pp. 161–165. (In Russian).

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ

УЛК 14

DOI: 10.17223/1998863X/48/7

О.И. Целищева

НЕОПРАГМАТИСТСКАЯ РИТОРИКА Р. РОРТИ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ РЕЛЯТИВИЗМА Т. КУНА¹

В статье рассматривается неопрагматистская позиция Рорти в отношении релятивистской истории науки, представленной Куном в концепции структуры научных революций. Перенос основных ингредиентов куновской методологии науки на философию обусловил новую риторику для прагматистской версии релятивизма. Такая риторика иллюстрирует основное противоречие в философии Рорти: стремление к объединению совершенно разных фигур в скроенную им концепцию «реактивной» несистематической анормальной философии как альтернативы аналитической философии.

Ключевые слова: *неопрагматизм*, *риторика*, *Рорти*, *Кун*, *эпистемолого-онтологическая иерархия*, *релятивизм*, *естественные науки*, *гуманитарное знание*.

Хотя «Философия и зеркало природы» Р. Рорти [1] считается манифестом неопрагматизма, имя Т. Куна упоминается в ней не реже, чем Т. Дьюи. Вслед за историей и методологией науки, ставшей жертвой экспансии релятивизма, которую связывают в первую очередь с именами Куна, Лакатоса, Фейерабенда, настала очередь философии. И основную роль в этом сыграла неопрагматистская риторика Рорти.

Рорти постоянно ссылается на Куна в своих многочисленных статьях, но существует и своего рода «водораздел» в этих обращениях к философии Куна, связанный с отношением Рорти к аналитической философии. На этапе написания «Философии и зеркала природы» Рорти адаптирует философию Куна к своей концепции «другой» (в сопоставлении с аналитической) философии. Здесь Рорти формирует свой имидж релятивиста, критикуя ценности аналитической философии, которую та унаследовала от канона, названного Рорти каноном Платона – Декарта – Канта. Непосредственно вслед за этим, в сборнике «Следствия прагматизма», особенно в статье «Философия в Америке сегодня», он обрушивается на аналитических философов с резкой критикой, достигая рубежа, с которого Рорти считается архиврагом аналитической философии. Между тем в весьма интересной работе «Томас Кун, скалы и законы физики», опубликованной в 1997 г., Рорти назвал себя маргинальным аналитическим философом, что осталось практически незамеченным исследователями творчества Рорти.

Релятивизм как философская доктрина по части своей известности вышел далеко за пределы узкопрофессиональных кругов. Красочное описание

¹ Исследование выполнено за счёт гранта РФФИ (проект № 19-011-00437).

этого события 1970-х гг. дал Я. Хакинг: «Журнал Nature опубликовал статью с портретами четырех негодяев: Поппера, Куна, Лакатоса и Фейерабенда. Статья возлагала вину за решение миссис Тэтчер упразднить в Англии фундаментальную науку (и публичное молчаливое согласие с этим безобразием) на ужасную философию науки, пропагандируемую этими четырьмя злодеями. Поппер пропагандировал опровержение, Кун говорил о необходимости научных революций, Лакатос учил, что наука погрязла в море аномалий, а Фейерабенд проповедовал анархию, и все эти взгляды были плохи для масс, которые должны были, как утверждает статья из Nature, восхищаться наукой и отказаться от критического мышления» [2. С. 206].

Наибольшую известность в этой четверке занимал Томас Кун. Его книга «Структура научных революций» [3] долгое время была среди наиболее читаемых в университетах США и Западной Европы, а также России. Интересным побочным обстоятельством историцистской концепции развития физики Куна оказался ее перенос в область гуманитарных дисциплин. Присущая им бездоказательность дискурса была реабилитирована апелляцией к несоизмеримости парадигм, избавлявшей подобный дискурс от любой критики, как внутренней, так и внешней.

Понятно, что Кун яростно сопротивлялся такой интерпретации своих идей, полагая ее в корне неверной. Однако так же он относился и к другим интерпретациям, поначалу критикуя их, а впоследствии практически храня молчание. Но его уязвили не столько интерпретации со стороны гуманитариев, особенно философов, сколько критика профессиональных физиков. Поскольку научные революции, анализируемые Куном, относились к истории физики, многие критики после скрупулезного анализа указывали на уязвимые места в аргументации Куна, говоря об искажении истории физики или неверной ее интерпретации. Критика с другой стороны касалась того, что, говоря о научных революциях, Кун на самом деле имел в виду революции только на примере истории физики, и неясно, в какой степени его концепцию научных революций можно распространить на другие области науки. М. Фуко в этой связи говорит о «зрелых» и «незрелых» науках, делая акцент на том, почему парадигмальные сдвиги в науке могут относиться только к «зрелым» наукам [4. Р. 54–60].

В атмосфере этих противоречивых интерпретаций очень популярных идей Куна Р. Рорти сделал удивительный шаг, перенеся концепции Куна на философию, с первого взгляда самую отдаленную и неподходящую для применения куновских идей. Однако Рорти пошел дальше Куна, Лакатоса и Фейерабенда, которые были релятивистами в отношении научных истин; Рорти стал релятивистом в отношении самого понятия истины и объективности.

Коль скоро Кун стал реперной точкой в философии (или истории) науки, Рорти, впечатленный его «освободительной» миссией, должен был выбирать уже свой путь, ориентируясь на то, куда идти после Куна. И действительно, в подготовительных материалах к симпозиуму в Принстоне 1976 г. Рорти говорит о четырех путях такого рода [5. Р. 72].

Первый состоит в возвращении к тем идеям, которые предшествовали в определенном смысле идеям Куна, а именно идеям Куайна и Витгенштейна, а также к прагматистам и идеалистам до Куна. Очевидно, Рорти имеет в виду критику аналитической программы Куайном в «Двух догмах эмпиризма» [6.

С. 45–80], да и всю холистическую доктрину, включая тезис Дюгема – Куайна о недоопределенности теории экспериментальными данными. Что касается Витгенштейна, то трудно сказать, что именно имел в виду Рорти, если только не уподобить языковые игры парадигмам Куна. Во всяком случае, историцизм Куна был чужд Витгенштейну. Прагматисты и идеалисты много чего могли сказать по поводу истории мысли, но вряд ли это было бы хоть как-то созвучно Куну, да и такое ретроградное осмысление идей Куна вряд ли могло рассчитывать на плодотворность. Скорее всего, этот путь мыслился Рорти исходя из симметрии по отношению к остальным трем.

Второй путь состоял в обращении к тем философам, которые, по выражению Рорти, хотят «перекунить» Куна, людям типа Фейерабенда [7], Макинтайра [8], Тулмина [9].

Перечисленные выше философы действительно пошли дальше Куна, распространив его историцизм на этику, рациональность, культуру. Известно, что сам Кун активно возражал против ассоциирования своей философии с методологическим анархизмом Фейерабенда, хотя именно у последнего несоизмеримость парадигм получила наиболее четкое выражение. Разрушение единых стандартов этики Макинтайром представило гораздо более убедительные примеры несоизмеримости представлений о добродетели, чем мало кому известные примеры из истории физики. Итогом всего этого движения явилась атака на саму идею рационального дискурса, которую многие философы стали считать провалившимся проектом Просвещения.

Третий путь, по Рорти, состоял в обращении к критикам философии Куна, отличавшимся технической сноровкой в области математической логики и вовсе не уверенных в том, что времена рационального дискурса ушли в прошлое. К ним относятся, например, Х. Патнэм и У. Куайн, в чьих взглядах существенную роль играют прагматистские мотивы, но у которых отсутствует интерес к историцизму.

Четвертый путь состоял в обращении к тем людям, которые полагали позитивизм и прагматизм наивными, лишенными подлинной философской культуры, понимаемой, например, как герменевтическая интерпретация культуры Ю. Хабермаса или доклассический способ понимания М. Фуко природы как чтения текста. Эти взгляды ассоциировались как традиция, восходящая к Гегелю и находящая завершение у Хайдеггера.

Сам Рорти, пребывая на распутье, отверг второй путь, апеллируя уже не к критике эпохи Просвещения, а к более глобальной традиции в философии, а именно линии «Платон – Декарт – Кант». Все остальные пути реакции на философию Куна оставляют следы в более поздней философии Рорти. Однако это были лишь следы, а основная направленность мысли Рорти зрела в сторону буквального истолкования взглядов Куна через перенос его базисных концепций на философию. Как это можно было сделать? Есть три точки соприкосновения с Куном, которые намечает Рорти в качестве отправного момента своего довольно неожиданного предприятия.

Рорти следует идее исторических периодов в развитии философии, пытаясь ассоциировать переход от одного к другому сдвигом парадигм в философии. Радикальным шагом в этом направлении является убеждение Рорти, что в истории философии нет какого-либо набора проблем, которыми занимаются философы на протяжении всей истории. Внешне сходные вопросы в разные эпохи на самом деле оказываются совсем не одинаковыми. Так, Рорти говорит о сдвиге от парадигмы Декарта – Лейбница к философии XIX в. Он убежден в том, что некоторые ветви философии решительно отличны от предыдущих. Среди мыслителей, которые порывают с прошлым, Рорти называет Витгенштейна, Дьюи, Хайдеггера. Характеристикой разрыва являются историцизм и антифундаментализм. Убедительность такого рода прощания с прошлым зависит от выбора примеров. Эта проблема стояла еще перед Куном, которого упрекали в специально подобранных примерах, т.е. в подгонке под свою концепцию. Примеры, приводимые Рорти, еще менее убедительны, чем у Куна, который говорит об отсутствии критерия выбора «правильной» теории среди равноправных альтернатив.

Для того чтобы Рорти смог опереться на Куна, ему нужно было придерживаться определенных представлений о научных теориях, а не просто о философском дискурсе. Поэтому Рорти обращается к идее недоопределенности теоретических и концептуальных каркасов, претендующих на описание реальности. Коль скоро нет способа выделить, согласно Куну, среди альтернативных каркасов «правильный» или «объективный», не существует контакта с реальностью, помимо совокупности теорий, противоречащих друг другу. Эта отчужденность теоретических каркасов усиливается концепцией теоретической нагруженности терминов, согласно которой нет резкой границы между теорией и наблюдением. Таким образом, из-под понятия реальности выбивается опора в виде наблюдений, поскольку значение утверждений в рамках каркасов и самих наблюдений изменяется при появлении новой теории. Это подрывает фундаменталистскую программу обоснования знания Канта. Такой комплекс релятивистских идей является второй точкой соприкосновения Рорти и Куна. Рорти полагает, что наибольший вклад здесь внесли П. Фейерабенд и У. Селларс [10], первый – своей концепцией несоизмеримости значений теорий, а второй - критикой понятия данности эмпирических свидетельств.

На этом пути Рорти предлагает несколько способов противопоставления в виде дихотомий. Рорти противопоставляет нелюбимую им эпистемологию, которая ищет согласия описания с данными реальности, герменевтике, где важна интерпретация («разговор», в терминологии Рорти), не требующая вердикта в отношении выбора лучшей теории. Далее, эпистемология в куновской номенклатуре становится обычным периодом в развитии философии, а герменевтика – революционным. Эпистемологический застой сменяется герменевтическим ростом и развитием, что выходит за пределы идеала обоснования знания Просвещения.

Но герменевтика не является спасением в революционный период, поскольку некоторые революционеры продвигают новые парадигмы, ограничиваясь разрушением старых. И таким разрушителям нужно найти место в картине, которую рисует Рорти. К ним относятся, например, Дьюи и Хайдеггер, противостоящие позитивизму и тому, что становится аналитической философией. В этом случае Рорти прибегает к еще одной классификации, которая состоит в разделении философов на наставителей и систематиков. Рорти был обязан этими дихотомиями, конечно же, Куну. Если Кун полагал, что сумел утвердить мнение о неадекватности аналитической философии в качестве философии науки, то Рорти хочет утвердить мнение, что аналитическая фи-

лософия не может конкурировать с континентальной в качестве адекватного осмысления истории человеческого духа. Потому что проблемы философии, опять-таки в терминологии релятивистов, являются аномалиями. Именно разрешение аномалий является целью научных революций, и философская революция ничем не хуже научной.

Хотя Рорти следовал за Куном, тот не проявлял интереса к этой интерпретации своих взглядов. Больше того, «в своих интервью [Кун] постарался дистанцироваться от «релятивизма Рорти» и от сочинений различных других его поклонников, которые пытались вплести куновские доктрины в ткань философских направлений, которые Кун считал непривлекательными» [11. P. 188].

Такая позиция Куна подтверждается и его личными взаимоотношениями с Рорти. Во второй половине 1970-х Кун был около двух лет профессором Института высших исследований в Принстоне, где вел семинар, который посещал Рорти, в то время профессор Принстонского университета. Несмотря на, казалось бы, благоприятные обстоятельства, которые должны были способствовать контактам этих двух мыслителей, оказалось, что неформальных (помимо семинара) встреч было только три. Н. Гросс говорит, отмечая этот факт, что это обычное дело для занятых профессоров в элитных университетах. Но это не совсем убедительное объяснение для столь редких контактов. Скорее всего, что Кун просто избегал такого рода встреч (не только с Рорти), будучи глубоко убежденным в искаженной ими интерпретации его результатов. Еще одним фактором в пользу этой гипотезы является правдоподобное предположение, что вряд ли Рорти отмалчивался на семинарах Куна, а также то, как Кун мог реагировать на странный для него перенос его концепции научных (именно, естественно-научных!) революций на область философии. Хотя нет прямых свидетельств о какой-либо полемике между Рорти и Куном в тот период, есть косвенные, которые хорошо переданы самим Рорти в его замечании, что, с точки зрения Куна, Рорти был большим «релятивистом», чем он, и где, с его точки зрения, Рорти сошел с рельсов [Ibidem].

Причина, по которой Кун не солидаризировался с релятивизмом Рорти, состояла в том, что для Куна научный дискурс в иерархии знания был гораздо выше гуманитарного. С точки зрения Рорти, между двумя этими дискурсами нет особенных различий, тем не менее Рорти очень редко прибегал к примерам из науки, если исключить проблематику элиминативизма. Однако в критике сайентистской направленности аналитической философии он вынужден был обсудить и «Куна, и скалы, и законы физики».

Учитывая то, что научное сообщество, в частности физики, скептически приняло концепцию Куна, да и философы науки возражали ей по многим основаниям, за Куном закрепилась репутация скорее «историка науки». Рорти же полагает, что Кун являлся выдающимся философом, перекроившим карту культуры. Главная заслуга Куна, с точки зрения Рорти, состоит в демонстрации того, что показал сам Рорти, только уже в применении к естественным наукам, что ученые не имеют специального доступа к реальности или истине. Рорти обращает внимание на то, что Кун разрушил иерархию дискурсов, которая восходит к Платону: наверху иерархии находится математика, затем естественные науки и только потом гуманитарные.

При попытке использовать философию Т. Куна для своих целей Рорти оказывается в плену ряда противоречий. Во-первых, иерархия, о которой говорит Рорти, присутствует у Куайна [12], которого Рорти записывает в прагматисты и, следовательно, в свои сторонники. Принцип иерархии заключается в иммунности теоретического каркаса соответствующей науки в отношении возможного опровергающего опыта. Математика и логика практически не подвержены ревизии опытом, а, скажем, находящаяся внизу иерархии психология подвержена частым ревизиям. Рорти объявляет Куайна прагматистом, которому близки цели Куна, но нигде не указывает противоречия между ними, когда один созидает иерархию, а другой ее разрушает.

Аналитическая философия стремится подражать естественным наукам в строгой аргументации, регламентируемой логикой. В этом смысле наука является идеалом для аналитической философии. По мысли Рорти, Кун размыл различие между строгой аргументацией и риторикой в естественных науках, введя понятие парадигмы, что значило подрыв идеала. Таким образом, Кун сделал вопрос о научном статусе философии, поставленный Кантом и в значительной степени поддержанный Расселом, устаревшим. Рассел провозгласил логику сущностью философии, фактически инициировав саму аналитическую философию. Но в ходе развития этой программы оказалось, что понятие «научной ясности и строгости» постоянно подвергается изменениям. Рорти посчитал эту тенденцию самокритикой аналитической философии, хотя сами аналитические философы считают это просто очередным этапом в понимании природы языка.

Изменения шли в обе стороны: с одной стороны, логика все больше формализовывалась и математизировалась, а с другой – шла на уступки естественному языку в учете всего его многообразия. Рорти мог бы сам оценить характер подобных изменений. Так, в 1981 г. им была опубликована не совсем «профильная» для него статья «Есть ли какие-либо проблемы с дискурсом о фикциях?» [13. Р. 110-138], где он в числе прочих обсуждает онтологический статус несуществующих объектов А. Майнонга. Практически опровергнутая Расселом с его теорией дескрипций концепция Майнонга нашла в последнюю треть XX в. крайне интересные экспликации средствами модальной логики [14]. Вряд ли Рорти следил за этими вещами, а если бы следил, то вряд ли бы назвал это самокритикой аналитической философии. Что касается уступок в пользу риторики и обыденного языка, то тут Рорти был отчасти прав, поскольку оксфордская школа обыденного языка была ретроградным движением, и Рорти, как некоторого рода летописец его со своей антологией «Лингвистический поворот» [15], верно отметил, что это может быть расценено как самокритика. Таким образом, учитывая, что сам Рорти признал закат лингвистической философии, опыт с «самокритикой» аналитической философии вряд ли может считаться успешным.

Второе противоречие состоит в неправильном толковании Рорти идей Куна, который исходил из истории физики и неохотно говорил о философии. Кун разрабатывал понятие истории науки как истории «дисциплинарной матрицы», или парадигмы. После чтения Куна Рорти понял, что аналитическая философия лишь один из способов делать философию, а не открытие того, как наставить философию на научный путь. Рорти поссорился с коллегами, потому что те считали работы Куна лишь дополнением к программе

Рассела — Карнапа. Они не считали, что эти работы имеют какие-то метафилософские следствия, в то время как Рорти сделал из работ Куна далеко идущие выводы, зачислив его в свои сторонники.

Науку Рорти понимал в буквальном прагматическом духе как способ предсказания. И поскольку философия ничего не предсказывает, Рорти отказывает философии в научности, хотя в то же время не отказывает в применимости понятия дисциплинарной матрицы к философии. Смена дисциплинарных матриц по ходу истории философии, с точки зрения Рорти, дело обычное. Аналитическая философия, согласно этому взгляду, является «тестированием новой модели» философского исследования, предложенной Расселом и Карнапом. Континентальная философия, скажем, в лице Гегеля или Хайдеггера — это другая модель философского разговора. Предпочтение модели никак не зависит от ее «научного» статуса, поскольку строгость и ясность, приписываемые аналитической философии, есть апелляция к науке, которая не обладает ничем, кроме успеха в предсказании, что неприменимо к философии.

Но более серьезным противоречием в позиции Рорти оказалось то, что он стал невольным защитником философии науки, скорее аналитического толка. Хотя слово «невольным» на самом деле тут не очень уместно, поскольку, с нашей точки зрения, именно с этого момента, как уже говорилось выше, неявные симпатии Рорти к этой философии начали давать о себе знать.

Характерным признаком науки является консенсус среди «информированных исследователей». Но поскольку философия в общем не может похвастаться такого рода поведением ее практиционеров, это еще один повод отказать философии в научности. Но дело обстоит сложнее с аналитической философией, которая претендует на большую степень консенсуса среди своих представителей, чем это принято в традиционной философии. Эти претензии Рорти считает безосновательными, поскольку они основаны на старом представлении о структуре культуры: «Чтение Куна убедило меня и многих других, что взамен отражения культуры в эпистемолого-онтологической иерархии, верх которой логический, объективный и научный, а низ – риторический, субъективный и ненаучный, нам следует отражать культуру на социологический спектр, от хаотического левого, где критерии постоянно меняются, до аккуратного правого, где они, по крайней мере, на момент фиксируются... Рассуждая в терминах такой структуры, возможно считать, что дисциплина движется влево в революционный период и вправо в устойчивые скучные периоды – периоды, которые Кун назвал «нормальной наукой» [11. P. 180].

Пользуясь таким преставлением, Рорти обосновывает разделение на аналитическую и континентальную традиции. В сопоставлении физики и философии он рисует довольно интересную, хотя и достаточно общую картину: замечает, что в XV в. обе дисциплины – аристотелевская физика и схоластическая философия – занимали крайне правое положение. В XVII в. они сдвинулись влево, когда родились ньютоновская наука и философия Нового времени. В XX в. физика ушла вправо, а философия «отчаянно пыталась сделать то же самое. Именно тогда и произошел раскол на две традиции, каждая из которых претендовала на свой внутренний критерий профессионального успеха, состоявшего для аналитической философии в приближении к науке.

Но на самом деле, с точки зрения Рорти, философия мало преуспела в этом, и успех в ней остается ближе к успеху в остальных гуманитарных науках. Такое приспособление Рорти концепции Куна к объяснению ситуации с научностью в аналитической философии позволяет представителям континентальной философии не заботиться о своей «научности», поскольку они претендуют на свои собственные парадигмы. Этот процесс атомизации парадигм в гуманитарных дисциплинах описан у С. Фуллера в его книге о Куне [16].

Но противопоставляя Куна аналитическим философам, Рорти невольно защищает их, поскольку подменяет проблему научности философии вопросом о соотношении науки и философии науки аналитического толка. Это происходит потому, что, с его точки зрения, концепции Куна противостоят два типа исследователей: во-первых, это аналитические философы-реалисты, отвергающие «релятивизм» (в качестве примера можно указать Дж. Серла [17]), и, во-вторых, ученые в области естественных наук, которые видят себя «на вершине эпистемико-онтологической иерархии и не собираются покидать ее». Рорти критикует обоих, но критика последних фактически ведется в пользу философов науки, которые не отождествляют себя с учеными в области естественных наук. Рорти ошибочно полагает, что стремление уподобить методы философии естественно-научным методам означает такое отождествление. На самом деле, философы науки аналитического толка отстаивают свою автономию от естественных наук, поскольку ученые-естественники полагают, что они все знают о философии просто благодаря тому, что они просто ученые, и не вступают в дебаты, которые ведутся философами науки. Именно эту позицию ученых-естественников критикует Рорти, фактически оправдывая тех самых аналитических философов, которых он хотел бы критиковать. Эта противоречивая позиция Рорти может быть объяснима тем, что он борется «на два фронта» – защищая философию как автономную область исследований вообще и защищая в этой философии тех, кто не хочет ассоциировать себя с наукой. Но ясно, что аргументация в пользу первой позиции может по своей значимости перевесить аргументацию в пользу второй, поскольку противопоставление науки и философии является более важным вопросом, чем противопоставление направлений внутри философии.

В качестве примера ученого, который не считает философию достойной внимания, Рорти выбрал Стивена Вайнберга, лауреата Нобелевской премии, который считает, что «утверждения о законах физики находятся в однооднозначном отношении с аспектами объективной реальности... [и что] объективная природа научного знания отрицается... влиятельными философами Ричардом Рорти и Томасом Куном, но она принимается как само собой разумеющееся большей частью ученых-естественников» [11. Р. 183].

Рорти обвиняет Вайнберга в напускании тумана: «Он [Вайнберг] разбрасывается терминами (например, «объективная реальность», «одно-однозначное соответствие»), которые являются предметом бесконечных философских размышлений и споров, как будто простой читатель превосходно знает, что они означают и могут позволить себе игнорировать утонченность людей, которые провели свою жизнь в размышлениях над смыслом этих понятий... Я сомневаюсь, что Вайнберг имеет какое-то более ясное представление о «кумулятивности» [критикуемой Куном], чем об «одно-однозначном соот-

ветствии». Но его намерения ясны: держать естественные науки наверху культурной стадной иерархии» [11. Р. 183–184].

Вайнберг, как и многие другие ученые, просто не понимают характера поднимаемых философами вопросов. Вступать в спор с Куном или Рорти – значит размышлять над этими вопросами. Если они хотят устранить эпистемолого-онтологическую иерархию, то надо говорить именно об этом, а не просто быть физиком.

Такая резкая реакция, направленная против некомпетентных мнений ученых-естественников о философских проблемах, не вызвала поддержки самого Куна: «Кун был смущен моей защитой его» [Ibid. Р. 187]. Кун, видимо, считал, что его разногласия с физиками — это внутренний вопрос, куда не должны вмешиваться такие философы, как Рорти. Здесь Рорти делает чрезвычайно важное признание, что имеется в виду «такой философ, как он (разве что маргинально-аналитического вида — со многими литературными интересами, с любовью к метафорам и с другими симптомами интеллектуальной бессмыслицы)» [Ibid. Р. 187–188].

Рорти объясняет смущение Куна тем, что грандиозность современной науки настолько довлела над Куном, что предпринятые им попытки отказаться от платонистской иерархии были связаны с «реверансами» в адрес естественных наук. Естественно, что любой философ науки делает подобные реверансы, тогда его отход ОТ платонистской иерархии непоследовательностью. Вопрос, который стоит тогда перед аналитическим философом, заключается в том, готов ли он пожертвовать этой непоследовательностью или даже противоречивостью в пользу практически абсурдной последовательной позиции отрицания важности науки. Мало кто на это идет, и в этом отношении Рорти, называя себя маргинальным аналитическим философом, все-таки делает реверанс в сторону естественных наук. В противном случае зачем бы он признавался в маргинальности подобного рода.

Эпистемолого-онтологическая иерархия была четко выражена у Куайна с его градацией наук с точки зрения их иммунности от новых аномалий. Хотя идея этой иммунности была оформлена как тезис Дюгема - Куайна, она откровенно носит прагматистские одежды, поскольку явно выходит за пределы холизма Куайна. В определенном отношении и Кун исповедует эту эпистемико-онтологическую иерархию, отдав предпочтение в своей картине стоящей наверху иерархии физике. Но в целом, разрушая идею рациональности в обосновании науки, Кун объективно отвергает эту иерархию. Это просто конфликтная ситуация, которая не поддается простому решению. В условиях этого противоречия Рорти идет на компромисс, руководствуясь желанием заполучить себе в союзники как прагматиста Куайна, так и релятивиста Куна. Но в случае Куайна его прагматизм не гарантирует того, что аналитическая составляющая его философии является менее важной. Наличие подобного рода нестыковок говорит о том, что Рорти на данном этапе своей эволюции не имеет четкой позиции в отношении научной составляющей аналитической философии. В частности, Рорти несколько преувеличил свою близость к Куну, проигнорировав разрыв между гуманитарным и естественно-научным знанием, который был чужд Куну.

Защита философов науки от самодовольства ученых-естественников является для Рорти способом отстаивания автономии философии. Это в высшей степени странное занятие для него, исходя из предсказанной им фактически «смерти философии» в «Философии и зеркале природы». Удивительно, но этого обстоятельства большинство исследователей творчества Рорти не замечают, хотя в определенном смысле это настоящий разворот в сторону аналитической философии. Рорти облекает этот поворот в более мягкие формы, говоря, что дело не в том, что философия должна быть научной, а том, что аналитическая философия выступает тут как вполне легитимный путь «делания» философии, хотя она и не становится при этом научной. Но он не поясняет, что же является сутью этого другого «способа» делания науки, кроме как уподобления философского метода научному методу.

Вопрос об эпистемолого-онтологической иерархии внутри науки как для Куна, так и для Рорти переносится в более широкие сферы: где в этой иерархии место философии или культуры? Это трудный вопрос для Куайна, который исповедует непрерывность философии и науки и в то же время устанавливает иерархию внутри науки. Но этот вопрос должен быть еще более трудным, скажем, для Вайнберга, потому что именно идея такой иерархии нужна ему для объявления некоторых вещей объективными, т.е. стоящими на более высокой ступени иерархии. В ответ на намерение Вайнберга ставить естественные науки на вершине иерархии, Рорти говорит следующее: «...я не хочу приписывать науке более низкое положение в этой системе куриных насестов. Что я хочу, так это прекратить использование таких терминов, как «реальный», «объективный», для конструирования такого порядка [11. Р. 338].

Цена такого отказа велика, поскольку она показывает, что релятивизм Рорти отнюдь не больше, чем релятивизм Куна, о чем свидетельствует признание Куна как раз в духе философии Рорти: «...осознают это индивидуальные практиционеры [науки] или нет, но они подготовлены для решения тонких загадок и вознаграждены в случае успеха — будь то инструментальные, теоретические, логические или математические загадки — как интерфейса между их феноменологическим миром и представлениями своего сообщества о нем» [18. Р. 338].

Признание мимоходом Ричардом Рорти себя «философом маргинально аналитического вида — со многими литературными интересами, с любовью к метафорам и с другими симптомами интеллектуальной бессмыслицы» — иллюстрирует основное противоречие в философии Рорти: стремление к объединению совершенно разных фигур в скроенную им концепцию «реактивной» несистематической анормальной философии как альтернативы аналитической философии. Зачисление релятивиста Куна в союзники натыкается на непреодолимую приверженность последнего к эпистемолого-онтологической иерархии, тотально отрицаемой Рорти.

Литература

- 1. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск: Сиб. универ. изд-во, 1997.
- 2. Хакинг Я. Среднеевропейский фарс // Целищев В.В. Философский переписчик. Новосибирск, 2014.
 - 3. Кун Т. Структура научных революций. М.: АСТ, 2003.

- 4. *Hacking I.* Michel Foucault's Immature Science // Historical Ontology. London: Harper University Press, 2002. P. 54–60.
- 5. Gross N. Richard Rorty: The Making of an American Philosopher. Chicago: Chicago University Press, 2008.
 - 6. Куайн У. Две догмы эмпиризма // С точки зрения логики. М., 2010. С. 45-80.
 - 7. Фейерабенд П. Против метода: Очерк анархистской теории познания. М.: АСТ. 2007.
 - 8. Макинтайр А. После добродетели. М.: Академический Проект, 2000.
 - 9. Тулмин С. Человеческое понимание. М.: Прогресс, 1984.
- 10. Sellars W. Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge: Harvard University Press, 1997.
- 11. Rorty R. Thomas Kuhn, Rocks, and the Laws of Physics // Philosophy and Social Hopes. London: Penguin Books, 1999. P. 174–189.
 - 12. Quine W., Ullian J.S. Web of Belief. New York: Macgraw-Hill, 1978.
- 13. Rorty R. Is There a Problem about Fictional Discourse? // Rorty R. Consequence of Pragmatism. Minneapolis: Minnesota University Press, 1982. P. 110–138.
 - 14. Jacquette D. Alexius Meinong, the Shepherd of Non-Being. Dordrecht: Springer, 2015.
- 15. The Linguistic Turn: Recent Essay in Philosophical Method / ed. R. Rorty. Chicago: The University of Chicago Press, 1967.
- 16. Fuller S. Thomas Kuhn. Philosophical History for Our Time. Chicago: Chicago University Press, 2000.
 - 17. Сёрл Дж. Рациональность в действии. М.: Прогресс-Традиция, 2004.
- 18. Kuhn T. Afterwords // World Change: Thomas Kuhn and the Nature of Science / ed. P. Horwich. Cambridge: MIT Press, 1993.

Oksana I. Tselishcheva, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: oxanatse@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 72–83.

DOI: 10.17223/1998863X/48/7

RORTY'S NEO-PRAGMATIST RHETORIC IN VIEWING KUHN'S RELATIVISM

Keywords: neopragmatism; rhetoric, Rorty, Kuhn; epistemological ontological hierarchy; relativism; natural sciences, humanitarian knowledge.

The article deals with Rorty's non-pragmatist position in relation to the relativistic history of science represented by Kuhn in the concept of the structure of scientific revolutions. The transfer of the basic ingredients of Kuhn's methodology of science to philosophy required Rorty to introduce a new rhetoric for the pragmatic version of relativism. Central to this rhetoric is the conception of the fallacy of the epistemic-ontological hierarchy inherent in Kuhn's concept. In this hierarchy, the natural sciences occupy a higher position in knowledge than humanitarian studies of the nature of society and man. The neo-pragmatist rhetoric introduced by Rorty has two goals: on the one hand, to discredit the epistemic-ontological hierarchy by presenting his vision of the development of the natural sciences in the spirit of extreme relativism; on the other hand, to get close to Kuhn's relativism as a paradigm shift. It is shown, firstly, that Kuhn did not accept the identification of his concept with Rorty's relativism, and secondly, that Rorty's non-pragmatist philosophy requires its autonomy from the natural sciences, which reinforces the contradictions between Rorty and Kuhn. In trying to overcome these contradictions, Rorty calls himself a philosopher of "the only marginally 'analytical' kind - the kind with a lot of literary interests, a fondness for metaphor, and other symptoms of intellectual squishiness." This rhetoric illustrates the basic contradiction in Rorty's philosophy: the desire to unite completely different figures into the concept of "reactive" non-systematic abnormal philosophy as an alternative to the analytic philosophy he tailored.

References

- 1. Rorty, R. (1997) *Filosofiya i zerkalo prirody* [Philosophy and the Mirrior of Nature]. Translated from English by V. Tselishchev. Novosibirsk: Sibirskoe universitetskoe izdatel'stvo.
- 2. Hacking, I. (2014) Sredneevropeyskiy fars [Middle European farce]. In: Tselishchev, V.V. Filosofskiy perepischik [Philosophical copyist]. Novosibirsk: Omega-Print, 2014.

- 3. Kuhn, T. (2003) *Struktura nauchnykh revolyutsiy* [The Structure of Scientific Revolutions]. Translated from English by I.Z. Naletov, Moscow: AST.
 - 4. Hacking, I. (2002) Historical Ontology. London: Harper University Press. pp. 54–60.
- 5. Gross, N. (2008) Richard Rorty: The Making of an American Philosopher. Chicago: The University of Chicago Press.
- 6. Quine, W. (2010) *S tochki zreniya logiki* [From a Logical Point of View]. Translated rom English by V.A. Ladov. Moscow: Kanon+. pp. 45–80.
- 7. Feyerabend, P. (2007) *Protiv metoda. Ocherk anarhistskoy teorii poznaniya* [Against the method. Sketch of the anarchist theory of knowledge]. Translated from English. Moscow: AST.
- 8. MacIntyre, A. (2000) *Posle dobrodeteli* [After Virtue]. Translated from English. Moscow: Akademicheskiy Proekt.
- 9. Toulmin, S. (1984) *Chelovecheskoe ponimanie* [Human understanding]. Translated from English by Z.V. Kaganova. Moscow: Progress.
- Sellars, W. (1997) Empiricism and the Philosophy of Mind. Cambridge: Harvard University Press.
 - 11. Rorty, R. (1999) Philosophy and Social Hopes. London: Penguin Books. pp. 174–189.
 - 12. Quine, W. & Ullian, J.S. (1978 Web of Belief. New York: Macgraw-Hill.
- 13. Rorty, R. (1982) Consequence of Pragmatism. Minneapolis: Minnesota University Press. pp. 110-138.
 - 14. Jacquette, D. (2015) Alexius Meinong, the Shepherd of Non-Being. Dordrecht: Springer.
- 15. Rorty, R. (ed.) (1967) *The Linguistic Turn: Recent Essay in Philosophical Method.* Chicago: The University of Chicago Press.
- 16. Fuller, S. (2000) Thomas Kuhn. Philosophical History for Our Time. Chicago: Chicago University Press.
- 17. Searle, J. (2004) *Ratsional'nost' v deystvii* [Rationality in Action]. Translated from English by A. Kolodiy, E. Rumyantseva. Moscow: Progress-Traditsiya.
- 18. Kuhn, T. (1993) Afterwords. In: Horwich, P. (ed.) World Change: Thomas Kuhn and the Nature of Science. Cambridge: MIT Press.

УДК 165.62

DOI: 10.17223/1998863X/48/8

А.В. Шуталева

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА СУБЪЕКТИВНОСТИ В НЕЙРОФЕНОМЕНОЛОГИИ Ф. ВАРЕЛЫ

В данной статье анализируется исследование фундаментальной проблемы субъективности в единстве с ее биологическими и физическими основаниями в нейрофеноменологической концепции Ф. Варелы. Нейрофеноменологический аспект изучения сознания позволяет представить отношения опыта и телесной самости как основы понимания сознания и концепцию воплощенного сознания как способ решения трудной проблемы сознания.

Ключевые слова: нейрофеноменология, субъективность, воплощенное сознание, трудная проблема сознания.

Введение

Формирование с 1970-х гг. общего поля проблем, объединившего психологию, нейронауку, лингвистику, информатику, теорию искусственного интеллекта, философию разума, антропологию, биологию, физику, математику, привело к появлению науки, которой Кристофер Лонгует-Хиггинс в 1973 г. дал название «когнитивная наука», или «когнитивистика». Когнитивная наука институционально обособлена, однако это не настолько теоретически обоснованная область, как физика или биология. Когнитивная наука включает в себя множество конкурирующих исследовательских программ, одной из которых является нейрофеноменология. В рамках нейрофеноменологии феноменология и экспериментальная когнитивная наука рассматриваются как взаимодополняющие способы исследования природы сознания и субъективности и их связи с мозгом и телом.

Нейрофеноменология развивается в 90-х гг. XX в. в ряде работ Чарльза Лафлина, Франсиско Варелы и др. Термин «нейрофеноменология» был введен Ч. Лафлиным в 1988 г. [1]. Для Ч. Лафлина нейрофеноменология является методом определения отношений между сознанием и нервной системой в сочетании методов феноменологии и нейронауки [2. Р. 265]. Дальнейшие исследования Ч. Лафлина и Ф. Варелы привели к формированию двух направлений в нейрофеноменологии – когнитивной нейрофеноменологи и культурной нейрофеноменологии [Ibid. Р. 264]. Если Ч. Лафлин, как и его последователи, осуществлял исследования в области культуры и религии, то Ф. Варела разрабатывал когнитивную версию нейрофеноменологии, предлагая натурализированную версию эпистемологии. Ф. Варела был исследователем биологической основы субъективности и опыта сознания, позиционируя себя как биолог, который интересуется биологическими корнями когнитивных явлений [3].

Лафлин опирается на теорию Э. Гуссерля, отмечая, что такие два направления исследования, как открытие структур собственной субъективности и изучение исторических и культурных влияний на эту субъективность,

являются неполными друг без друга. То, что Ч. Лафлин называет культурной нейрофеноменологией, основывается на интеграции обоих движений [2. Р. 271]. Ф. Варела обращался к феноменологии как источнику вдохновения для нейробиологических исследований сознания, он не был последователем ортодоксальной философии Э. Гуссерля и опирался на такие фундаментальные представления Э. Гусерля, как направленность психических состояний, структура психических состояний и структура сознания. Представление о воплощенности разума в биологическом теле, который действует в движущемся теле, а не на уровне чистого познания, т.е. абстрактном ментальном уровне, разрабатывается Ф. Варелой на основе феноменологических работ Э. Гуссерля [4, 5] и трудов М. Мерло-Понти [6] и Ж.-П. Сартра [7]. Представления Ф. Варелы о «воплощенном познании» (embodied cognition) предполагают, что в основе возможности опыта сознания лежит понимание тела [8]. В книге «Воплощенный разум» представлено понимание человека как переживающего глубокую связь с самими собой в собственной воплощенности и активности в мире. Это позволяет Ф. Вареле представить воплощенность как фундаментальное свойство сознания. Вслед за Мерло-Понти он обращается к понятию «воплощение» как имеющему двойной смысл: воплощение охватывает тело как в качестве живой, эмпирической структуры, так и в качестве контекста или среды когнитивных механизмов [Ibid. P. XVI]. По мнению Ф. Варелы, эмпирическое воплощение сознания осуществляется во взаимодействии организма и мира как предрефлексивное переживание физической субъективности.

Проблема отношений между физической системой индивида и его субъективными свойствами является одной из актуальных для современной когнитивной науки. В рамках функциональных и нейроредукционистских исследований сознание понимается как область субъективного опыта и устраняется в процессе самого объяснения. С точки зрения Ф. Варелы, связь между объективной и субъективной сферами не может быть изучена без сознания. Сознание является для Ф. Варелы действительным объектом изучения, поэтому он считает, что в объяснительной теории должны учитываться феноменальные свойства сознания [3, 9]. В теоретико-методологическом основании нейрофеноменологии Ф. Варелы сплетаются идеи феноменологии Э. Гуссерля, философии Мерло-Понти, современной нейронауки и древней практики медитации, что обусловливает оригинальность данной концепции при философском исследовании проблем познания и сознания.

Опыт и телесная самость как основа понимания сознания

Ф. Варела исследует единственную связь между разумом и сознанием, которая кажется ему очевидной и естественной, – к самой структуре опыта. Ф. Варела считает, что для ученого, проводящего когнитивные исследования и занимающего феноменологическую позицию, характерен взгляд на сознание как пробуждающееся в мире: «Мы размышляем о мире, который не создан, но найден, и все же это также наша структура, которая позволяет нам размышлять над этим миром. Таким образом, в отражении мы оказываемся в круге: мы находимся в мире, который, кажется, присутствует до начала размышления, но этот мир не отделен от нас» [8. Р. 3].

Для Ф. Варелы познание происходит только в контексте чувства сознания и интуиции [9]. Когнитивная деятельность системы обозначается им как основание несоизмеримой разницы между окружающей средой, в которой наблюдается система, и миром, в пределах которого система работает [10. Р. 87]. При этом отмечается парадоксальность когнитивной деятельности системы. С одной стороны, действие, которое порождает мир, является попыткой восстановить связь с окружающей средой, которая бросает вызов внутренней согласованности через столкновения и возмущения. С другой стороны, такие действия демаркируют и отделяют систему от этой среды, создавая особый мир [Ibidem].

Опыт понимается Варелой как феноменальный опыт, поскольку познание осуществляется с субъективной точки зрения. Интуитивное осознание разума, по Вареле, связано с субъективностью и сознанием. Проблема сознания не может рассматриваться как независимая от самой личности. Процессы, имеющие решающее значение для сознания, пересекаются между отделами мозга и тела, а не ограничиваются нейронными событиями в голове [11. Р. 422]. Понятие организма представлено Варелой диалектически, так как живая система превращается в сущность, отличную от окружающей ее среды, посредством процесса, который порождает мир и организм в мире [10. Р. 79]. Фактически происходит указание на то, что связь между организмом и «я» оказывается переплетением двух диалектик: одна связана с механизмом идентичности, другая – с образом отношения организма с миром. Варела отмечает, что многие биологи постарались бы избежать понятия «я», однако для него проблема индивидуальности начинается с предположения, что живая система превращается в отдельную сущность. Проблема конституирования автономного «я» и выявления способа его существования лежит в основе как биологических, так и познавательных исследований. «Я», сознание, является виртуальной точкой, процесс локализации и установления координат которой проблематичен. Однако включение «я» в объяснительную систему для Ф. Варелы необходимо, так как сознание посредством механизма идентичности обеспечивает возможность взаимодействия организма с окружающей средой.

Данные современной клеточной биологии позволяют Ф. Вареле представить автопоэтическую систему как живую организацию, постоянно производящую компоненты, которые ее определяют и в то же время реализуют ее как конкретное единство в пространстве и времени. Варела предлагает следующее определение: «аутопоэтическая система организована (определяется как единство) как сеть процессов производства (синтез и разрушение) компонентов, так что эти компоненты: (і) непрерывно регенерируют и реализуют систему, которая их производит, и (іі) составляют систему как отличимое единство в той области, в которой они существуют» [Ibid. P. 81]. Для Варелы понимание живого и познающего предполагает обращение к понятиям «окружающая среда» и «мир». Легкость, с которой возможно объединить мир живого организма с окружающей средой, может привести к заблуждению, так как теряются смыслы, возникающие в перспективе деятельности организма. Идентичность аутопоэтической системы достигается во взаимосвязи и посредством противостояния с окружающей средой. Встреча аутопоэтической системы со средой может реализоваться как возмущение, потрясение, установление связи, при этом сама система относится к среде с позиции, которая не обусловлена характером встреч [10. Р. 86].

Используя инструменты теории динамических систем, Э. Томпсон и Ф. Варела предполагают: (1) между нейронными событиями и сознательной активностью могут быть двусторонние или взаимные отношения в силу их «возникновения» в сложных системах; (2) процессы, которые имеют решающее значение для сознания, протекают через объединение мозг – тело – мир, а не сводятся к связанным с мозгом нервным событиям [11. Р. 418]. С точки зрения Э. Томпсона и Ф. Варелы, существующие подходы к нервным коррелятам сознания учитывают одностороннюю причинно-объяснительную взаимосвязь между внутренними системами нервных представлений и содержанием сознания, что является недостаточным. Предлагаемый Э. Томпсоном и Ф. Варелой подход позволяет обсуждать теории и гипотезы о двусторонней взаимосвязи между воплощенными сознательными состояниями и локальной активностью нейронов.

Воплощенное сознание как способ решения трудной проблемы сознания

- Ф. Варела ищет решение так называемой трудной проблемы сознания. Классической формулировкой трудной проблемы сознания является формулировка Т. Нагеля, который задается вопросом, как объективный физический процесс может быть достаточным или конститутивным для субъективного характера сознательного психического процесса [12. Р. 445-446]. Д. Чалмерс формулирует трудную проблему сознания как вопрос о возможности порождения феноменов субъективного восприятия такой физической системой, как мозг. Проблемой сознания, по Чалмерсу, является вопрос опыта, а именно: почему у человека есть опыт, когда его когнитивные системы участвуют в обработке информации, например визуальной или слуховой [13]. Проблемность постановки этого вопроса заключается во введении в картезианскую структуру «ментальной» и «физической» составляющих, что приводит к невозможности найти адекватный ответ на данный вопрос. Вместо этого проект нейрофеноменологии Ф. Варелы предполагает поиск явления, которое выходит за рамки разрыва «ментального» и «физического». Таким феноменом являются «жизнь», «живое существо» в биологической теории и «субъективность» в феноменологической традиции. Ф. Варела осуществляет переформулировку трудной проблемы сознания в контексте развития им представлений о «радикальном воплощении» [11].
- Э. Томпсон и Ф. Варела исходят из представлений о взаимозависимых причинно-объяснительных отношениях между нервными событиями и сознательными событиями. Сознательные события рассматриваются учеными как параметры порядка крупномасштабной динамики мозга. Жизнь сознания не ограничивается нервными событиями в мозге. Решающее значение для понимания сознания имеют процессы, которые пересекают подразделения мозга и тела [Ibid. Р. 421–422]. Обратимся к рассуждениям Э. Томпсона и Ф. Варелы для прояснения данного утверждения. Ссылаясь на исследования [14], Э. Томпсон и Ф. Варела описывают нервную систему, тело и окружающую среду как высокоструктурированные динамические системы, связанные друг с другом на нескольких уровнях. Нервная система, тело и окружающая среда

являются настолько взаимосвязанными биологически, экологически и социально, что объясняющая концепция должна учитывать их как встроенные системы, а не как внешние относительно друг друга.

Поэтому область конституции сознания не сводится только к мозговым нейронным событиям [11. Р. 425]. Ф. Варела для описания связи между нейронной динамикой и сознательно расположенными агентами использует концепцию «циклов операции». Данная концепция описана Э. Томпсоном и Ф. Варелой в терминах участия нейронных процессов в «циклах операции», которые составляют жизнь агента. Для высших приматов необходимо различать три типа циклов: (1) циклы организмической регуляции всего тела; (2) циклы сенсомоторной связи между организмом и окружающей средой; (3) циклы интерсубъективного взаимодействия, включающие признание интенциональности действий и лингвистической коммуникации (у людей) [Ibid. Р. 424].

Взаимодействия между мозгом и телом многочисленны, они существуют на биохимических уровнях и наиболее ярко представлены в молекулярных компонентах эндокринной, иммунной и нервной систем. Целостность всего организма зависит от его многоуровневых регуляторных циклов, в которые включены мозг и тело. Одними из процессов, которые влияют на чувство собственного тела индивидом, являются циклы сенсомоторной связи с окружающей средой. То, что ощущает организм, зависит от того, как он движется. Но верно и обратное: то, как движется организм, является функцией того, что он чувствует. Субстратами этих циклов выступают сенсомоторные пути тела, которые опосредуются в головном мозге несколькими неокортикальными областями и подкорковыми структурами [Ibidem]. Отметим, что Робин Данбар, ученый, работающий в области антропологии и эволюционной психологии, обнаружил, что размер неокортикальной области мозга человека линейно взаимосвязан с количеством поддерживаемых им социальных связей [15]. Э. Томпсон и Ф. Варела обращают внимание на данный факт и описывают цикл, благодаря которому человек включен в окружающую среду. Координация сенсорных и моторных поверхностей представлена учеными как определяемая переходными нейронными сборками, где роль сенсомоторной связи состоит в ограничении окружающей среды и модуляции нейронной динамики.

Интерсубъективность, согласно данной теории, включает различные формы сенсомоторной связи. Для обоснования своей позиции Ф. Варела обращается к представлениям о «зеркальных нейронах», обнаруженных в исследованиях премоторной коры у обезьян. Зеркальные нейроны проявляют одинаковую активность, когда животное само совершает определенные движения, но тогда, когда оно наблюдает за другим животным, выполняющим аналогичные действия. Ссылаясь на исследования системы зеркальных нейронов для распознавания жестов у людей [16], Э. Томпсон и Ф. Варела предполагают, что она могла быть частью нейронной основы для развития языка [11. Р. 424].

Томсон и Варела отрицают такое понятие, как минимальный внутренний нейронный коррелятор, чьи внутренние свойства являются достаточными для создания сознательного опыта [Ibid. P. 425]. Идея воплощенного и внедренного в окружающую среду сознания приводит Э. Томпсона и Ф. Варелу к гипотезе, что сознание зависит от того, как динамика мозга встроена в соматический и экологический контекст жизни живого организма.

Выводы

Основополагающей проблемой разработки теоретико-методологических принципов нейрофеноменологии Ф. Варелой является фундаментальная проблема субъективности как проблема понимания возникновения субъективности в живом существе. Связь между организмом и сознанием предстает как диалектическое переплетение идентичности сознания и образа отношения сознания с миром, сформированного в сознании. Сознание рассматривается Ф. Варелой как нелокализованная виртуальная точка, режим идентичности которой позволяет осуществлять взаимодействие сознания и мира. Таким образом, проблема конституирования автономного сознания и выявления способа его существования представлена Ф. Варелой как учитывающая биологический и познавательный аспекты в ее решении.

Литература

- 1. Laughlin Ch.D. The prefrontosensorial polarity principle: Toward a neurophenomenological theory of intentionality // Rivista di Biologia / Biology Forum. 1988. 81 (2). P. 243–260.
- 2. Laughlin Ch.D., Rock A.J. Neurophenomenology: Enhancing the Experimental and Cross-Cultural Study of Brain and Experience // Wiley-Blackwell Handbook of Transpersonal Psychology / Ed. H.L. Friedman, G. Hartelius, Wiley, 2013. P. 261–280. DOI: 10.1002/9781118591277.ch14
- 3. Varela F. Neurophenomenology: A Methodological remedy to the hard problem // Journal of Consciousness Studies. 1996. 3 (4). P. 330–349.
 - 4. Husserl E. Cartesian Meditations / Trans. D. Cairns. Dordrecht: Kluwer, 1988 [1931].
- 5. Husserl E. Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology / Trans. F. Kersten. The Hague: Nijhoff, 1982
- 6. Merleau-Ponty M. Phenomenology of Perception / Trans. C. Smith. London : Routledge and Kegan Paul, 1962.
- 7. Sartre J.P. Being and Nothingness / Trans. H.E. Barnes. New York: Philosophical Library, 1956
- 8. Varela F., Thompson E., Rosch E. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, MA: MIT Press, 1991.
 - 9. Varela F. Not one, not two // CoEvolution Quarterly. 1976. 12. P. 62–67.
- 10. Varela F. Organism: A meshwork of selfless selves // TAUBER (ed) Organism and the Origin of Self. Dordrecht Kluwer. 1991. P. 79–107.
- 11. *Thompson E., Varela F.J.* Radical embodiment: neural dynamics and consciousness // TRENDS in Cognitive Sciences. 2001. 5 (10). P. 418–425.
 - 12. Nagel T. What Is It Like to Be a Bat? // The Philosophical Review. 1974. 83 (4). P. 435–450.
- 13. Chalmers D.J. Facing Up to the Problem of Consciousness. Journal of Consciousness Studies. 1995. 2 (3). P. 200–219.
- 14. Chiel H., Beer R. The brain has a body: adaptive behavior emerges from interactions of nervous system, body and environment // Trends in neurosciences. 1997. 20. P. 553–557.
- 15. *Dunbar R*. How many friends does one person need? Dunbar's number and other evolutionnary quirks. London: Faber and Faber, 2010.
- 16. Rizzolatti G., Arbib M. Language within our grasp // Trends in neurosciences. 1998. 21. P. 188–194.
- Anna V. Shutaleva, Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: ashutaleva@yandex.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 84–90. DOI: 10.17223/1998863X/48/8

THE FUNDAMENTAL PROBLEM OF SUBJECTIVITY IN FRANCISCO VARELA'S NEUROPHENOMENOLOGY

Keywords: neurophenomenology; subjectivity; embodied consciousness; difficult problem of consciousness.

Neurophenomenology is one of the programs of cognitive science. The history of the onset of neurophenomenology and its difference in cognitive neurophenomenology (Francisco Varela) and cultural neurophenomenology (Charles Laughlin) are briefly reviewed. The peculiarity of cognitive neurophenomenology is that, within its framework, phenomenology and experimental cognitive science are considered as complementary ways of investigating the nature of consciousness and subjectivity, and their connection with the brain and body. The aim of this article is to analyse the study of the fundamental problem of subjectivity in unity with its biological and physical grounds in Varela's neurophenomenological concept. The fundamental problem of subjectivity is presented as a problem of understanding the emergence of living subjectivity in a living being, including the mutual formation of a living being through living subjectivity. The neurophenomenological aspect of the study of consciousness allows representing the relationship of experience and bodily self as a basis for understanding consciousness, and the concept of embodied consciousness as a way of solving the difficult problem of consciousness. The problem of the relationship between the physical system of an individual and their subjective properties is topical for modern cognitive science because, within the framework of functional and neuro-reductionist consciousness, consciousness as a field of subjective experience is eliminated in the process of explanation. In Varela's terms, the connection between the objective and subjective spheres cannot be studied without consciousness. Consciousness is a real object of study for Varela; therefore, the phenomenal properties of consciousness must be taken into account in the explanatory theory. The problem of constituting an autonomous consciousness and revealing the way it exists is connected with biological and cognitive aspects since consciousness can simultaneously be a non-localized virtual point and provide an identity regime that allows for the interaction of consciousness and the world.

References

- 1. Laughlin, Ch.D. (1988) The prefrontosensorial polarity principle: Toward a neurophenomenological theory of intentionality. *Rivista di Biologia / Biology Forum.* 81(2). pp. 243–260.
- 2. Laughlin, Ch.D. & Rock, A.J. (2013) Neurophenomenology: Enhancing the Experimental and Cross-Cultural Study of Brain and Experience. In: Friedman, H.L. & Hartelius, G. (eds) *Wiley-Blackwell Handbook of Transpersonal Psychology*. Wiley-Blackwell. pp. 261–280. DOI: 10.1002/9781118591277.ch14
- 3. Varela, F. (1996) Neurophenomenology: A Methodological remedy to the hard problem. *Journal of Consciousness Studies*. 3(4). pp. 330–349.
 - 4. Husserl, E. (1988) Cartesian Meditations. Translated by D. Cairns. Dordrecht: Kluwer.
- 5. Husserl, E. (1982) *Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to a Phenomenological Philosophy First Book: General Introduction to a Pure Phenomenology.* Translated by F. Kersten. The Hague: Nijhoff.
- 6. Merleau-Ponty, M. (1962) *Phenomenology of Perception*. Translated by C. Smith. London: Routledge and Kegan Paul.
- 7. Sartre, J.P. (1956) *Being and Nothingness*. Translated by H.E. Barnes. New York: Philosophical Library.
- 8. Varela, F., Thompson, E. & Rosch, E. (1991) *The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge, MA: MIT Press.
 - 9. Varela, F. (1976) Not one, not two. CoEvolution Quarterly. 12. pp. 62–67.
- 10. Varela, F. (1991) Organism: A meshwork of selfless selves. In: Tauber, A.I. (ed.) *Organism and the Origin of Self.* Dordrecht: Kluwer. pp. 79–107.
- 11. Thompson, E. & Varela, F.J. (2001) Radical embodiment: neural dynamics and consciousness. *TRENDS in Cognitive Sciences*. 5(10). pp. 418–425. DOI: 10.1016/S1364-6613(00)01750-2
- 12. Nagel, T. (1974) What Is It Like to Be a Bat? *The Philosophical Review*. 83(4). pp. 435–450. DOI: 10.1016/j.concog.2007.05.002
- 13. Chalmers, D.J. (1995) Facing Up to the Problem of Consciousness. *Journal of Consciousness Studies*. 2(3). pp. 200–219.
- 14. Chiel, H. & Beer, R. (1997) The brain has a body: adaptive behavior emerges from interactions of nervous system, body and environment. *Trends in Neurosciences*. 20. pp. 553–557.
- 15. Dunbar, R. (2010) How many friends does one person need?: Dunbar's number and other evolutionary quirks. London: Faber and Faber.
- 16. Rizzolatti, G. & Arbib, M. (1998) Language within our grasp. *Trends in Neurosciences*. 21. pp. 188–194.

СОЦИОЛОГИЯ

УДК 316.64 + 364.122.8 DOI: 10.17223/1998863X/48/9

Р.А. Быков, Е.Ю. Быкова

СОЦИАЛЬНАЯ АПАТИЯ КАК ФОРМА АДАПТАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ К НЕГАТИВНЫМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ Φ AKTOPAM 1

Стагнация теоретического осмысления проблемы выгорания современных учителей и отсутствие эффективных способов ее преодоления обусловливают необходимость более широкого взгляда на негативное психосоциальное самочувствие учителей. На основании исследования, проведенного среди педагогов Томска методом фокусгруппового интервью, предлагается использовать концепцию социальной апатии для объяснения способов адаптации учителей к негативным институциональным и социетальным условиям.

Ключевые слова: социальная апатия, ценности учителей, установки, институциональные факторы, выгорание учителей.

Проблема исследования

В исследовательской литературе проблемы современной школы (такие как снижение образовательных результатов и текучесть педагогических кадров) принято связывать с распространением среди учителей различных неблагоприятных состояний, связанных с особенностями их психосоциального самочувствия. Превалирующий в современной научной литературе психолого-ориентированный подход к описанию и поиску причин социальных и психоэмоциональных трудностей, с которыми сталкиваются учителя в своей повседневной деятельности, предполагает рассматривать их в узком профессиональном контексте с опорой на концепцию эмоционального выгорания [1].

Синдром эмоционального (или профессионального) выгорания понимается как психосоциальное расстройство в результате взаимодействия внутриличностных характеристик (например, высокой потребности в достижениях) и негативных внешних условий, связанных с выполнением профессиональных обязанностей [Ibid. Р. 402]. Наиболее значимой причиной распространения выгорания среди учителей отечественные и зарубежные авторы считают институциональные факторы. Л.А. Осьмук и др. [2], А.G. Dworkin и Р.F. Tobe [3] и др. выделяют целый ряд характеристик, которые на организационном уровне приводят к ухудшению социального и психоэмоционального самочувствия учителей (специфика педагогического общения, заполнение

 $^{^1}$ Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта № 18-311-00166 «Социальная апатия как форма адаптации российских учителей к современным социокультурным условиям» (руководитель – Р.А. Быков).

отчетности, установление стандартов и показателей и т.д.). Особая подверженность современных учителей синдрому выгорания может также быть связана с возрастающими требованиями и завышенными социальными ожиданиями в отношении работы педагогов, о чем пишут И. Шмерлина [4], А. Асмолов [5], L.J. Leonard [6].

Несмотря на разработанность в литературе темы эмоционального выгорания современных педагогов, можно выделить целый ряд недостатков в имеющихся концепциях синдрома выгорания учителей: большинство подобных исследований носят описательный характер, отсутствует значимая теоретическая модель для объяснения результатов исследований, слабо проработаны методы поддержки удовлетворенности учителей с учетом их психологических и мотивационных потребностей [7. С. 182]. Важно отметить факт устаревания концепции выгорания, предложенной К. Маслак в 1980-е гг. [8] (при этом порядка 90% работ опираются на данную концепцию), поскольку сам феномен выгорания трансформируется, его сущность и причины меняются в сторону растущей индивидуализации, в то время как изначально метод был разработан для выявления эмоционального истощения, обусловленного идеалистическим отношением к работе [9].

Данный подход к интерпретации психосоциальных проблем учителей глубоко укоренился в сознании россиян и в представлениях депутатов и чиновников: негативное самочувствие педагогов считается временным состоянием, обусловленным эмоциональной напряженностью педагогической деятельности в условиях нехватки поощрения за данный вид труда. В результате такого отношения решение проблем выгорания, текучести педагогических кадров на государственном уровне рассматривается через призму создания комфортной рабочей среды в сочетании с использованием методов морального и материального стимулирования.

Однако сведение основных источников психосоциальных проблем учителей к особенностям педагогической деятельности и сбоям в ее организации представляется малопродуктивным: согласно исследованиям Л.М. Митиной [10], И. Шмерлиной [4] в России попытки воздействия на организационные факторы (увеличение заработной платы, улучшение условий труда, стимулирующие выплаты и др.), а также влияние на личностные факторы или самоактуализацию учителей (введение соревновательного момента в форме конкурсов, использование моральных стимулов — грамот, благодарностей и др.) не дают ожидаемого эффекта.

Сведение проблемы выгорания учителей к институциональным условиям осуществления педагогической деятельности приводит к общей ограниченности изучения данной темы, поэтому современные исследования выгорания характеризуются определенной стагнацией на уровне накопления и перепроверки данных, а также острой нехваткой новых идей и подходов. В связи с этим представляется актуальной переориентация изучения синдрома выгорания учителей в сторону поиска более широкого контекста объяснения причин складывающегося положения, именно в характере самой современной социальной среды стоит искать причины указанных тенденций.

Методология исследования

Данное исследование опирается на концепцию социальной апатии, разработанную авторами в рамках научного проекта «Социальная апатия как форма адаптации российских учителей к современным социокультурным условиям» (№ 18-311-00166, РФФИ) с целью создания методологического основания к проведению фокус-группового интервью с учителями и интерпретации полученных результатов.

Социальные теоретики (например, К. Юханнисон [11]) обращают внимание на то, что именно состояние общества формирует настроение и ценностные ориентации его членов. Социальная апатия, под которой традиционно понимается пассивность, нежелание участвовать в чем-либо, неспособность к активности, к преодолению обстоятельств и собственного безразличия [12. С. 3], является хроническим недугом нашего времени. Отечественные исследователи В.Г. Федотова [Там же. С. 8], С.Н. Яременко и др. [13. С. 12] приходят к выводу о состоянии глубокой апатии, в котором находится большая часть населения России. Лишь в отдельных работах исследователи пытаются связать общее состояние социальной апатии в обществе с состоянием педагогов [9, 14]. Проблемы безразличного отношения учителей к своей профессии и рост данной тенденции во всем мире обсуждаются в работах отечественных и зарубежных авторов.

Разработанная авторами концепция социальной апатии опирается на идеи Ж. Бодрийяра [15] и Ж. Липовецки [16] о распространении данного состояния как доминирующего настроения наших дней. Исследователи сходятся во мнении, что люди вынуждены использовать апатию как средство защиты от современного мира с его убыстряющимся темпом и огромным количеством «суперстимулов». При этом апатия не только ведет к безучастности, но и несет позитивную функцию – функцию защиты, эмоциональной разрядки [13. С. 28].

Можно сформулировать следующие положения концепции социальной апатии:

- социальную апатию следует трактовать как некую объективированную социальную черту, возникающую в результате трансформаций в современном обществе;
- социальная апатия, характеризующаяся равнодушным, безучастным и пассивным отношением к окружающей действительности, потерей интереса к жизни, ослаблением побуждений и интересов, может проявляться, как состояние одиночества, крайняя степень некоммуникабельности, превалирование в социальной среде меланхоличных настроений, хронической усталости и экзистенциальной скуки;
- социальная апатия представляет собой форму ухода современных индивидов от активной социальной жизни, выступающей не просто некоторым временным состоянием безразличия, а способом защиты или адаптации к современным условиям растущей индивидуализации, актуализированного потребления и неопределенности.

Метод фокус-группы был использован для выявления смыслов, которые учителя вкладывают в свою деятельность, а также способов интерпретаций, которые побуждают их продолжать работать или же оставлять педагогическую деятельность. Также исследование позволило выявить особенности самочувствия учителей в контексте влияния различных институциональных факторов в соответствии с используемой концепцией.

Результаты исследования

В исследовании, проведенном в июне 2018 г. в Томске, была сделана попытка выявления установок и ценностей, формирующих профессиональную позицию учителей. На фокус-группе присутствовало десять педагогов с разным стажем работы (от 1 до 42 лет) из общеобразовательных школ, лицея и гимназии. В итоге были получены следующие результаты.

1. С целью выявления основных негативных факторов, с которыми сталкиваются учителя в своей работе, был задан вопрос, касающийся современных тенденций, наиболее ярко проявляющихся, по мнению респондентов, в системе образования за последние 10 лет. Одна из главных тенденций, отмеченных учителями, — изменение стандартов ФГОС, влияние которых оценивается крайне негативно: «несоответствие декларированных требований ФГОС... действительной реализации учебного процесса»; «нам просто не дают учить детей»; «новый ФГОС с его системно-деятельным подходом и вот такой «масюсенькой» фигурой учителя» (из фокус-группового интервью, далее везде). Сам ФГОС оценивается как нечто лишнее и надуманное, не находящее реального применения на практике.

Появление культа прав ребенка учителя считают еще одной значимой проблемой современного общества: «...у нас цветет пышным цветом гипертрофированный тренд прав ребенка, который мне лично очень мешает работать». Представление многих учителей о собственной бесправности по отношению к детям оказывает существенное влияние на их отношение к правам ребёнка.

Изменились представления родителей о воспитании детей, и, по мнению респондентов, родители перекладывают ответственность на школу. На фокус-группе учителя воспроизводили не совсем лишенный оснований миф о потерянности поколения родителей, которые воспитывались в 1990-х гг.: «...это потерянное поколение, у которых состояние аномии, культурного вакуума абсолютного, когда старое ушло, новое еще не сформировалось...»

Все респонденты отмечали такую тенденцию, как распространение неуважительного отношения к профессии и труду учителя в обществе: «Вопрос в интернете на форуме – кто будет голосовать [за пенсионную реформу]? Это «преподы» университетов и школ, которые не уработались...»; «Самое страшное, что именно авторитет учителя совсем не на высоте».

Информатизация, по мнению опрошенных, негативно сказывается на способностях современных детей: у них отсутствуют навыки осмысленного чтения («дети не понимают, о чем они прочитали»), развивается клиповое мышление, снижаются коммуникативные навыки. Отдельно учителям был задан вопрос о том, какие изменения в современном информационном обществе влияют на молодых людей. Помимо слабого института семьи, отсутствия организационной структуры (наподобие пионерии, «нет чего-то такого, что бы могло объединить, сплотить»; «не хватает фундаментальных вещей, чего-то общего, когда не хочется кричать «Я», при этом сами педагоги говорят, что «нам самим это стало не интересно»; «нам за это не платят – и это куча бумаги»), педагоги высказали мысль о прагматизме и индивидуализме современной молодежи: «...в наше время, чтобы кто-то не пошел на выпускной? Да это был нонсенс, на выпускной ходили все!»; «Прагматизм – это участие в каких-то мероприятиях: будут ли у меня индивидуальные достиже-

ния при поступлении в вуз или не будет их». Внедрение информационных технологий в образовательный процесс как позитивную тенденцию оценивали только молодые педагоги.

Таким образом, учителя назвали немало важных изменений, произошедших в современном обществе и самой школе, и отнесли их в большинстве случаев к негативным, мешающим работать, ухудшающим их психоэмоциональное самочувствие.

2. В исследовании респондентам предлагали назвать наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются учителя в своей профессии. Участники фокус-группы перечислили множество проблем, но более активно респонденты отмечали проблему многочисленной отчетности, «бумажной работы», которая объективно стала занимать значительную часть рабочего времени педагогов. «Нас завалили бестолковой работой... Мы пишем все, что угодно, программы, бестолковые мониторинги, отчеты. Нам просто не дают работать». «Когда я начинала работать в 1982 г., у учителя было 3 бумажки: это тематический план, это урочный план и о воспитательной работе. И все писалось от руки и в радость»; «Вот зачем учащийся заменять на обучающийся понадобилось во всех документах?». На фокус-группе было замечено, что больше всего проблема нововведений в виде отчетности и мониторингов волнует учителей со стажем более 15 лет. Молодые учителя столкнулись с такой системой с самого начала своей деятельности и не имеют возможности для сравнения, поэтому оценивают данную ситуацию с отчетностью более позитивно.

Учителя отмечали такие проблемы институционального уровня, как введение промежуточной аттестации по всем предметам, требования руководства по завышению оценок у хорошистов и медалистов для улучшения показателей школы, что в итоге приводит к ухудшению реальных знаний учеников, которые часто демонстрирует промежуточная аттестация.

Следующий важный момент, на который указали респонденты, — гонка администрации школы за показателями. «Декларативный характер деятельности, когда отчеты абсолютно пустые, их требуют свыше... школа, она повязана на стимулирующих выплатах». При этом учителя испытывают неудовлетворенность по поводу используемых показателей. «В ЕГЭ с 2005 года у меня не куча стобалльников, но есть они, и не один, и не два по истории и обществознанию. Понимаете, в экспертную комиссию вхожу. Коллеги оценили, в апелляционную комиссию включили. Это ничего не учитывается. Учитывается — участвовала ли я в педагогических конкурсах. Нет! Мне некогда, потому что я 150 работ каждую неделю проверяю».

Также происходит падение качества педагогического образования, что связано с поступлением в педвузы по остаточному принципу: «...о каком качестве может быть речь, когда он... по каким-то льготам поступает, или платно обучающийся. И на выходе такой студент из себя ничего не представляет».

К дополнительным негативным факторам, влияющим на самочувствие учителей, следует также отнести отсутствие учительского сообщества, которое вдохновляет, усиливает идентичность: «...пропало учительское братство, каждый сам за себя, никто не желает делиться своими материалами, наработками – только с близкими по духу людьми. А советская система выстраивала

эту преемственность»; «...если я лучше делаю, я никому не скажу»; «...у меня есть наставник, но у нас очень мало времени просто пообщаться»; «У нас нет учительской, мы не можем сесть, поговорить и т.д.». В качестве противоположного примера можно привести положение учителей в Финляндии, Китае и других странах с высокоэффективными образовательными системами, для которых характерно доверие педагогам как профессионалам и создание условий для формирования сильного учительского братства. Как результат — высокий престиж профессии, стабильно большой конкурс в педвузах (до 10 человек на место), мотивированность и постоянное саморазвитие педагогов [17. С. 85].

3. Респондентам предлагалось оценить особенности психосоциального самочувствия современных педагогов, в частности их подверженность профессиональному выгоранию, эмоциональному истощению, апатии. Выше обозначенные проблемы в педагогической профессии и негативные тенденции последнего десятилетия приводят, по мнению самих учителей, к распространению эмоционального выгорания, о котором они говорили следующее: «Это истощение обусловлено той нищетой, в ситуацию которой поставлено подавляющее большинство учителей. И это профессиональное выгорание, фундамент его, так скажем, какая-то безысходность, в том числе и в финансовом смысле. Безысходность, что больше некуда идти, и безысходность, что больше не на что жить»; «Для того чтобы работать классным руководителем, нужен просто железобетон»; «Профессия стала ремеслом. Совокупностью технологических приемов, которые ты используешь по чисто эгоистическим, утилитарным причинам. Для меня мое выгорание лично так»; «У многих учителей сейчас такая установка: Молодые, вот они – показатели, олимпиада, а от меня отстаньте, я уже свое «отскакал», это тоже формула, кредо, так сказать, профессионального выгорания».

Отмеченное учителями состояние апатии и равнодушия возникает в разных ситуациях, например при осознании несправедливости оценок: «...когда дается в начале года список медалистов, да они на печке хоть проспят, все равно будут медалистами»; «И ты чувствуешь действительно какую-то бессмысленность. Раньше, десять лет назад, два-три года меня просто ломало. Когда я ставила пять, где надо было ставить четыре или даже три, и меня ломало, но вот с какого-то времени у меня началось абстрагирование. И вот теперь, когда ко мне бежит завуч, я говорю: «Пять – легко». Безнравственность, выгорание? Беспомощность и осознание в каком-то смысле бессмысленности всей деятельности». Последняя цитата является подтверждением правильности применения экзистенциального подхода к выгоранию, предложенного австрийским психологом Альфридом Лэнгле [18], который определил источник данной проблемы в невозможности по тем или иным причинам (институциональным или личностным) извлекать смысл из своей деятельности.

4. Важная задача исследования заключалась в выявлении способов или стратегий адаптации учителей к тем условиям, в которых они оказались. К указанным выше проблемам педагоги приспосабливаются в большинстве посредством абстрагирования. Учителя говорили о желании не погружаться в те или иные проблемы, стараться не принимать «близко к сердцу». Абстрагирование приводит к стратегии, близкой по своей сути к предыдущей установке, но имеющей оттенок формализации (официальная стратегия, работа на

показатели), когда учитель, желая видеть плоды своего труда, компенсирует эту интенцию в форме официальной отчетности, которая может быть не связана напрямую с успехами школьников. Игровой стратегией можно назвать поведение учителя, который вовлеченно проигрывает свои роли внутри института образования, хочет нравиться детям, родителям, административной части, но тем не менее относится к ним формально. В его поступках отсутствует творческий подход, происходит «рассеивание личности» самого педагога, и вне школы его концентрация на улучшении образовательного процесса максимально снижается.

В сознании учителей присутствует патерналистская установка, когда учитель занимает позицию ожидания, когда «сверху» кто-то изменит жизнь в лучшую сторону. Таким образом, он приспосабливается к повседневным проблемам, так как надеется на улучшения в будущем.

Помимо этого наблюдается форма адаптации, которую, возможно, следует называть «прагматизацией». Учителя готовы получать максимальную выгоду от работы, считаясь с издержками профессии. Несколько учителей говорили, что стремятся зарабатывать деньги на репетиторстве, продаже заданий и ответов, используя школу как стартовую площадку для получения опыта и социального капитала. Немногие стремятся к развитию (позитивная образовательная стратегия), воспринимая происходящее как некий профессиональный, культурный или духовный рост. Также позитивной «попечительской» стратегией можно считать готовность учителей принимать негативный контекст ради заботы о детях и их образовательных результатах.

Заключение

Таким образом, результаты теоретического осмысления говорят о доминировании психологического подхода, тогда как более широкий взгляд на проблемы учителей остается на периферии. Результаты фокус-группового интервью демонстрируют актуальные проблемы и дают представление о ситуации в современной образовательной среде учителей. Убежденность учителей в том, что им мешают некоторые внешние силы (государство, министерство образования и общественные тенденции в целом), возможно, свидетельствует о том, что исследователи действительно сосредоточили свое внимание на самой школе, не обращая внимания на более широкий социальный и культурный контекст. Концепция социальной апатии – это своего рода способ восприятия, который позволяет увидеть и различать социальные тенденции, проблемы и личные трудности учителей, связанные с психологическими аспектами или восприятием одинаковых для всех условий труда. Проявлением социальной апатии являются следующие выявленные стратегии: абстрагирование, патерналистская стратегия, игровая и прагматическая стратегии.

О признаках социальной апатии (пассивность, нежелание участвовать в чем-либо, неспособность к активности, к преодолению обстоятельств и собственного безразличия) свидетельствуют выявленные в исследовании установки учителей. К ним следует отнести неготовность и отрицание адаптации к новым стандартам, отчуждение от взаимоотношений с родителями / активная защита своих прав от родителей, инструментальная установка по отношению к профессии (из фокус-группового интервью: «Почему я стараюсь

выкладываться на уроках? Цели у меня намного более утилитарные – деньги...»), установка – «Мы ничего не можем изменить», защитноограничивающая установка «мне уже некуда идти», установка на поведение, в котором доминируют обязанности, учителя говорили о необходимости наработки навыка (или установки) на восприятие образовательного процесса как игры, установка на наличие обязательной компетенции абстрагирования.

В связи с этим пониманием, вероятно, следует изменить методы работы с учителями, в том числе и по формированию идентичности, перейти от дискурса «должен» к дискурсам «самоопределения» и «полезности, нужности». Очевидно, что учителям необходимо пространство, как временное, так и физическое, для рефлексии относительно своей деятельности. Слабость общностей профессионалов в школах и постоянная загруженность лишают этой возможности. Апатия не может возникнуть в ситуации понимания собственных стратегий, мотивированности, соответственно необходимы меры по созданию в школах «свободного» пространства для учителей. Работа с учитепониманием социальных условий, сущности проблем, лями над накопившихся в системе образования, и их связи и «вписанности» в общий социальный контекст (в школах, в центрах повышения квалификации, посредством методических материалов) может обеспечить основу для рефлексии, сознательного выбора и включения внутренних ресурсов для успешного профессионального функционирования. Адаптивные стратегии, способы реагирования педагогов на негативные тенденции, а также отношение к образовательному процессу и ученикам должны подвергаться непрерывному осмыслению и корректироваться с учетом современной социальной среды как на уровне отдельных учителей и педагогических коллективов, так и на уровне администрации школы и институтов повышения квалификации для педагогических работников.

Если социальная апатия – это синдром современного общества, которому могут быть подвержены представители разных профессий, то актуальными становятся исследования самосознания и саморефлексии учителей как важных трансляторов ценностей. Особую важность приобретает изучение и применение способов воздействия на следующие важные компоненты личной позиции педагогов: качество смыслов, которыми они наделяют свою деятельность; формирование сильной идентичности «учитель – профессионал»; самоактуализация и самоопределение учителей в постоянно меняющихся условиях образовательной системы и социокультурного контекста в целом; осознанный выбор продуктивных форм реагирования и адаптации к данным условиям.

Литература

- 1. Maslach C., Schaufeli W.B., Leiter M.P. Job burnout // Annual Review of Psychology. 2001. Vol. 52. P. 397–422.
- 2. *Осьмук Л.А., Сафронова М.В., Захир Ю.С.* Психосоциальное благополучие и профессиональная деятельность российских учителей // Идеи и идеалы. 2013. Т. 1, № 3. С. 91–104.
- 3 *Dworkin A.G., Tobe P.F.* The effects of standards based school accountability on teacher burnout and trust relationships: A longitudinal analysis // Trust and school life. Springer, Dordrecht, 2014. P. 121–143.
- 4. *Шмерлина И.* Заметки о российском учительстве в контексте национального проекта «Образование» // Социальная реальность. 2007. № 1. С. 5–19.

- 5. *Асмолов А.* Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к преодолению кризиса идентичности и построению гражданского общества // Вопросы образования. 2008. № 1. С. 65–86.
- 6. Leonard L.J. From indignation to indifference: Teacher concerns about externally imposed classroom interruptions // The Journal of Educational Research. 2001. Vol. 95, №. 2. P. 103–109.
- 7. *Быкова Е.Ю.* Критический обзор доминирующего подхода к проблеме эмоционального выгорания учителей // Ананьевские чтения 2018: Психология личности: традиции и современность: материалы междунар. науч. конф., 23—26 октября 2018 г. СПб., 2018. С. 181–182.
- 8. Maslach C., Jackson S.E. The measurement of experienced burnout // Journal of occupational behavior. 1981. Vol. 2. P. 99–113.
- 9. Farber B.A. Introduction: Understanding and treating burnout in a changing culture // Journal of Clinical Psychology. 2000. Vol. 56. P. 589–594.
- 10. *Митина Л.М. и др.* Профессиональное и карьерное развитие специалистов системы образования // Российский научный журнал. 2017. № 1. С. 104–122.
- 11. *Юханнисон К*. История меланхолии: О страхе, скуке и печали в прежние времена и теперь / пер. со швед. И. Матыциной. М.: Новое лит. обозрение, 2011. 320 с.
- 12. *Федотова В. Г.* Апатия на Западе и в России // Вопросы философии. 2005. № 3. С. 3—19.
- 13. *Яременко С.Н., Пазина Л.О., Бабахова Л.Г.* Социокультурный габитус апатии в транзитивном обществе. Ростов н/Д: Изд. центр ДГТУ, 2010. 166 с.
- 14. Schaufeli W.B. Burnout: A short socio-cultural history // Burnout, Fatigue, Exhaustion: An Interdisciplinary Perspective on a Modern Affliction. Palgrave Macmillan, Cham. 2017. P. 105–127.
- 15. Бодрийяр Ж. Общество потребления : его мифы и структуры / пер. с фр. Е.А. Самарской. М. : Республика : Культурная революция, 2006. 268 с.
- 16. *Липовецки Ж*. Эра пустоты : Очерки современного индивидуализма / пер. с англ. В.В. Кузнецова. СПб. : Владимир Даль, 2001. 336 с.
- 17. Шляйхер А. Учитель как специалист высокой квалификации: построение профессии. Уроки со всего мира / пер. с англ. Н. Микшиной // Вопросы образования. 2012. № 1. С. 74–92.
- 18. *Лэнгле А*. Эмоциональное выгорание с позиции экзистенциального анализа / пер. с нем. О.М. Ларченко // Вопросы психологии. 2008. № 2. С. 3–16.

Roman A. Bykov, Tomsk State University (Tomsk, Russia).

E-mail: nimai.bykov@gmail.com

Elena Yu. Bykova, Tomsk State University (Tomsk, Russia).

E-mail: bykova1117@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science.s 2019. 48, pp. 91–100.

DOI: 10.17223/1998863X/48/9

SOCIAL APATHY AS A FORM OF TEACHERS' ADAPTATION TO NEGATIVE INSTITUTIONAL FACTORS

Keywords: social apathy; teacher's values; attitude; organizational factors; teachers' burnout.

The article aims to reveal the alternative idea to the widespread approaches to the interpretation and solution of the teachers' psychosocial problems that consider the impact of contemporary sociocultural trends. The research mainly focuses on the understanding of the deep sources of the school system problems, on the construction of an explanation model for these sources to describe the situation in terms of teachers' psychological and emotional wellbeing, of the impact of negative organizational factors, and of the developed concept of social apathy. The study was conducted by the method of focus group among Tomsk teachers. It revealed the main problems that complicate their work and the meanings teachers put into their activities, as well as ways of interpretation that encourage them to continue to work or to quit. The respondents noted that over the past 10 years the Russian educational system saw some negative trends such as frequent changes in approaches and standards of education, the emergence of the cult of the child's right, the spread of disrespectful attitude to the teaching profession and work in society, the growing informatization and pragmatism of the young, the lack of teachers' community, declarative and bureaucratic nature of activities. The majority of teachers adapt to the problems in the profession through a strategy of abstraction and pragmatization. In this regard, it seems necessary to change the methods of working with teachers, including the formation of identity, to change their discourse from obligation to "self-determination" and "utility, necessity". Apathy arises when a person does not understand their own strategies, motivation; therefore, it is necessary to create

a "free" space in schools for teachers. Joint work with teachers on the understanding of the social situation, universal problems, their inclusion into the social context must create the reflective field for a conscious choice and help use internal resources in this significant profession.

References

- 1. Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001) Job burnout. *Annual Review of Psychology*. 52. pp. 397–422.
- 2. Osmuk, L.A., Safronova, M.V. & Zakhir, Yu.S. (2013) Psikhosotsial'noe blagopoluchie i professional'naya deyatel'nost' rossiyskikh uchiteley [Psychosocial well-being and professional activities of Russian teachers]. *Idei i ideally Ideas and Ideals*. 1(3). pp. 91–104.
- 3 Dworkin, A.G. & Tobe, P.F. (2014) The effects of standards based school accountability on teacher burnout and trust relationships: A longitudinal analysis. *Trust and School Life*. Springer, Dordrecht. pp. 121–143. DOI: 10.1007/978-94-017-8014-8 6
- 4. Shmerlina, I. (2007) Zametki o rossiyskom uchitel'stve v kontekste natsional'nogo proekta "Obrazovanie" [Notes on the Russian Teaching in the Context of the National Project "Education"]. *Sotsial'nava real'nost'*. 1. pp. 5–19.
- 5. Asmolov, A. (2008) Strategiya sotsiokul'turnoy modernizatsii obrazovaniya: na puti k preodoleniyu krizisa identichnosti i postroeniyu grazhdanskogo obshchestva [Strategy of sociocultural modernization of education: on the way to overcoming the identity crisis and building a civil society]. *Voprosy obrazovaniya*. 1. pp. 65–86.
- 6. Leonard, L.J. (2001) From indignation to indifference: Teacher concerns about externally imposed classroom interruptions. *The Journal of Educational Research*. 95(2). pp. 103–109. DOI: 10.1080/00220670109596578
- 7. Bykova, E.Yu. (2018) [A critical review of the dominant approach to the problem of teachers' emotional burnout]. *Anan'evskie chteniya* 2018: *Psikhologiya lichnosti: traditsii i sovremennost'* [The Ananyev Readings 2018: Personality psychology: traditions and modernity]. Proc. of the International Conference. October 23–26, 2018. St. Petersburg. pp. 181–182. (In Russian).
- 8. Maslach, C. & Jackson, S.E. (1981) The measurement of experienced burnout. *Journal of Occupational Behavior*. 2. pp. 99–113. DOI: 10.1002/job.4030020205
- 9. Farber, B.A. (2000) Introduction: Understanding and treating burnout in a changing culture. Journal of Clinical Psychology. 56. pp. 589–594. DOI: 10.1002/(SICI)1097-4679(200005)56:5<589::AID-JCLP1>3.0.CO;2-S
- 10. Mitina, L.M. et al. (2017) Professional'noe i kar'ernoe razvitie spetsialistov sistemy obrazovaniya [Professional and career development of education system specialists]. *Rossiyskiy nauchnyy zhurnal Russian Scientific Journal*. 1. pp. 104–122.
- 11. Juhannison, K. (2011) *Istoriya melankholii. O strakhe, skuke i pechali v prezhnie vremena i teper'* [History of melancholia. About fear, boredom and sadness in the old days and now]. Translated from Swedish by I. Matytsina. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie.
- 12. Fedotova, V.G. (2005) Apatiya na Zapade i v Rossii [Apatia in the West and in Russia]. *Vo-prosy filosofii*. 3. pp. 3–19.
- 13. Yaremenko, S.N., Pazina, L.O. & Babakhova, L.G. (2010) Sotsiokul'turnyy gabitus apatii v tranzitivnom obshchestve [habitus of apathy in a transitive society]. Rostov-on-Don: DSTU.
- 14. Schaufeli, W.B. (2017) Burnout: A short socio-cultural history. In: Neckel, S., Schaffner, A.K., Wagner, G. (eds) *Burnout, Fatigue, Exhaustion: An Interdisciplinary Perspective on a Modern Affliction*. Palgrave Macmillan, Cham. pp. 105–127.
- 15. Baudrillard, J. (2006) Obshchestvo potrebleniya: ego mify i struktury [Consumer Society: its Myths and Structures]. Translated from French by E.A. Samarskaya. Moscow: Respublika: Kul'turna-ya revolyutsiya.
- 16. Lipovetsky, J. (2001) *Era pustoty. Ocherki sovremennogo individualizma* [The Era of Emptiness. Essays on Contemporary Individualism]. Translated from English by V.V. Kuznetsov. St. Petersburg: Vladimir Dal'.
- 17. Schleicher, A. (2012) Building a High-Quality Teaching Profession. Lessons from around the world. Translated from English by N. Mikshina. *Voprosy obrazovaniya Educational Studies*. 1. pp. 74–92. (In Russian). DOI: 10.17323/1814-9545-2012-1-74-92
- 18. Lengle, A. (2008) Emotsional'noe vygoranie s pozitsii ekzistentsial'nogo analiza [Emotional burnout from the standpoint of existential analysis]. TRanslated from German by O.M. Larchenko. *Voprosy psikhologii*. 2. pp. 3–16.

УДК 377

DOI: 10.17223/1998863X/48/10

Л.Н. Данилова

ФЕМИНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ: СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНОЙ ЭВОЛЮЦИИ УЧИТЕЛЬСКОГО ТРУДА В ГЕРМАНИИ

В большинстве стран мира основную часть педагогических кадров составляют женщины, хотя традиционно учителями работали мужчины. В Германии процесс феминизации учительского труда протекал сложно и дольше, чем в России, на фоне борьбы женщин за свои социальные права и противодействия общества. Утверждение женщин в педагогической профессии началось с XIX в. Как мужская профессия менее чем за два века трансформировалась в женскую, на основе социокультурного подхода показано в данной статье.

Ключевые слова: социальная история, история педагогического образования, гендерное неравенство, феминизация педагогической профессии, педагогическое образование в Германии, права женщин.

Из развитых государств мира только в Японии мужчин в педагогической профессии больше, чем женщин, и то незначительно: в 2017 г. 48% педагогических кадров всех японских образовательных учреждений составляли женщины [1]. В других странах эта профессия уже приобрела женский облик. По данным международных исследований, в 2017 г. число женщин-педагогов превысило 60%, к примеру, в Корее, Норвегии, Германии и Великобритании, более 70% – в США, Финляндии, Польше, России, а в Латвии – 84% [Ibidem], причём на отдельных ступенях образовательной системы женщины в некоторых странах и вовсе составляют абсолютное кадровое большинство. Так, в детских дошкольных образовательных учреждениях Чехии, Венгрии и Саудовской Аравии нет воспитателей-мужчин, а в Австрии, Эстонии и Италии их число не превышает 1%. В России только 1% педагогов-мужчин работают в начальной школе. На дальнейших образовательных ступенях число мужчин во всех странах линейно увеличивается, и к уровню высшего образования почти повсеместно достигает большинства (только в колумбийских вузах их доля составляет 37% от общего числа профессорско-преподавательских кадров высшей школы, в Литве – 44%, Латвии – 46%, в Российской Федерации и Финляндии – 49%) [Ibid. S. 511].

Такова гендерная статистика в мировом образовании, однако путь женщин в педагогической профессии в каждой стране был особенным, построенным на уникальных культурных характеристиках и условиях жизни общества в тот или иной период истории. Общим для каждой из них является то, что начало этого пути пришлось на XIX в. [2]. Следовательно, педагогическая профессия, тысячелетиями понимавшаяся как мужская, приобрела имидж «преимущественно женской» именно за минувшие полтора-два столетия. Это лишний раз показывает, насколько изменился мир со времён начала индустриализации, и подчеркивает необходимость междисциплинарного изучения трансформационных процессов в профессиональном пространстве, по-

102 Л.Н. Данилова

скольку гендерные изменения на рынке труда активно протекают и сеголня.

Сравнив утверждение женщин в педагогической профессии в России и в ведущих европейских странах, следует признать, что крайне сложно эти процессы протекали в Германской империи. Государство всячески удерживало их от занятия учительским трудом, однако число девушек, стремившихся работать в школе, неуклонно увеличивалось, и сегодня доля женских педагогических кадров в Германии равняется 66% (причём в учреждениях дошкольного образования их доля равна 96%, а в вузах – 38%) [1].

В данной работе автор преследует цель проследить гендерную эволюцию учительской профессии в Германии, рассмотрев её как образовательный феномен с помощью социокультурного подхода.

Факторы становления женского учительства в Германии

Германские земли по-настоящему контролировать вопросы кадрового состава педагогов стали только с начала XIX в. До этого времени профессиональное педагогическое образование редко получали и мужчины. И если в гимназиях и раньше преподавали выходцы из университетов (считалось, что обучать способен выпускник любого факультета), то в качестве учителей начальных школ общины нанимали священников, грамотных ремесленников, художников, студентов и даже демобилизовавшихся солдат.

Кроме того, учительствовать в церковных школах могли священнослужители, и в этом смысле монахини – первые женщины в Германии, занимавшиеся педагогическим трудом. Известно, что ещё в VIII в. в некоторых монастырях их даже готовили к учительству в школах ордена. На примере урсулинок немецкая исследовательница А. Конрад недавно доказала, что это образование было сопоставимо с начальным профессиональным и что благодаря ему монахини, в Средневековье обучавшие детей катехизису, со временем превратились в учителей церковных начальных школ [3].

Лишь в конце XIX в., в период отделения государства от церкви, педагогическое образование при монастырях было запрещено. Но уже за сто лет до этого учителям был присвоен статус чиновников, и потому условия найма включали лицензию на работу педагогом, получить которую было невозможно без профессионального образования, и оно было почти недоступным для женщин в Германии.

Незавидная участь девушек, оставшихся без материального содержания, подталкивала их к поиску трудовой деятельности. Соблюдая социальные нормы и правила, они редко обращались к физическому труду, предпочитая артистические занятия, где можно было применить способности и умения, полученные в процессе домашнего воспитания. Путём анализа научной и художественной литературы мы заключили, что, в силу традиционных представлений о материнско-супружеском предназначении женщины эта деятельность девушек не вызывала уважения в немецком обществе, однако педагогическая профессия хотя бы не вызывала публичного осуждения. Дело в том, что на все слои общества распространялось предубеждение против женщин-писателей и художниц, сложился стереотип о легкомысленности и неблагопристойности женщин, выступавших на сцене (танцовщиц, певиц, драматических актрис), остальные профессии, из числа рабочих и обслужи-

вающих, также не пользовались уважением. Наравне с гувернанткой до конца XIX в. профессия учителя оставалась единственной приемлемой для незамужних женщин из семей буржуазии, поскольку её воспитательная функция соответствовала образу матери — традиционному в понимании социальной роли женщины.

Более того, учительство – это первая трудовая деятельность, «с которой вообще началась профессионализация женского труда» [4. Р. 31]. Действительно, в отличие от артистических занятий, в это время в неё допускались только лица, прошедшие специальную подготовку, что определило становление женского профессионального образования; других профессий, которым могли бы в образовательных учреждениях обучаться девушки, в XVIII в. ещё не было. Этот процесс был длительным, поскольку предубеждение общества и властей против профессиональной занятости достойных женщин препятствовало предоставлению им рабочих мест, развитию равноправия в общем образовании и доступа к обучению в университетах. И если в ряде американских штатов и стран Европы право обучаться на философском факультете было предоставлено девушкам уже в середине XIX в. (в Юте, к примеру, с 1850 г.), то в Германии после многочисленных письменных обращений к правительству это произошло лишь в 1908 г. Между тем об актуальности этого события красноречиво говорит статистика за первые три года: в 1908/09 уч. г. в прусских университетах обучалось сразу 570 студенток, в 1911 г. их численность возросла уже до 1686 [5].

Ещё одним важным фактором феминизации учительской профессии, выделенным ещё в начале прошлого века известным педагогом П.Г. Мижуевым, было становление всеобщего начального образования при дефиците учителей, которых отталкивала низкая оплата труда [6]. С одной стороны, свою роль в этом сыграл утвердившийся в XIX в. гендерный подход к кадрам, по которому в школах для девочек должны были работать женщины. С другой стороны, сказались влияние финансового аспекта и кадровые проблемы. Оплата учительского труда была невысокой (особенно в элементарных и основных школах), а женщин в силу их меньшей квалификации разрешалось трудоустраивать за ещё меньшее жалованье. Их найм значительно снижал кадровый дефицит. Например, в Вюртемберге в кризисный период 1840-1850 гг. маленькое жалованье учителей вызвало резкий отток мужчин из педагогической профессии, и на смену им власти были вынуждены массово нанимать женщин, обязуя их сохранять требование целибата [7]. Мы убеждены, что финансовая дискриминация женщинучителей сыграла важную роль в утверждении женщин в педагогической профессии во всех немецких землях. Учителям пришлось вступить в серьёзную конкурентную борьбу с женщинами-педагогами, и мужчины потерпели поражение по сугубо экономическим причинам: женщины довольствовались в 2-3 раза меньшим жалованьем (например, в 1863 г. учителя в среднем зарабатывали 600 талеров, а женщины только 375 [8]). Это стало выгодным властям в годы послевоенного экономического кризиса и позволило потеснить мужчин в профессии. Мы заключаем, что именно специфика экономического развития германского общества на рубеже XIX-XX вв. решающим образом обусловила прогресс в данной сфере. Этот вывод будет подтверждаться по ходу исследования.

104 Л.Н. Данилова

Становление всеобщего начального образования при сохранении в нём гендерного подхода также способствовало востребованности женщинпедагогов, что совпало с периодом зарождения феминистических движений. В их программы среди прочего входило и улучшение образовательных возможностей женщин. Они выступали за доступ девушек к университетскому образованию, за высококачественную специализированную подготовку для девушек и создание профессиональных объединений, которые могли бы заботиться об условиях женского труда. Благодаря женскому лобби в 1894 г. прусское министерство просвещения одобрило введение экзамена на лицензирование учительниц для средней школы.

В итоге всех этих процессов во второй половине XIX столетия по всей стране уже действовало несколько типов образовательных учреждений для девушек, выпускавших учителей: женские учительские семинарии, учительские курсы при школах для девочек, учительские курсы для монахинь при монастырских школах. Среднее педагогическое образование давали только учительские семинарии.

Мы установили, что в Пруссии, самой просвещённой из немецких земель, первая женская педагогическая семинария была открыта в 1832 г., в Баварии – в 1814, в Берлине – раньше всего, в 1802 г. На первый взгляд эти данные могут быть оценены удовлетворительно, поскольку свидетельствуют о становлении профессионального педагогического образования для женщин, об активизации процессов женской профессиональной мобильности. Однако интерпретация меняется, если учитывать, что первая мужская учительская семинария была создана ещё в 1748 г. Кадровый дефицит и стремление к эмансипации действительно вели к открытию специальных педагогических учреждений для женщин ещё с начала XIX в., что соответствовало запросам женщин и образовательной системы, но эти процессы запаздывали в сравнении с развитием профессии учителя. Кроме того, из анализа отчётов о состоянии образования в отдельных землях и другой литературы следует, что число таких учреждений и их студенток было слишком мало и не могло удовлетворить растущую демографическую и экономическую востребованность женщин в педагогической профессии. В этом вопросе Германия значительно уступала многим развитым странам, что подтверждает статистика: в 1900-1910 гг. в Америке насчитывалось примерно 80% женщин-педагогов, в Великобритании – 75%, а в Германии лишь 15% по одним данным [9. Р. 942] или 20% – по другим источникам [4].

Сказанное приводит автора к выводу, что в XIX в. в школах Германии появились профессиональные учителя-женщины и их число неуклонно увеличивалось в соответствии с менявшимися условиями жизни женщины в немецком обществе, однако общество и сама образовательная система ещё сопротивлялись этим процессам. В итоге спустя сто лет женщины в педагогической профессии уже не являлись редкостью, но по-прежнему составляли абсолютное кадровое меньшинство и допускались к работе не во всех учреждениях. К началу XX в. девушек в учительской профессии в Германии было несопоставимо меньше, чем в России и других развитых государствах Европы.

Политика противодействия гендерным изменениям в учительской профессии

Изучение истории педагогического образования в разных странах приводит в выводу, что доступ женщин к нему везде открывался и расширялся по собственным, социокультурно обусловленным причинам, при этом в Германии важно говорить о мерах торможения феминизации учительской профессии. Отставание страны от других государств в вопросе женского образования отчасти объяснялось неодобрением со стороны общества и властей (крайне недовольны были, к примеру, профессура вузов и учителя гимназий), в чём можно усмотреть немецкую приверженность порядку и традициям.

Законодательство было главным средством воспрепятствования гендерным изменениям в педагогической профессии. Так, в законе об образовании земли Баден от 1868 г., как и в предыдущих версиях, слово «учительницы» не упоминались вовсе, что говорит о неприятии возможности предоставления данной должности женщинам на правовом уровне. Только поправки 1880 г. разрешили им работать в общеобразовательных учреждениях, но вводилась квота (доля женщин среди педагогов в государственной школе могла составлять не более 6%), т.е. закон служил косвенным признанием кадрового дефицита в образовании и права женщины на педагогическую деятельность, но одновременно и ограничивал это право.

Немаловажным и действенным средством ограничения доступа женщин к педагогической профессии в Германии долго служил закон целибата. В 1880 г. он действовал уже по всей стране, возлагая на девушек обязанность безбрачия (по образцу монахинь). Требуется обратить внимание, что, в-первых, в Российской империи аналогичные требования к женщинам не предъявлялись, а во-вторых, в других странах к концу XIX в., напротив, наблюдалась тенденция содействия женскому педагогическому образованию. Иначе говоря, германские власти сознательно принимали меры по противодействию привлекательности педагогической профессии и сокращению доступа к ней девушек. Этот варварский для цивилизованной страны закон имел под собой разумную социально-экономическую подоплёку: он упрощал контроль за рынком педагогического труда. Как говорилось выше, в периоды кадрового дефицита власти решали проблему с помощью временного найма учителей, а вытеснять девушек с рынка труда был призван запрет на вступление в брак. Чиновники, не рассматривая девушек в качестве достойной альтернативы учителям-мужчинам, рассчитывали, что они предпочтут семью карьере и не задержатся в школе. Отпугнуть их от профессии и одновременно сэкономить государственные средства были призваны санкции за нарушение целибата: в случае вступления в брак женщина не только отстранялась от профессии, но и теряла заработанное право на получение пенсии.

Целибат девушек-учителей определил и невысокий размер их жалованья. За одни и те же условия труда они получали меньше учителей-мужчин, а обоснованием служила идея чиновников о том, что, сохраняя безбрачие, девушки не имели собственных детей, которых должны были бы содержать, значит, могли обходиться меньшими доходами в сравнении с мужчинами, на

106 Л.Н. Данилова

которых возлагалась функция отца семейства. Это ещё один пример влияния уникальных условий жизнедеятельности общества Германии на развитие образования. Парадокс заключался в том, что большинство девушек шли в профессию именно из-за необходимости содержать себя самостоятельно, а зачастую — ещё и поддерживать родителей или других родственников. Введение целибата свидетельствует о сознательности тенденции воспрепятствования развитию женского педагогического образования как стратегии образовательной политики германского государства.

Примечательно, что к концу XIX в., когда число женщин в профессии возросло, целибат был ещё более ужесточён. Это требование было отменено Конституцией Веймарской республики (1919 г.), но на практике сохранялось, а после войны даже было юридически введено снова, и вышедшие замуж учителя должны были добровольно увольняться с этой чиновничьей должности, теряя тем самым её нехитрые привилегии. Реально целибат просуществовал в некоторых регионах до конца 50-х гг. (например, в Баден-Вюртемберге). История данного условия найма женщин в школы лишний раз указывает, что на рубеже XIX–XX вв. немецкие земли были заинтересованы в трудоустройстве женщин-учителей из преимущественно экономических соображений. Это, в свою очередь, подтверждает наш вывод, что именно экономический фактор был преобладающим в становлении женского педагогического образования в Германии.

Всё это свидетельствует о притоке женщин в учительскую профессию, об усилении их стремления получить педагогическое образование, об изменении гендерного равновесия в германском образовании и на рынке труда в конце XIX в. В Пруссии, к примеру, за период 1861–1891 гг. количество женщин в педагогической профессии выросло в 7 раз, а число учителеймужчин не увеличилось даже в 2 раза [10].

Следует признать, что ни одна другая женская профессия не вызывала столько недовольства и язвительности у мужчин [11–13], поэтому недоверие со стороны широкой общественности сохранялось. Женщин считали пригодными только для работы в начальной школе (хотя и на создание подобного имиджа потребовалось не одно столетие, с опыта работы монахинь в церковных школах): так, к 1906 г. в Пруссии в государственных начальных школах работало уже около 17 тыс. женщин, в то время как в средних школах – не более 2 тыс. [5]. При этом подготовка учителей специально для начальных школ осуществлялась лишь в очень немногих образовательных учреждениях. Так, в Пруссии в 1906 г. из 145 женских семинарий отдельно готовили учителей элементарной школы только 11 [Ibidem]. Тем не менее, по данным Дж. Альбисетти, доля женщин, занятых в начальных школах Германии в 1911 г. (21% от общего числа педагогов этой ступени), была на тот момент самой низкой среди крупных европейских государств [14].

В рамках политического фактора важнейшим условием эмансипации педагогической профессии мы считаем Первую мировую войну: когда многие учителя были призваны на фронт, возникло достаточно рабочих мест для женщин в школах. Это в значительной степени способствовало закреплению женщин в профессии и либерализации общественного мнения, однако ещё не могло решить проблему гендерного профессионального неравенства, поскольку с 1918 г. демобилизовавшиеся мужчины стали возвращаться на

прежнюю работу и женщин ждала волна увольнений. Важным свидетельством прогресса общества и профессиональной мобильности, по нашему мнению, служит тот факт, что подготовка учительниц начальной школы в ряде земель стала переводиться из семинарий в университеты. Он говорит о том, что общество и власти не просто признавали за девушками право заниматься учительским ремеслом, но и требовали от них соответствующей компетентности. Особенно сложно приходилось юным выпускницам педагогических образовательных учреждений: в условиях безработицы и без опыта работы они редко находили себе место; в языке тогда даже возникло выражение, относившееся к таким педагогам, — «бедственное положение молодых учительниц» (Junglehrerinnennot), так что в 1923 г. сокращение женщин в школах было зафиксировано законодательно.

В 30-х гг. во время подъёма экономики, напротив, гендерная эволюция педагогической профессии была закреплена идеологами нацистской Германии, распространявшими образ «новой женщины» - активной, самостоятельной, хранящей традиции и приносящей пользу своему народу, куда вписывались артистические профессии, а также работа секретаршей, продавщицей, медсестрой и учителем начальных классов [15]. К тому же националсоциалисты выступали за упрощенный доступ к профессии учителя начальных классов, так что можно согласиться с Р. Бааром, что её резкая феминизация произошла уже в Третьем рейхе [16], даже несмотря на то, что в 1937 г. после недолгого перерыва для женщин-педагогов было возвращено требование целибата. Окончательно сформировать женский образ педагогической профессии могла только резкая трансформация социокультурной ситуации, каковая наблюдалась в образовательной сфере с начала Второй мировой войны. Причём ведущими факторами изменений были уже экономический, социальный и политический. Мобилизация, а затем большие людские потери Германии в войне быстро меняли гендерный учительский состав образовательных заведений.

С 50-х гг. демографический кризис, резкое послевоенное неравенство в процентном соотношении мужчин и женщин, расширение образовательных возможностей женщин, а также демократизация в обществах ГДР и ФРГ закрепили феминизацию педагогической профессии. Большую роль сыграло и то, что после войны политика денацификации школы требовала увольнять всех педагогов, состоявших в национал-социалистической партии или замеченных в лояльности прежнему режиму. В Баварии, например, было лишено права работать в образовательных учреждениях 70% учителей, поэтому на смену им набирались новые кадры, по большей мере – женские, которые спешно готовились на педагогических курсах. Так в профессию наравне с молодыми девушками стали приходить взрослые женщины. Как и после Первой мировой войны, в 50-х гг., когда в Германию начали возвращаться беженцы и освобождённые военнопленные, женщины-учителя вновь столкнулись с проблемой сокращений, но человеческие потери были столь велики, а образ женщины так изменился, что процессы окончательной феминизации профессии были уже необратимы, и в 60-х гг. в университетах девушки составляли уже две трети студентов [17].

108 Л.Н. Данилова

Социокультурные обоснования феминизации в учительской профессии в XIX в.

История феминизации педагогической профессии показывает, что главными факторами данного процесса были экономический (на первых этапах) и политический. Закон спроса и предложения, характеризующий экономику, в данном случае проявлялся в прямой зависимости числа женщин-педагогов от свободных учительских ставок. Периоды политических и экономических кризисов вызывали увеличение рабочих мест в школах, а значит, и возможностей трудоустройства женщин; в относительно благополучные годы количество таких мест было, напротив, небольшим, препятствуя их найму.

На основе анализа социокультурной ситуации в Германии нами сделан вывод, что торможение феминизации педагогической профессии было закономерным для условий развития Германии в XIX в. и преодоление гендерного неравенства среди учительства было объективно невозможно, хотя за столетие доля женщин в школах решительно выросла. Причины подобного феномена мы усматриваем в многочисленных противоречиях внутри самой социокультурной ситуации. Их разрешение служило двигателем развития педагогического образования, но их сложность затягивала решение проблем на многие десятилетия. Ситуация в подготовке учителей в XIX в. была очень непростой, однако очевидно, что именно данное столетие дало мощный толчок развитию педагогического образования и заложило основы его современного облика в Германии.

В качестве пространства жизнедеятельности людей социокультурная ситуация отражает совокупность окружающих их материальных, социальных, институциональных и духовных условий. В Германии их сочетание было таково, что достижение равноправия в подготовке учителей и учительниц или свободный допуск девушек в университеты на протяжении всего XIX в. не представлялись возможными, само общество ещё не было готово к подобным переменам. Рассмотрим эти условия.

Бурный экономический рост и промышленная революция вызвали острую потребность в квалифицированных кадрах, что привело к расширению сети профессиональных учебных заведений и доступа к общему образованию. Экономический подъём сопровождался резким демографическим взрывом и урбанизацией в середине столетия (в период 1860–1880 гг. население Пруссии увеличилось вдвое), а это привело к увеличению численности учащихся старшей школы, где персонал составляли учителя с университетским образованием. В итоге уже к 1860 г. чувствительной проблемой организации работы средних школ повсеместно стал кадровый дефицит. Данное условие, с одной стороны, тормозило развитие педагогического образования, не позволяя ввести требование обязательного высшего педагогического образования для учителей (как того давно требовали прогрессивные педагоги), поскольку оно занимало 5–6 лет, с другой стороны, вынуждало власти прибегать к найму женщин и стимулировало развитие кратковременных педагогических курсов в других образовательных учреждениях.

Однако общее образование также было устроено по гендерному принципу и образ работающей женщины не вызывал общественного одобрения. Это и ограничительная политика властей обусловили то обстоятельство, что в

сравнении с другими развитыми странами в Германии учителей-женщин в школах по-прежнему было меньшинство. Кроме того, для преодоления дефицита в начале 70-х гг. XIX в. зарплата учителей гимназий была увеличена властями примерно на 25%, что несколько повысило привлекательность профессии и поток юношей на философские факультеты университетов – кузницу гимназических педагогических кадров, в то время как законодательство ограничило личные свободы и оплату труда для женщин в учительской профессии. К концу столетия наплыв студентов в университеты, напротив, привёл к падению спроса на эту профессию, вызвав безработицу среди учителей. Это также не способствовало предоставлению права женщинам обучаться в университетах и увеличивало конкуренцию на рынке труда, поэтому властям пришлось принимать целый ряд мер, призванных ограничить допуск желающих к педагогическому образованию.

Нами установлено, что сочетание перечисленных и других условий подтверждает, что в XIX в. ни власти, ни общество Германии ещё не были заинтересованы в допуске женщин к педагогической профессии, сопротивлялись этим процессам и мирились с ними в силу экономической необходимости (женщины воспринимались чиновниками лишь как дешёвые педагогические кадры школ для девочек и начальных школ). При этом сами девушки также по социально-экономическим причинам всё больше выбирали профессию учителя, понемногу тесня мужчин в традиционном поле деятельности, привыкая справляться с недоверием, насмешками, давлением и преодолевая дискриминацию. По нашему мнению, учительство не было первым женским ремеслом, но стало первой женской профессией, за которой благодаря развитию феминистического движения последовали и другие.

Итак, при всех негативных тенденциях в развитии педагогической профессии в Германии число женщин в ней неуклонно росло на протяжении всего XIX в. Труд женщин-учителей не одобрялся обществом, они получали мизерное жалованье, брали на себя социальное обязательство не вступать в брак, не допускались в вузы, получали рабочие места по остаточному принципу и не имели трудового договора, но, как оказалось, всё это было недостаточными мерами по предотвращению феминизации учительской профессии, и к началу XX столетия женщины-педагоги в образовательных учреждениях перестали восприниматься как экзотическое явление. По статистике, в 1822 г. из учителей народных школ (начальных и основных) лишь 2% составляли женщины, в 1840 г. – 6%, в 1901 г. – уже 15,4%, в 1921 г. – 25%, в 1950 г. – 38,5%, в 1990 г. – 66,7% [16], в 2017 г. – более 80% [1. С. 511]. Если в XIX в. работа педагога (кроме начальной школы) ещё считалась мужской, то за ХХ в. успел сложиться стойкий стереотип, что это женская профессия, и сегодня, в XXI столетии, в Германии остро стоит вопрос привлечения в школы уже мужских педагогических кадров.

Литература

- 1. Bildung auf einen Blick 2017. OECD-Indikatoren. Paris: W. Bertelsmann Verlag, 2017. 568 S.
- 2. Aretin F. Mit Wagemut und Wissensdurst: Die ersten Frauen in Universitäten und Berufen. München: Elisabeth Sandmann Verlag, 2018. 208 S.
- 3. Conrad A. Lehrerinnen oder Nonnen?: Zum (pädagogischen) Selbstverständnis katholischer Schulgründerinnen im 17. Jahrhundert // Schule und Bildung in Frauenhand: Anna Vorwerk und ihre Vorläuferinnen / G. Ball, J. Jacobi [Hrsg.]. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. S. 157–174.

110 Л.Н. Данилова

- 4. *Bernd T*. Der lange Weg der Frauen in den Lehrberuf von der Exotik zur Dominanz // Männer und Grundschullehramt / S. Hastedt, S. Lange (Hrsg.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2012. S. 31–42.
- 5. Schwitalski E. «Werde, die du bist»: Pionierinnen der Reformpädagogik. Bielefeld: transcript Verlag, 2015. 394 S.
- 6. Мижуев П. Г. Женское образование и общественная деятельность в Германии. СПб. : Изд-е журнала Русская школа, 1905. 117 с.
- 7. Pfeiffer-Blattner U., Wiedenhorn T. Eine Retrospektive auf 200 Jahre Lehrerbildung in Württemberg unter epochalen, nationalen, geschlechts- und institutionenspezifischen Aspekten // 200 Jahre staatliche Lehrerbildung in Württemberg, Wiesbaden: Springer Verlag, 2014. S. 9–17.
- 8. Dittgen D. A. West-Berliner Lehrerinnen zwischen Kontinuität und Neuanfang: Weibliche Berufstätigkeit an wissenschaftlichen Oberschulen in den 1950er Jahren. Berlin: Logos Verlag, 2016. 394 S.
- 9. *Jacobi J.* Modernisierung durch Feminisierung? Zur Geschichte des Lehrerinnenberufes // Zeitschrift für Pädagogik. 1997. H. 6. S. 929–946.
- 10. Шеймин П. Очерк современного состояния народных школ в Пруссии. СПб., 1890. 24 с.
- 11. Berg-Ehlers L. Unbeugsame Lehrerinnen: Frauen mit Weitblick. München: Elisabeth Sandmann Verlag, 2015. 184 S.
- 12. Marcello-Müller M. Frauenrechte sind Menschenrechte! Wiesbaden: Springer-Verlag, 2017. 133 S.
 - 13. Rothland M. Beruf Lehrer/Lehrerin: Ein Studienbuch. Stuttgart: UTB, 2016. 372 S.
- 14. Albisetti J. C. The reform of female education in Prussia, 1899–1908. A study in compromise and containment // German studies review. 1985. Vol. 8. P. 12–41.
- 15. Mit einem Mann möcht ich nicht tauschen. Ein Zeitgemälde in Tagebüchern und Briefen der Marie Bruns-Bode (1885–1952) / Rainer Noltenius [Hrsg.]. Berlin: Gebr. Mann Verlag, 2018. 328 S.
- 16. Baar R. Allein unter Frauen: Der berufliche Habitus männlicher Grundschullehrer. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2010. 420 S.
- 17. Hadjar A. Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2011. 453 S.

Larisa N. Danilova, Yaroslavl State Pedagogical University (Yaroslavl, Russian Federation).

E-mail: yar-da.l@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 101–111.

DOI: 10.17223/1998863X/48/10

FEMINIZATION OF THE TEACHING PROFESSION: A SOCIOCULTURAL ANALYSIS OF THE GENDER EVOLUTION OF EDUCATIONAL WORK IN GERMANY

Keywords: social history; history of teacher education; gender inequality; feminization of teaching profession; teacher education in Germany; women's rights.

Historically, the teaching profession was pretty much a man's one in all cultures due to the universal traditional restriction of women's social status. However, between the 18th and the 19th centuries some girl schools appeared in the region; they gave girls not only general education, but also a governess or elementary teacher profession. The aim of the article is to determine the specificity of the gender evolution of the teaching profession in Germany that started in the beginning of the 19th century and significantly lagged behind in comparison with other developed countries. By analyzing various sources (like statistical reports, legislative acts of single German lands reflecting the organization of education in the 19th and 20th centuries, scientific studies, periodical press, memoirs and some fiction), the author sought to identify the leading factors and reasons which pushed girls to the teaching profession, to characterize the social status of German female teachers during the two centuries, to determine the dynamics of educational policy transformations caused by a complex set of conditions and contradictions in the German society. The basis of the study of teacher's work feminization was a sociocultural approach to present the process as a German educational phenomenon. The statistical method allowed to analyze quantitative data on the progressive increase of female teachers and staff transformations during some periods of political and economic changes. With the help of the systemfunctional method, the content of measures taken by the regional authorities in different periods to promote or counter the feminization of the teaching profession was studied. General scientific methods of analysis, comparison and generalization allowed to make scientific conclusions on the topic. As a

result, it was determined that the gender image of the German teacher began to change from the beginning of the 19th century: more and more women appeared in the teaching profession, both nuns and laywomen. Women chose to become teachers under pressure from financial circumstances and public opinion, according to which educational work was considered as the only acceptable one for unmarried women from bourgeois families in conformity with the traditional understanding of women's social role. It is revealed that feminization of the teaching profession also caused development of vocational education for women. The study proves that such opportunities were created by the specifics of the economic and political situation in the country in separate periods of the 18th and 19th centuries. During two world wars and economic crises, women were dislodging men in the labor market, but the authorities opposed these processes for a long time and legislatively prevented the popularization of the teacher's profession for women. Poor financial situation of unmarried women, however, forced them to accept restrictive measures, and the number of female teachers was slowly increasing. Gender professional discrimination persisted until the 1950s both in the hiring of female teachers and in the organization of teacher education; and the study proved that it objectively could not be overcome earlier.

References

- 1. OECD. (2017) Bildung auf einen Blick 2017. OECD-Indikatoren. Paris: W. Bertelsmann Verlag.
- 2. Aretin, F. (2018) Mit Wagemut und Wissensdurst: Die ersten Frauen in Universitäten und Berufen. München: Elisabeth Sandmann Verlag.
- 3. Conrad, A. (2015) Lehrerinnen oder Nonnen? Zum (pädagogischen) Selbstverständnis katholischer Schulgründerinnen im 17. Jahrhundert. In: Ball, G. & Jacobi, J. (eds) *Schule und Bildung in Frauenhand: Anna Vorwerk und ihre Vorläuferinnen*. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag. pp. 157–174.
- 4. Bernd, T. (2012) Der lange Weg der Frauen in den Lehrberuf von der Exotik zur Dominanz. In: Hastedt, S. & Lange, S. (eds) *Männer und Grundschullehramt*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften. pp. 31–42.
- 5. Schwitalski, E. (2015) "Werde, die du bist": Pionierinnen der Reformpädagogik. Bielefeld: Transcript Verlag.
- 6. Mizhuev, P.G. (1905) *Zhenskoe obrazovanie i obshchestvennaya deyatel'nost' v Germanii* [Women's education and social activities in Germany. St. Petersburg: Russkaya shkola.
- 7. Pfeiffer-Blattner, U. & Wiedenhorn, T. (2014) Eine Retrospektive auf 200 Jahre Lehrerbildung in Württemberg unter epochalen, nationalen, geschlechts- und institutionenspezifischen Aspekten. In: Pfeiffer-Blattner, U. & Wiedenhorn, T. (eds) 200 Jahre staatliche Lehrerbildung in Württemberg. Wiesbaden: Springer Verlag. pp. 9–17.
- 8. Dittgen, D.A. (2016) West-Berliner Lehrerinnen zwischen Kontinuität und Neuanfang: Weibliche Berufstätigkeit an wissenschaftlichen Oberschulen in den 1950er Jahren. Berlin: Logos.
- 9. Jacobi, J. (1997) Modernisierung durch Feminisierung? Zur Geschichte des Lehrerinnenberufes. Zeitschrift für Pädagogik. 6. pp. 929–946.
- 10. Shejmin, P. (1890) *Ocherk sovremennogo sostoyaniya narodnyh shkol v Prussii* [An essay on the modern state of public schools in Prussia]. St. Petersburg: V.S. Balashev.
- 11. Berg-Ehlers, L. (2015) *Unbeugsame Lehrerinnen: Frauen mit Weitblick*. München: Elisabeth Sandmann Verlag.
- Marcello-Müller, M. (2017) Frauenrechte sind Menschenrechte! Wiesbaden: Springer-Verlag.
 - 13. Rothland, M. (2016) Beruf Lehrer/Lehrerin: Ein Studienbuch. Stuttgart: UTB.
- 14. Albisetti, J.C. (1985) The reform of female education in Prussia, 1899–1908. A study in compromise and containment. *German Studies Review*. 8. pp. 12–41. DOI: 10.2307/1429602
- 15. Noltenius, R. (ed.) (2018) Mit einem Mann möcht ich nicht tauschen. Ein Zeitgemälde in Tagebüchern und Briefen der Marie Bruns-Bode (1885–1952). Berlin: Gebr. Mann Verlag.
- 16. Baar, R. (2010) Allein unter Frauen: Der berufliche Habitus männlicher Grundschullehrer. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- 17. Hadjar, A. (2011) Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

УДК 305.5

DOI: 10.17223/1998863X/48/11

И.В. Катерный

ГЕНДЕРНО-СЕКСУАЛЬНАЯ ТРАНСМОБИЛЬНОСТЬ КАК ПРОБЛЕМА НОРМАТИВНОГО ПОРЯДКА В ПОСТГУМАНИЗИРОВАННОМ МИРЕ

Практики гендерно-сексуальной трансмобильности рассматриваются как проявление расширяющейся морфологической свободы человека в постгуманизированном обществе. В рамках подхода «борьбы за признание» А. Хоннета трансформация традиционных гендерно-сексуальных аскриптивных распределений трактуется как столкновение морфогенетических и морфотаксических элементов социально-нормативного порядка. Расширение области признания новых идентичностей сопровождается производством и воспроизводством структур непризнания на когнитивном, моральном и правовом уровнях социальности. Таким образом, делается вывод об эволюционной значимости половой гетеронормативности в обществе как основы выживания вида.

Ключевые слова: *постгуманизм, морфологическая свобода, морфогенез, признание, гендер, пол, секс, гетеронормативность.*

Одной из главных черт социальной онтологии XXI в. становится распространение постгуманизированных практик изменения, мутации и «переизобретения» социальных идентичностей [1]. Происходит снятие аскриптивных (т.е. онтологически «сильных») границ между примордиальными статусными распределениями, сохранявшими свое значение на всем протяжении социальной истории: (а) снятие оппозиции между человеческим и субчеловеческим (например, через легитимацию прав эмбрионов); (b) между культурным и природным (например, транссексуализм); (с) между одушевленным и неодушевленным (например, через задействование гуманоидных роботов), а также (d) между физическим и не-физическим (например, через развитие аватар-технологий). В результате таких практик образуется новая область странных и гибридных статусов и идентичностей действователей, обладающих смесью аскриптивных и вениральных («достигаемых») характеристик. Этот процесс в ряде публикаций описывается нами через понятие трансмобильности [2, 3], подразумевающей как индивидуальные и независимые переходы от прошлой предписанной к новой транзитивной позиции, так и внешние переключения, ориентированные на принудительную символическую и нормативную трансформацию идентичностей как индивидуальных агентивов, так и целых групп субъектов и объектов.

Сегодня мы наблюдаем настолько сильную перформативную капитализацию индивидуального тела, что гендерные, возрастные и даже расовые атрибуты не распознаются однозначно, уступая место полной *индивидуации* при помощи инструментов «морфологической свободы». Этим термином такие известные трансгуманисты, как А. Сандберг, Н. Бостром [4, 5], описывают расширяющиеся до предела возможности изменять своё тело по собственному желанию посредством таких технологий, как косметическая хирургия, генная

инженерия, нанотехнология, киборгизация (протезирование), загрузка сознания, витрификация (быстрое замораживание перед или сразу после смерти). Как известно, операции по смене пола, вживление искусственных органов и частей тела, пересадка искусственно выращенных органов, редактирование генома уже стали реальностью. Проблема старения также находится, по мнению некоторых ученых-генетиков (Дж. Чёрч), на грани своего решения. Продолжением морфологической свободы является также свобода репродуктивная, дающая людям право выбирать способ зачатия детей и заранее модифицировать их будущий генетический портрет. Г. Грили. правовед из Стэнфорда, в марте 2016 г. выпустил книгу под названием «Конец секса и будущее человеческого размножения», где он обобщил результаты исследований в этом направлении и сделал вывод, что в ближайшие 20 лет оплодотворение с помощью стволовых клеток (взятых из кожи родителей) и генетическое программирование детей станет доступной, легальной и безопасной технологией, что сделает обычный секс ненужным и ненадежным предприятием для размножения [6]. Несмотря на ожесточенную критику этих инноваций со стороны так называемых биоконсерваторов (Л. Касс, Дж. Рифкин, М. Сандел и др.), указывающих на проблемы нового генетического неравенства и непредсказуемых медицинских последствий евгенических опытов, беспристрастный взгляд показывает неизбежность развития и распространения новых услуг. В этом смысле социологи делают вывод о последовательном сращивании биотехнологий и социальных институтов, что ведет к формированию биоэкономики, биокапитализма, биогражданства и биосоциальности в целом. В частности, один из наиболее влиятельных современных английских социологов H. Роуз говорит о современном «молекулярном дискурсе» как апофеозе исторической биополитики, открытой в свое время М. Фуко в качестве одного из базовых элементов социального контроля в обществе, направленного на осуществление (био)власти над здоровьем людей: «...молекулярная биополитика дарует новую мобильность самим элементам жизни, которые становятся объектами биологических, межличностных, географических и финансовых операций» [7. Р. 15].

Пол, гендер и секс в эпоху постгуманизма

В области гендерно-сексуальных отношений история показывает высокую ригидность гетеронормативной структуры, требовавшей, чтобы гендерный дисплей четко соответствовал природному полу. Хотя здесь и могли бы быть свои исключения¹, нормативно-ролевой изоморфизм «мужского» и «женского» всегда был важнейшей частью примордиальной реальности со-

¹ Очень часто переходы из одного статуса в другой носили санкционированный властью, почти вынужденный характер. Например, в некоторых североамериканских племенах трансгрессия гендерной аскриптивности была связана с мистическим опытом: молодой индеец в случае, если во время поста получал знак благословения от духа Луны, был обязан после этого «надеть юбку» и «превратиться» в женщину. Частью этого благословения были сила предсказывать будущее и способность превзойти любого в исполнении женских обязанностей. Такие люди, известные как «бердаши», обретали особое уважение и почитались как шаманы. В противовес этому мужчина, который показывал трусость в бою, мог быть силой склонен принять роль женщины под страхом смерти. Этих мужчин не признавали бердашами, и отношение к ним было презрительное [8]. В целом все трансгендерные и транссексуальные отклонения в традиционном обществе, начиная с мифов о гермафродитах, в соответствии с принципом трансгрессии («запретного перехода») находились либо в области сакрального, освященного мира за пределами профанной реальности (ангелы, боги и т.п.), либо их носители стигматизировались в отдельную касту (евнухи, певцы-кастраты, индийская каста «хиджра» и т.п.).

циального порядка, основанного прежде всего на воспроизводстве и легитимации аскриптивно закрепленных различений («живой – мертвый», «человеческое – нечеловеческое» и др.). Когда Г. Гарфинкель в 1950-е гг., работая в университетской больнице, подробно описывал известный в социологической литературе случай с транссексуалом Агнес как особый пример оригинального и экстраординарного этнометодологического эксперимента над собственной личностью [9], он отмечал, что подобные гендерные сбои являются «нормативно запрещенными» и вызваны прежде всего неконтролируемыми анатомическими аномалиями. Даже сами носители подобных «переходов» в те времена не подвергают сомнению типизацию дихотомизированной половой структуры и всеми силами стремятся убедить себя и окружающих в своей нормальности, несмотря на «вынужденную» смену аскриптивного статуса. Подобные довольно редкие случаи становились предметом изучения на факультетах психиатрии, урологии и эндокринологии, что подчеркивало их «природно» ненормальный, вынужденный, адаптивный характер. Но так было до сих пор. Новая нормативная реальность такова, что морфологическая структура возможностей сужает область нормативно запрещенного путем дерегуляции первичных статусно-аскриптивных различий. Сверхиндивидуализированное общество создает десятки определений новых гендерных идентичностей. Например, социальная сеть «Фейсбук» с 2014 г. предоставила своим пользователям в США и Великобритании возможность выбора 70 вариантов ответа на вопрос о своей гендерно-половой идентичности - от асексуала и андрогина до «двоедуха» (two-spirit) и полигендера. Также можно выбрать и местоимение для обращения к себе - «он», «она» или «они/мы». Социальное творчество происходит в таком масштабе, что само наличие отклоняющегося поведения в гендерных практиках ставится под вопрос, что создает новую супернорму - гендерную нейтральность, т.е. отсутствие девиации (как таковой) . С социологической точки зрения представляет интерес вопрос, как в ситуации беспрецедентного нормативного морфогенеза в области гендерно-сексуальной аскриптивности возможно сохранение и воспроизводство самого нормативного порядка с позиции выживания вида?

Базовой гипотезой для нас выступает предположение о существовании механизма компенсации сильных морфогенетических изменений в области эволюционной аскриптивности за счет задействования структур нормативного сопротивления или так называемого реститутивного морфотаксиса². Согласно теории борьбы за признание А. Хоннета [13] общество представляет собой легитимный порядок институционализированных практик взаимного признания, регулирующих отношения между субъектами на различных уровнях и делающих возможным процесс социальной интеграции. Движение в

¹ Например, по данным Института Вильямса, только в США около 1,5 миллиона людей (взрослых и подростков) считают себя трансгендерами [10, 11]. В 2016 г. операций по «подтверждению пола» (gender affirmation surgeries) в США было проведено более 3200 раз, и количество подобных запросов от американцев растет ежегодно [12]. Общее же количество операций в мире по изменению первичных и вторичных признаков пола, по разным оценкам, может достигать 25 тыс. в год. А нашумевшие случаи «переходов» американцев Т. Бити («первый беременный мужчина») и К. Дженнер сделали их всемирно известными медийными звездами в сфере транссексуализма.

 $^{^2}$ В рамках анализа социальных изменений нормативный морфотаксис рассматривается диалектически как противоположность процессам нормативного морфогенезиса. Образовано от древнегреческого $t\acute{\alpha} \xi \iota_{\xi}$ («таксис») – порядок, организация, устроение. Ср.: синтаксис.

сторону расширения границ свободы на индивидуальном или групповом уровнях характеризует ценностное измерение процесса модернизации. Однако борьба за признание автономности и свободы всегда сталкивается с требованием социальной интеграции и в этом смысле представляет собой стержень нормативной истории всякого общества. Хоннет выделяет три интерсубъективные сферы, обеспечивающие различные способы социальной интеграции и индивидуальной самореализации в условиях морфогенетического конфликта. Немного видоизменив их, можно предположить, что столкновение морфогенетических и морфотаксических сил социального порядка в условиях трансмобильности происходит на когнитивном, моральном и правовом уровнях. Первый, наиболее глубинный уровень задействует языковые, эмоциональные и бессознательные структуры личности, включая движение сексуальных желаний. Второй связан с обретением признания общественной ценности и достоинства как основания для принятия в сферу морального и коммуникативного сообщества. Здесь образуется или исчезает зона социальной стигмы. И третий уровень характеризует политический порядок доминирующих норм, включая биополитику власти.

Рассмотрим, как борьба за признание гендерно-сексуальной свободы сталкивает морфогенетические и морфотаксические элементы на трех уровнях социального порядка.

С одной стороны, казалось бы, модернизация под давлением постгуманистской индивидуализации ведет к полной легитимации персональной автономии тела и воображения, элиминируя гетеронормативность как примордиальную аскриптивную реальность. Однако, как показывают исследования, легитимизация суверенного публичного гендера даже в развитых обществах не распространяется так свободно на сексуальные нормы, обладающие более ригидным характером. Американские исследовательницы К. Шилт и Л. Уэстбрук, в частности, на основе серии интервью и анализа уголовной хроники указывают, что паттерны смешанного взаимодействия с открытыми трансгендерами в ситуации публичного контакта вполне позволяют не принимать во внимание половую принадлежность индивида и конструировать его/ее гендерную идентичность сугубо перформативно (через гендерный дисплей). Но как только трансгендер входит в пул сексуальных партнеров представителя гендерного большинства, приписывание статусно-ролевой позиции актуализирует примордиальную гетеронормативность: «...одних культурных гениталий больше недостаточно, а определенность в биологических гениталиях становится обязательной – либо пенис, либо вагина» [14. P. 461]. Нарушение нормы сексуальной аскриптивности может вести к тяжелым последствиям – 56% убийств трансгендеров в США в период с 1990 до 2005 г. связаны именно с чувством обмана, которое испытывал убийца со стороны жертвы [14. Р. 452].

В другом известном лонгитюдном исследовании транссексуалов в Швеции, проводившемся с 1973 по 2003 г., было установлено, что в 10–11-летний период после смены пола эти люди имеют гораздо более высокие показатели смертности, а также более подвержены суицидальному поведению или другим психическим отклонениям, чем у обычного населения (контрольной группы) [15]. О причинах этого исследователи напрямую не говорят, но в последующих интервью некоторые авторы указывали на значение домини-

рующих культурных и социальных факторов. Австралийские транссексуалы в проведенном среди них обширном обследовании подтверждают, что помимо влияния проблем с самоидентификацией психические отклонения и поведенческие девиации у них возникают на фоне сложившейся в обществе социальной трансфобии [16]. То же самое относится и к трансгендерам, причем вне зависимости от «демократичности» страны проживания: депрессия, суицидальные склонности являются их наиболее типичными психическим проблемами во всем мире и во многом провоцируются повсеместной дискриминацией, стигматизацией, буллингом, социальным отвержением и насилием со стороны окружения [17].

Хотя многие страны (от Непала до Канады) в последние годы юридически признали внебинарную сексуальную норму, позволяя людям при рождении или в течение жизни обозначать в документах «третий» или «иной» пол, сопротивление традиционной нормативной системы сексуальной трансмобильности на бытовом, медицинском, юридическом уровнях остается высоким. В Таиланде, где транссексуализм приобрел особую (по многим причинам) популярность и медицинскую доступность, государство тем не менее отказывает местным транссексуалам («катоям») в изменении пола юридически, требуя сохранять в паспорте и других документах указание на физиометрические данные при рождении. Характерной в этом смысле является и история с выпущенным в 2016 г. правительством США руководством для vчебных заведений, рекомендовавшим признать право трансгендеров пользоваться мужским или женским туалетом в соответствии с их собственным выбором [18]. Сначала 11 штатов потребовали отмены этой директивы, а затем новая администрация Д. Трампа отменила ее вовсе. С 2013 г. в США также на законодательном уровне продвигается требование устанавливать публичные (одиночные) унисекс-туалеты, но, как говорят даже самые убежденные сторонники гендерного равенства, подобные заведения хоть и дают свободу для трансгендеров, но для большинства других, и прежде всего женщин, остаются неприемлемыми, так как для многих из них «туалетные комнаты по-прежнему воспринимаются местом особой (женской) социализации» [19. Р. 219]. На международном уровне важным прецедентом можно считать решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ІААГ), принятое в 2018 г. по поводу допуска к соревнованиям женщин с гиперандрогенизмом, чей уровень тестостерона в крови равен или превышает 5 наномоль на литр, т.е. гораздо выше, чем у большинства женщин (не более 1,79). Новые правила требуют, чтобы такие легкоатлетки либо понижали уровень тестостерона, начиная за полгода до соревнований, либо заявлялись на соревнования для мужчин. В ІААГ считают, что повышенный тестостерон дает спортсменкам в указанных дисциплинах «значительное преимущество», а новые требования должны способствовать «честному и полноценному соревнованию» [20]. Эти правила заменили регламент 2011 г., который предоставлял право запретить гиперандрогенным спортсменкам вообще выступать под эгидой IAAF.

В то же время вторичными последствиями социального морфотаксиса бинарных сексуальных норм является стремление самих транссексуалов избежать гендерной дисфории путем принятия своего статуса внутри, а не вне сексуальной гетеронормативности. В частности, австралийские FtM («жен-

щины, ставшие мужчинами») в большинстве своем признают за собой именно «прямой» мужской пол и полностью отвергают использование женских местоимений относительно себя [16. Р. XIV]. В то же время хотя большинство из них не производили фаллопластику, ограничившись гормональной терапией и другими паллиативами (прежде всего из-за дороговизны операций), отношение к остающимся у них «старым» гениталиям выражается в символической и психологической деконструкции вагинальной онтологии: психологически травмирующие остающиеся части женского тела воспринимаются как «не свои», а первичные половые признаки обозначаются с использованием не традиционной «женской» терминологии, а специальных эвфемизмов типа «bonus hole», «front hole», «boy hole» [Ibid. Р. 20]. В сексуальных же отношениях распределение ролей между FtM и их партерами (которые могут быть разного полового и гендерного статуса) строится по фаллоцентричному гетеросексуальному типу — доминирующий мужчина и подчиненная женщина.

Таким образом, морфогенезис полинормативности в *гендерной* трансмобильности сталкивается с фреймированием реальности на более низком уровне в виде регенерации (морфотаксиса) биполярных *сексуальных* норм. Это закономерно ставит вопрос о необходимости выделения примордиальных (в данном случае сексуально-половых) и вторичных (гендерных) норм аскриптивности в обществе.

Можно предположить, что в дальнейшем борьба за признание сексуальной полинормативности продолжится. Например, интерсексуальность (гермафродитизм) при рождении все еще чаще диагностируется как патология, требующая «нормализующего» хирургического вмешательства. Однако психологические, медицинские и социальные последствия таких операций очень часто негативным образом сказываются на судьбе человека. И эта проблема активно ставится на повестку дня: известные люди делают каминг-аут и рассказывают о своем травматическом опыте (модель Хане Габи Одиль), а такая организация, как InterACT Advocates for Intersex Youth, отстаивает защиту прав интерсексов в США и пропагандирует необходимость добровольного согласия на подобные операции. Возникает вопрос: останется ли бинарная сексуальность в будущем доминирующей нормой? Если связывать половые различия с физическим воспроизводством, то однозначно нет, о чем нас обоснованно предупреждают такие исследователи, как уже упоминавшийся ранее Грили.

Однако сексуальная бинарность имеет гораздо более фундаментальную природу своего происхождения и не связана напрямую с половыми (генетическими) различиями. Биологические факторы не являются здесь решающими. Связь сексуальной идентичности и генитального развития биологически не гарантирована в природе. Двуполое деление в животном мире по генитальному признаку нельзя назвать естественной (единственно возможной) предопределенностью. Данные показывают, что когда речь идет о репродуктивном поведении, в природе возможны совершенно разные генетические модели половой идентификации: виды, лишенные половых хромосом, но имеющие четкие мужские и женские особи (крокодилы); женские особи могут не иметь вагины и при этом копировать строение мужского тела с помощью псевдопениса и мошонки (пятнистые гиены); организмы, способные

самостоятельно переключать свой пол в зависимости от обстоятельств (табачный групер); анатомически бесполые (недуальные) организмы, размножающиеся самоклонированием (амазонские моллинезии). Что касается человека, то его половое поведение составляет целую систему, состоящую из генетического пола, гонадного пола, гормонального пола, гаметного пола, соматического пола и только потом гражданского пола, психического пола, психосексуального пола и социального пола. При этом природный (генитальный) пол может естественным образом сам меняться со временем. Так происходит в деревне Салинас в Доминиканской Республике, где зафиксирован феномен детей «гуэведочес», когда родившиеся (генитальные) девочки в период полового созревания превращаются из-за гормонального выброса в мальчиков. В целом из многолетнего опыта психобиологии известно, что полиморфная перверсивность личности на ранних этапах взросления делает генитальную реализацию сексуальности лишь одним из многих вариантов либидинальной жизни, поэтому нельзя сделать универсальное заключение о так называемой нормальной сексуальной жизни.

Важнейшей заслугой активно развивающейся науки эво-дево (синтез эволюционной биологии и биологии развития) стало обоснование старой интуиции классического психоанализа о том, что человеческая сексуальность не предустановлена биологически и очень многое зависит от скрытой программы онтогенеза в среде себе подобных [21]. Фенотипическая пластичность, таким образом, может доминировать над генотипом. Этот же тезис, но в социально-философском ключе, является центральным и для современной квир-теории (Дж. Батлер и др.), базирующейся на работах 3. Фрейда, М. Фуко, Л. Иригарэ и Т. де Лаурентис и неизменно подчеркивающей, что «биологизация не является "правдой" о поле, а дискурсом, который легитимировал и легитимирует до сих пор распределение власти, доступ к ресурсам, участие в политике и культурных процессах при помощи гендерной матрицы, предъявляемой как нечто "естественное"» [22. С. 10]. Таким образом, и эводево, и квир-теория ниспровергают натуралистичность концепций маскулинности и фемининности, дестабилизируя дуалистистическую природу связи пола, гендера и желания.

Однако если квир-теория отвергает всякую гетеротопию в принципе как биополитическую программу сексуального подавления и депривации, то психоанализ в его лакановской (структурной) версии вскрывает в самом «гендерном беспокойстве» наличие непреодолимых барьеров в виде морфотаксических структур, скрытых в недрах бессознательного. Этот механизм гендерно-сексуального морфотаксиса позволяет увидеть, как происходит воспроизводство гетеронормативности на наиболее глубинном уровне личностной организации.

В соответствии с трехчастной структурой человеческой психики, предложенной Ж. Лаканом, «мужское» и «женское» образуют фундаментальное разделение на уровне так называемого *Реального* (бессознательного), лежащего в основе *Символического* (культуры) и *Воображаемого* (самости). Следуя теории Фрейда о функции наслаждения в жизни человека, Лакан доводит до логического конца тезис о том, что всякая (рациональная) деятельность человека направлена на удовлетворение желания, имеющего в своей основе движение сексуализированной энергии Ид. Так, язык как сфера игры означа-

ющих и означаемых, по Лакану, напрямую связан с бессознательным и его структура питает свои корни именно в нем. Это значит, что бессознательное содержит в себе некое базовое различение, которое лежит в основании всех других гетеротопических различений, используемых в языке для означивания мира: форма – материя, причина – следствие, разум – чувства, активный – пассивный, субъект – объект и др. Таким образом, символический порядок, в который погружен экстернализованный человеческий мир, упирается, по Лакану, именно в половое различие на уровне Ид как фундаментальное означающее для этого мира. При этом само это различие, или, как предпочитал говорить о нем сам Лакан, «разделение», подчеркивая его радикально несимволический, «реальный», характер, зиждется не на биполярном выделении и противопоставлении двух сексуальных природ, что, само по себе является, скорее, исторически сложившейся биополитической конструкцией гетеронормативного дискурса, а на неизбывном разрыве между постоянным стремлением человека к наслаждению и невозможностью его полностью достичь. В этом смысле маскулинный и фемининный тип наслаждения рождаются после стадии кастрации в онтогенезе как фундаментальный раскол («нехватка») бессознательного в стремлении Я к достижению целостности. Я может выбирать либо один, либо другой тип, но слиться в один они не могут, так как представляют собой разные модальности достижения целостности.

Эта перманентно отсутствующая, но искомая целостность, «минус бессознательного» обозначается Лаканом вслед за Фрейдом сначала концептом фаллоса, а позднее фаллической функцией [23]. Ее реализация регулирует развитие всех неврозов, психозов и перверсий у человека и устанавливает ту бессознательную позицию, благодаря которой он идентифицирует свой пол. Как подчеркивает Лакан, клинический опыт показывает, что отношение субъекта к фаллосу устанавливается независимо от анатомических различий между полами. Единственное желание человека – найти свой фаллос, т.е. обрести фаллическую (маскулинную) целостность, ибо другой (фемининной) целостности в Реальном не существует. Однако Я, чувствуя свою (фаллическую) нехватку, стремится к Другому («наслаждаться иначе, как, будучи игрушкой чужого наслаждения, вы не умеете», говорит Лакан), но никогда не может преодолеть этот разрыв, поэтому в Реальном пола «сексуальных отношений не существует», фаллосу нет пары. Можно либо (самому) иметь фаллос, либо (самому) быть им, и третьего не дано. В эротическом плане это проявляется в двух типах висцерального наслаждения - мужской тип предполагает «телеологическую» центрацию вокруг фаллического оргазма, женский тип рассредоточен вокруг системы отдельных, но взаимосвязанных удовольствий. И оба типа могут, как известно, существовать друг без друга. Как описывает эту вечную «невстречу» С. Жижек, современный последователь Лакана, «"мужское" и "женское" – не два вида в роде "Человек", а, скорее, две разновидности неудачи субъекта достичь полной личности Человека. "Мужчина" и "женщина" вместе не образуют Целого, поскольку и тот, и другая сами по себе – несостоявшееся Целое» [24. С. 126].

Таким образом, Лакан предоставляет нам возможность увидеть третью альтернативу объяснения генезиса пола. Если для «деконструктивистов» от Фуко до Батлер пол — не природная данность, а медикализированный bricolage, искусственное объединение разнородных дискурсивных практик,

то Лакан отвергает эту точку зрения, однако не возвращаясь при этом к натуралистическому объяснению. Психоаналитическая «онтология» пола может быть понята как «радикальная гетерономия, зияющая внутри человека», говоря словами Лакана. И эта гетерономия находится не между Мужчинами и Женщинами, но между языком как системой различий и примордиальной «нехваткой» целостности, характеризующей всю сферу бессознательного как источника жизни.

С этой позиции становится понятно, почему всякое «гендерное беспокойство» и все его новейшие манифестации никогда не будут способны преодолеть источник своего беспокойства, несмотря на все достижения в области техники, генетики и демократии. Как указывает еще одна последовательница Лакана, А. Зупанчич, «когда на повестку выдвигается определенная идентичность, она автоматически скрывает собой половое различие, в котором как раз и лежат истоки гендерного беспокойства. То есть с онтологической точки зрения выходит, что некая позитивная сущность маскирует исконную негативность различия. Другими словами, минус, соответствующий половому различию, предъявляется в виде плюса, т.е., если угодно, очередной сексуальной идентичности. Таким образом неотъемлемое затруднение, внутренне различие, запускающее гендерное беспокойство, отодвигается дальше, и это повторяется всякий раз при формировании новой идентичности» [25]. Гендерная полинормативность, гомо- и транссексуализм становятся лишь новыми формами обретения фаллоса, и всякое преодоление генитальности в половом вопросе, производящееся в феминизме или квиртеории, в своем отрицании бинарной онтологии производит лишь один тип движения - в сторону маскулинной целостности. Квир-побуждение, таким образом, борясь с генитальностью и гетеронормативностью во имя свободы самовыражения, неявно эксплуатирует тот идеал наслаждения фаллической нехваткой, из которого произрастает сама гетеронормативность как таковая. Анализируя сущность современной «постсексуальной» программы, отечественные исследователи-психоаналитики М. Есипчук и А. Смулянский пишут: «Невозможно не заметить, до какой степени в квир-повестке значима та часть Воображаемого, которая отвечает за представление о привлекательности мужского, отправляемого через нехватку. Чем громче на программном уровне квир-мысль отрекается от того, что она сама опрометчиво определяет как жесткую половую бинарность, тем ярче в ней проступает акцент на том, что Лакан обозначает как -ф, функцию балансирования на неустойчивом краю генитальности. Именно по этому краю так или иначе, независимо от взятого направления гендерной идентификации, и происходит выбор в формировании квир-идентичности» [26. С. 62].

В этой связи частным, но весьма характерным примером трансгрессивной связи женского и мужского желания в области Воображаемого стал литературный феномен фанфикшн в жанре слэш – любительские литературные (чаще всего) произведения, в основе которых лежит сюжет о гомосексуальных отношениях популярных героев и персонажей-мужчин, изначально таких отношений не имевших. Как правило, пара, чьи отношения описываются в новом сюжете, указывается через значок /, причем на первом месте стоит герой-инициатор этих самых отношений. Слэш сам различается как по размеру (от небольших зарисовок до целых романов), так и по жанру (от без-

обидного РG-13, где между героями случается максимум целомудренный поцелуй, до порнографического NC-21 с детальным описанием постельных сцен). Персонажами слэш-произведений могут быть как герои известных произведений, так и реальные знаменитости. Их выдуманные любовные истории могут заканчиваться вплоть до мужской беременности. В большинстве случаев авторами слэша являются женщины – от юных фанаток до замужних дам. Свои опусы они пишут не ради прибыли, а для собственного удовольствия, реализуя тайное желание, по их словам, «перенестись в другой мир и испытать чувства, которые не можешь испытать в жизни» (Цит. по: [27]). Странный и неполитический характер сообщества не привлекает к нему существенного институционального внимания, но, по некоторым оценкам, эта субкультура является сегодня одним из крупнейших теневых поставщиков молодых квиров и трансгендеров, поскольку увлечение охватывает многотысячные интернет-площадки, становясь для многих способом свободного выражения своей идентичности. И социальное значение этого феномена больше, чем просто культурная сублимация тайных женских страстей. В русле гендерного дискурса слэш показывает невозможность элиминировать фаллос даже в сугубо женском письме, еще раз подтверждая, что связь сексуальности, желания и пола, против которой восстает радфем, существует и существует как реализация фаллической функции бессознательного. Так сексуальная дифференциация продолжает иметь значение для поддержания гендерного порядка.

Заключение

Индивидуализация образа жизни вкупе с техническим прогрессом дают сегодня свободу для полного высвобождения энергии и воображения в социальных практиках трасмобильности. Разрушение традиционно устойчивых нормативных связей между полом, гендером и сексуальностью ставит вопрос о признании или непризнании новых статусно-ролевых идентичностей на разных уровнях социального порядка. Структурную взаимосвязь нормативного морфогенезиса и ригидных эволюционных структур морфотаксиса в гендерно-сексуальных трансмобильных практиках в соответствии с подходом А. Хоннета можно трактовать как борьбу признания и непризнания гетеронормативности на трех уровнях социальности: когнитивном, моральном и правовом.

Как мы видели, дихотомизированные сексуальные (мужской – женский) категории все еще играют важнейшую роль в распределении примордиальных типизаций социальных статусов и ролей, активизируя механизмы воспроизводства гетеронормативности в условиях беспрецедентной морфологической свободы. Трансмобильные переходы и переключения между сексуальными статусами носят, скорее, трансгрессивный («запретный») характер, поэтому любые морфогенетические изменения в этой сфере вызывают компенсационные и гиперкомпенсационные процессы со стороны явных (правовых) и скрытых (моральных и когнитивных) структур социального контроля. При этом морфологическая свобода на «внешнем» гендерном уровне создает или открывает новые, более глубокие уровни социальнонормативного морфотаксиса половых различий внутри процессов самоидентификации личности.

Нужно признать, что диалектика морфогенеза и морфотаксиса половой гетеронормативности находится в весьма напряженном состоянии, ибо различные социальные изменения в этой сфере под давлением социальной эмансипации идут быстрее любых реактивных процессов, поэтому неизбежно возникают нормативные разрывы в признании новых гендерно-сексуальных трансмобильностей. На одном полюсе находится официальное признание «третьего пола» и легитимация трансгендерного сообщества, на другом – правовые ограничения для транссексуалов со стороны государства и других социальных институтов. На одном полюсе морфологическая свобода индивида, на другом – гендерная дисфория и стремление к нормализации в рамках традиционной бинарной сексуальности. На одном полюсе полное отрицание онтологической гетерономии как нормы, на другом – фаллическое бессознательное.

Не стоит сомневаться, что борьба за признание в сфере гендерносексуальной свободы будет продолжена, однако выявленные нами структуры непризнания, воспроизводящиеся в процессе морфотаксиса, не будут уничтожены полностью, но найдут новые формы организации на разных уровнях нормативного порядка с целью поддержания гетеронормативности как эволюционной основы сексуального воспроизводства человека как вида.

Литература

- 1. $\it Elliott~A.$ Identity Troubles: An Introduction. Abingdon, Oxon; New York, NY: Routledge, 2016.
- 2. *Katerny I.V.* Conceiving trans-Mobilities: normative dimension of a new social practice // The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World. View from Russia / Editorin-chief V.A. Mansurov [On CD ROM]. Moscow: RSS, 2016. P. 66–86.
- 3. *Нормы* и мораль в социологической теории: от классических концепций к новым идеям / отв. ред. И.Ф. Девятко, Р.Н. Абрамов, И.В. Катерный. М.: Весь Мир, 2017. С. 88–96.
- 4. Bostrom N. In defense of posthuman dignity // Bioethics. 2005. № 19 (3). P. 202–214. URL: https://doi.org/10.1111/j.1467-8519.2005.00437.x
- 5. Sandberg A.A. Transhumanist fault line around disability: morphological freedom and the obligation to enhance // Journal of Medicine and Philosophy. 2010. N 35 (6). P. 670–684. URL: https://doi.org/10.1093/jmp/ jhq048.
- 6. Greely H.T. The End of Sex and the Future of Human Reproduction. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2016.
- 7. Rose N. The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2007.
- 8. Dieterle R.L. The Encyclopedia of Hočąk (Winnebago) Mythology [Электронный ресурс] // URL: http://www.hotcakencyclopedia.com/ho.BerdacheOriginMyth.html (дата обращения: 27.01.2016).
 - 9. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии / пер. с англ. СПб.: Питер, 2007.
- 10. Flores A.R., Herman J.L., Gates G.J., Brown T.N.T. How Many Adults Identify as Transgender in the United States? Los Angeles, CA: The Williams Institute, 2016.
- 11. Herman J.L., Flores A.R., Brown T.N.T., Wilson B.D.M., Conron K.J. Age of Individuals who Identify as Transgender in the United States. Los Angeles, CA: The Williams Institute, 2017.
- 12. ASPS Reveals First Ever Gender Confirmation Surgery Stats [Электронный ресурс] // URL: https://www.plasticsurgery.org/video-gallery/asps-reveals-first-ever-gender-confirmation-surgery-stats (дата обращения: 01.05.2018).
- 13. Honneth A. The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts. Cambridge, MA: MIT Press, 1996.
- 14. Schilt K., Westbrook L. Doing gender, doing heteronormativity: 'gender normals,' transgender people, and the social maintenance of heterosexuality // Gender & Society. 2009. Vol. 23, № 4. P. 440–464.

- 15. Dhejne C., Lichtenstein P., Boman M., Johansson A.L., Långström N., Landén M. Long-term follow-up of transsexual persons undergoing sex reassignment surgery: cohort study in Sweden // PloS One. № 6(2), e16885. URL: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0016885
- 16. Jones T., del Pozo de Bolger A., Dunne T., Lykins A., Hawkes G. Female-to-Male (FtM) Transgender People's Experiences in Australia. Cham: Springer, 2015.
- 17. Virupaksha H.G., Muralidhar D., Ramakrishna J. Suicide and Suicidal Behavior among Transgender Persons // Indian Journal of Psychological Medicine. 2016. № 38(6). P. 505–509. URL: https://doi.org/10.4103/0253-7176.194908
- 18. Dear Colleague Letter on Transgender Students, May 13, 2016 [Электронный ресурс] // URL: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201605-title-ix-transgender.pdf (дата обращения: 21.10.2017).
- 19. Case M.A. Why not abolish laws of urinary segregation? // Molotch H., Norén L. (eds). Toilet: Public Restrooms and the Politics of Sharing. New York: New York University Press, 2010. P. 211–225.
- 20. *IAAF* Eligibility Regulations for the Female Classification (Athlete with Differences of Sexual Development). Published on 23 April 2018, coming into effect as from 1 November 2018. Monaco, 2018
- 21. West-Eberhard M.J. Developmental Plasticity and Evolution. New York: Oxford University Press, 2003.
- 22. Градинари И. Квир-исследования: введение // Критика гетеронормативного порядка: сб. ст. / под ред. И. Градинари. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015.
- 23. Лакан Ж. Образования бессознательного : (Семинары: Книга V (1957/1958)) / пер. с фр. М. : Гнозис : Логос, 2002. 608 с.
- 24. Жижек С. Метастазы удовольствия: Шесть очерков о женщинах и причинности. М.: ACT, 2005.
- 25. Корягин К., Шапкина Н. Аленка Зупанчич: «Спасти половое различие или самим спастись от него?» [Электронный ресурс] // URL: https://syg.ma/@sygma/alienka-zupanchich-vsie-eto-nie-prosto-pro-sieks-i-psikhologhiiu (дата обращения: 05.05.2018).
- 26. Есипчук М., Смулянский А. Что такое фаллос? // Разногласия : Журнал общественной и художественной критики. 2016. № 7. С. 47–65.
- 27. Васильева Л. Феномен слэша, или Однополая любовь как литературный тренд [Электронный ресурс] // Cosmopolitan, 11 июня 2014 г. URL: https://www.cosmo.ru/psychology/fenomen-slesha-ili-odnopolaya-lyubov-kak-literaturnyy-trend/#part0 (дата обращения: 10.05.2018).
- *Ilya V. Katernyi*, Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) (Moscow, Russian Federation); Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

E-mail: yarkus@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 112–125.

DOI: 10.17223/1998863X/48/11

GENDER-SEXUAL TRANSMOBILITY AS A NORMATIVE CHALLENGE IN A POSTHUMAN WORLD

Keywords: posthuman; morphological freedom; recognition; gender; sex; queer; gender binary.

The article engages with consequences that the currently proliferating practice of reinvention of gender-sexual identities has for the normative order of society. An emerged posthuman era is featured by "morphological freedom" (A. Sandberg, et al.) conceived as a civil right of a person to modify their own body on their own terms. As a consequence, we can observe a major normative morphogenesis in the domain of the gender binary system. The longstanding cultural assumption that male-female dualities are "natural and immutable" is now rejected as a socially constructed system of patriarchy and male privilege in pre-modern and modern societies. The increasing number of transgender and transsexual passings around the world, as a part of a much wider phenomenon of visceral transmobility, challenges primordial ascriptive heteronormativity. In this context, of sociological interest is the question of how current normative morphogenesis is embedded into the socio-normative order, or whether there are any restrictions and barriers to prevent the dismantling of ascriptive constraints in the posthuman society. The proposed idea is that normative morphogenesis in the domain of ascriptive gender status allocation is accompanied with consistent maintenance of heteronormativity in a deeper sex assignment system. Although there are many countries worldwide (from Nepal to Canada) that

have recently recognized non-binary sexual statuses allowing individuals to legally assign 'third' sex, reluctance to recognize sexual transmobility on a mundane sexual level, as well as on the level of unconscious intentions, and institutional medical and legal activities, continues to keep on. Based on secondary analysis of relevant surveys' data, case-studies, evo-devo ideas, psychoanalysis, the main inference of the article is about the rigidness of morphotaxis (as opposite to morphogenesis), a latent mechanism functioning to preserve the primordial social order by the way of persistent reproduction of heteronormativity. Elaborating on Axel Honneth's theory of the "struggle for recognition", it is concluded that the structures of "non-recognition" reproduced in the process of normative morphotaxis still matter and will not be eliminated by emerging opportunities of "morphological freedom", but will ever find ways to contain transmobility in the domain of the gender-sexual normative system for the sake of the survival of the humankind, which is possible on the evolutionary foundation of sexual binary only.

References

- 1. Elliott, A. (2016) Identity Troubles: An Introduction. Abingdon, Oxon; New York: Routledge.
- 2. Katernyy, I.V. (2016) Conceiving trans-Mobilities: normative dimension of a new social practice. In: Mansurov, V.A. (ed.) *The Futures We Want: Global Sociology and the Struggles for a Better World.* Moscow: RSS. pp. 66–86.
- 3. Devyatko, I.F., Abramov, R.N. & Katernyy, I.V. (2017) *Normy i moral' v sotsiologicheskoy teorii: ot klassicheskikh kontseptsiy k novym ideyam* [Norms and morality in sociological theory: from classical concepts to new ideas]. Moscow: Ves' Mir. pp. 88–96.
- 4. Bostrom, N. (2005) In defense of posthuman dignity. *Bioethics*. 19(3). pp. 202–214. DOI: 10.1111/j.1467-8519.2005.00437.x
- 5. Sandberg, A.A. (2010) Transhumanist fault line around disability: morphological freedom and the obligation to enhance. *Journal of Medicine and Philosophy*. 35(6). pp. 670–684. DOI: 10.1093/jmp/jhq048.
- 6. Greely, H.T. (2016) *The End of Sex and the Future of Human Reproduction*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- 7. Rose, N. (2007) The Politics of Life Itself: Biomedicine, Power, and Subjectivity in the Twenty-First Century. Princeton, NJ: Princeton University Press.
- 8. Dieterle, R.L. (n.d.) *The Encyclopedia of Hočąk (Winnebago) Mythology*. [Online] Available from: http://www.hotcakencyclopedia.com/ho.BerdacheOriginMyth.html. (Accessed: 27th January 2016)
- 9. Garfinkel, G. (2007) *Issledovaniya po etnometodologii* [Research on ethnomethodology]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.
- 10. Flores, A.R., Herman, J.L., Gates, G.J. & Brown, T.N.T. (2016) *How Many Adults Identify as Transgender in the United States?* Los Angeles, CA: The Williams Institute.
- 11. Herman, J.L., Flores, A.R., Brown, T.N.T., Wilson, B.D.M. & Conron, K.J. (2017) *Age of Individuals who Identify as Transgender in the United States*. Los Angeles, CA: The Williams Institute.
- 12. The American Society of Plastic Surgeons. (2016) ASPS Reveals First Ever Gender Confirmation Surgery Stats. [Online] Available from: https://www.plasticsurgery.org/video-gallery/asps-reveals-first-ever-gender-confirmation-surgery-stats. (Accessed: 1st May 2018).
- 13. Honneth, A. (1996) *The Struggle for Recognition. The Moral Grammar of Social Conflicts*. Cambridge, MA: MIT Press.
- 14. Schilt, K. & Westbrook, L. (2009) Doing gender, doing heteronormativity: 'gender normals,' transgender people, and the social maintenance of heterosexuality. *Gender & Society*. 23(4). pp. 440–464. DOI: 10.1177/0891243209340034
- 15. Dhejne, C., Lichtenstein, P., Boman, M., Johansson, A.L., Långström, N. & Landén, M. (2011) Long-term follow-up of transsexual persons undergoing sex reassignment surgery: cohort study in Sweden. *PloS One*. 6(2). DOI: 10.1371/journal.pone.0016885
- 16. Jones, T., del Pozo de Bolger, A., Dunne, T., Lykins, A. & Hawkes, G. (2015) Female-to-Male (FtM) Transgender People's Experiences in Australia. Cham: Springer.
- 17. Virupaksha, H.G., Muralidhar, D. & Ramakrishna, J. (2016) Suicide and Suicidal Behavior among Transgender Persons. *Indian Journal of Psychological Medicine*. 38(6). pp. 505–509. DOI: 10.4103/0253-7176.194908
- 18. US Department of Justice, US Department of Education. (2016) *Letter on Transgender Students, May 13, 2016*. [Online] Available from: https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/letters/colleague-201605-title-ix-transgender.pdf. (Accessed: 21st October 2017).

- 19. Case, M.A. (2010) Why not abolish laws of urinary segregation? In: Molotch, H. & Norén, L. (eds). *Toilet: Public Restrooms and the Politics of Sharing*. New York: New York University Press. pp. 211–225.
- 20. IAAF. (2018) IAAF Eligibility Regulations for the Female Classification (Athlete with Differences of Sexual Development). Published on 23 April 2018, coming into effect as from November 1, 2018. Monaco: [s.n.].
- 21. West-Eberhard, M.J. (2003) *Developmental Plasticity and Evolution*. New York: Oxford University Press.
- 22. Gradinari, I. (2015) Kvir-issledovaniya: vvedenie [Quier studies: introduction]. In: Gradinari, I. (ed.) *Kritika geteronormativnogo poryadka* [Criticism of the heteronormative order]. Moscow: Izd-vo In-ta Gaydara.
- 23. Lacan, J. (2002) *Obrazovaniya bessoznatel'nogo* [The Formations of the Unconscious]. Translated from French. Moscow: Gnozis: Logos.
- 24. Žižek, S. (2005) *Metastazy udovol'stviya. Shest' ocherkov o zhenshchinakh i prichinnosti* [The Metastases of Enjoyment: Six Essays on Woman and Causality]. Translated from English by Sh. Martynova. Moscow: AST.
- 25. Koryagin, K. & Shapkina, N. (n.d.) Alenka Zupanchich: "Spasti polovoe razlichie ili samim spastis' ot nego?" [Alenka Zupanchich: "To save the sex difference or to be saved from it?"]. [Online] Available from: https://syg.ma/@sygma/alienka-zupanchich-vsie-eto-nie-prosto-pro-sieks-i-psikhologhiiu. (Accessed: 5th May 2018).
- 26. Esipchuk, M. & Smulyanskiy, A. (2016) Chto takoe fallos? [What is a phallus?]. *Razno-glasiya. Zhurnal obshchestvennoy i khudozhestvennoy kritiki*. 7. pp. 47–65.
- 27. Vasilieva, L. (2014) Fenomen slesha, ili odnopolaya lyubov' kak literaturnyy trend [The slash phenomenon, or same-sex love as a literary trend]. *Cosmopolitan*. 11th June. [Online] Available from: https://www.cosmo.ru/psychology/psychology/fenomen-slesha-ili-odnopolaya-lyubov-kak-literaturnyy-trend/#part0. (Accessed: 10th May 2018).

УДК 316.354

DOI: 10.17223/1998863X/48/12

М.В. Удальцова, Е.А. Абрамова

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КАК МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОСТИ

Показывается, что социальное взаимодействие — это базовый концепт в социологическом знании. В качестве объединяющих интересов в российском обществе, рассматриваются интересы справедливости, их нарушение вызывает социальное отчуждение. В этих условиях формируется неустойчивая, «нарративная» социальность. Предлагается при формировании социальной политики учитывать нарастающие протестные настроения населения и активизировать поиск социальных «скреп», способных усиливать взаимодействие людей и объединять их в позитивные социальные сообщества.

Ключевые слова: социальное взаимодействие, социальное отчуждение, справедливость, избыточное неравенство, социальный порядок, нарративная социальность.

Чтобы управлять развитием, надо его изучать как личностное движение к общественному согласию.

Ж.Т. Тощенко

Перспективы развития страны зависят не столько от природных ресурсов, сколько от консолидации социума и качества управления. Сегодня социальный мир становится не только более динамичным, но и более пластичным, происходит интерференция объективных, субъективных и виртуальных реалий, прагматизм выступает как вершина рациональности. «Люди чувствуют, что живут в мире с ослабленными человеческими связями ...подвержены «нео-отчуждению», субъективно испытывают на себе то, что мир «мёртв и глух к их проблемам» [1. С. 23]. Социальные формы жизни преобразуются в коллективные формы сетевых социальных организмов [2]. Иерархические структуры по степени влияния на социальные процессы всё более уступают структурам сетевым, горизонтальным. В этих условиях возрастает важность исследования социетальных характеристик и уровня внутренней потребности людей в общественном согласии. Предметом социологических исследований становится не только судьба человечества (как у футурологов), но и социальное будущее, и способы социального взаимодействия. В этой связи необходимо сохранить социальные завоевания прошлой эпохи, «того выстраданного историей порядка, который помогал после войны сохранять социальный мир и культивировать гуманное общество» [3. С. 4].

Неолиберальный мир обречен на продуцирование неравенства и социального отчуждения. Необходимо искать варианты более справедливого социума. Не случайно в современной социологии наблюдается тенденция обновления классических парадигм, связанных с обоснованием идей, определяющих некоторые принципиально новые направления социологического знания. К числу таких направлений в отечественной социологии

М.К. Горшков и Ж.Т. Тощенко относят теорию и практику социального планирования, концепцию диспозиционной теории личности, гуманистический поворот в социальных науках, концепцию клеточной глобализации, концепции институциональных матриц, социологию жизни, социальной справедливости [4. С. 13]. Перечисленные направления социологического знания в качестве базисного концепта имеют понятие социального взаимодействия. Данное понятие, по сути, является общим, сквозным для многих направлений общей и отраслевой социологии.

Ещё К. Маркс в «Немецкой идеологии» отмечал, что «...способ производства надо рассматривать не только с той стороны, что он является воспроизводством физического существования индивидов. В ещё большей степени, это - определенный способ деятельности данных индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный образ жизни» [5. С. 19]. И далее они замечают: «...для нас исходной точкой являются действительно деятельные люди» [Там же. С. 25]. В ходе своей деятельности они не могут не взаимодействовать друг с другом. «...Вовсе не святым понятием человека, а действительными людьми в их действительном общении созданы эмпирические отношения, и уже потом, задним числом, люди эти отношения конструируют, изображают, представляют себе, укрепляют и оправдывают как откровение понятия «человек»» [Там же. С. 222]. Взаимодействуя, индивиды становятся общественными, вступают в процесс «обобществления», который сегодня трактуется как социальность. Социальность, следовательно, выступает в качестве некоего продукта функционального взаимодействия людей. И одновременно то или иное состояние социальности в обществе является своеобразным катализатором, ускоряющим или замедляющим человеческое развитие и развитие общества. Даже представители методологически другой теории социального действия М. Вебер [6] и Т. Парсонс [7, 8] вынуждены были вводить представление о социальном взаимодействии всякий раз, когда требовалось зафиксировать проблему социальности.

Фундаментальное значение социальному взаимодействию придавали Г. Зиммель [9] и П.А. Сорокин [10]. Так, Г. Зиммель считал необходимым рассматривать реально существующие функциональные связи между людьми. «Общество, – отмечал он, – представляется как объективно существующее, реальное единство лишь через взаимодействие» [9. С. 314]. П.А. Сорокин вообще считал, что «социология изучает явления взаимодействия людей друг с другом и явления, возникающие из этого процесса взаимодействия» [10. С. 57]. При этом П.А. Сорокин не исключал из процесса взаимодействия самих индивидов. «Свойства индивидов и свойства взаимодействия функционально связаны: нельзя одно отрывать от другого» [Там же. С. 140]. У П.А. Сорокина коллективное единство, т.е. различные сообщества, в том числе и общество в целом, «существует только как система взаимодействующих единиц, без которых и вне которых оно немыслимо и невозможно, как невозможно всякое явление без всех составляющих его элементов» [Там же. С. 316].

Следовательно, социальное взаимодействие в определенной мере является тем механизмом, который переводит количество единичных индивидуумов в новое качественное состояние, некую целостность. И сами они в этой целостности уже качественно иные, чем взятые по отдельности. Через функ-

циональные социальные взаимодействия П.А. Сорокин переходит к моделированию социума как реально существующей целостности. В связи с этим анализ различных общественных и групповых структур предполагает изучение интересов различных их участников, на основе которых возникают функциональные взаимодействия внутри этих структур и формируются групповые идентичности. В современном российском обществе объединяющими интересами большинства населения являются интересы справедливости. Именно они предполагают «реинтеграцию отчужденного от собственности труда (если он наёмный), его результатов человека в общество, приспособление самого общества, его институтов к человеку, преодоление отчуждения и достижение очеловечивания социального контекста» [11. С. 14].

В основном такой же позиции придерживается и современный английский социолог Э. Гидденс: «Значительная часть социологической теории, в особенности той, что связана со структурной социологией, рассматривает социальных субъектов как менее осведомленных, менее сообразительных и опытных, чем они есть на самом деле» [12. С. 27–28]. Они рассматривают человека как результат действия внешних сил. Однако «большинство рассматриваемых научных направлений (кроме структурализма)... придаёт особое значение живому, деятельному, активному и рефлексивному характеру человеческого поведения» [Там же. С. 9]. А «структуральные свойства социальной системы существуют только благодаря непрерывному воспроизводству различных форм социального поведения во времени и пространстве» [Там же. С. 15]. В данном случае мы считаем в значительной мере синонимичными понятия социального поведения и социального взаимодействия.

Основу повседневной жизни, следовательно, составляет рефлексивный контроль потока социальных взаимодействий. Данное обстоятельство объясняет, почему «...позиционирование или расстановка индивидов в пространстве социальных взаимодействий составляет фундамент социальной жизни» [Там же. С. 20].

Признание понятия и самого явления социального взаимодействия как основополагающего в теоретической социологии особенно важно сейчас, когда от уждение различных индивидов и групп становится критическим. Под отчуждением в данном случае понимается не социально-психологическое, а социальное отчуждение, содержательная трактовка которого была дана ещё основоположником теории социального отчуждения К. Марксом, а именно: отчуждение от собственности, от труда и его результатов. Появление и усиление социального отчуждения связано с социальным неравенством, падением доходов основной массы населения. Сегодня свыше 2,2 млрд человек живут в условиях многомерной бедности (т.е. более 15% населения мира), почти 80% населения не имеет достаточной социальной защиты; около 12% (842 млн человек) страдают от хронического голода; почти половина всех рабочих (более 1,5 млрд человек) трудятся в условиях неформальной, т.е., по сути, ненадежной занятости; общий индекс удовлетворенности жизнью в мире составляет чуть более половины (5,1) [13. Р. 30–33; 42–43; 62–65; 66–69; 74-77]. Конечно, неравенство существует в обществах любых типов и отражает возможности самореализации различных групп населения. Однако речь идет о тех представителях современных обществ, душевой доход которых

ниже официальной черты бедности. В России — это те группы людей, душевой доход которых ниже прожиточного минимума. Неравенство этой категории является *избыточным*, и уровень его препятствует нарастанию социальности в обществе. Его основные проявления представлены в таких параметрах, как доля бедных во всём населении, степень неравенства в распределении денежных доходов (коэффициенты Джини и квинтильный), а в результате — общее снижение уровня жизни, безработица.

Приведённые выше параметры избыточного неравенства, социальной несправедливости, а следовательно, и социальной отчужденности в мире в определенной мере характерны и для российского общества. По оценкам специалистов, в России около 75% национального богатства сконцентрировано в руках 10% наиболее богатого населения [14. С. 5]. По уровню концентрации богатства Россия уже обогнала США. При этом в России самые богатые люди — это собственники (или владельцы) нефтяных и металлургических предприятий, использующие общенациональные ресурсы. В США это предприниматели, создавшие мировые технологические империи и внедряющие их в производство. Кроме того, в России интересы большинства госчиновников сращены с интересами крупного частного капитала. В этой среде через групповые взаимодействия формируется социальный слой, отчужденный от всего населения, происходит их самоотчуждение.

Для оценки социальной отчужденности важен не только имущественный раскол между так называемой «элитой» и населением, но и контрасты доходов различных групп населения. Хотя и введен закон о том, что заработная плата руководителей бюджетных организаций не может превышать заработную плату работников более чем в 8 раз, на деле ни в госкорпорациях, ни тем более в бизнесе это не соблюдается (в Японии и Швеции эта разница составляет 3-5 раз). А годовой доход российского олигарха в среднем в 200 000 раз больше дохода среднестатического бюджетника! В результате в 2018 г. официально число тех, кто имеет доход ниже прожиточного минимума (с 01.01.2019 г. он равен 11 280 рублей), составляет 20 млн человек [15. С. 7]. Вполне можно согласиться с утверждением, что источником избыточного социального неравенства сегодня (а следовательно, и социального отчуждения) в российском обществе является так называемый «капитализм для своих» с его клановым характером [16]. Избыточное неравенство отчуждает обычных людей от власти, от возможности влиять на политику и в целом на социальное будущее и своё собственное будущее.

Известно, что «...позитивная социальная общность (в основе которой интересы справедливости) формируется за счёт интеграции индивидуальных форм деятельности, в ходе которой и появляются некие общие социальные характеристики и социальная идентичность» [17. С. 53]. Замедление данного процесса в условиях избыточного социального неравенства способствует снижению и нравственного уровня, причём и у «элиты», и у остальных групп населения. Часть новой «элиты» практически непрофессиональна, её главный стимул активности — стремление сделать карьеру и обогатиться как можно быстрее. Социологические исследования выявляют снижение уровня терпимости ко многим порочным поведенческим практикам и у рядовых граждан: за последние 10 лет на 23% снизилась доля тех, кто нетерпимо относится к взяткам, на 29% — к неуплате налогов, на 36% — осуждающих воровство из

бюджета. И «переносчиком» этой нравственной инфекции стала наша новая «элита». Можно считать, что эти явления снижения социальной морали есть некий ответ (неосознанный и бессильный) населения на действия захватившего государство «коррумпированного сословия» [18. С. 9]. По сути, это есть формы проявления социального отчуждения, безразличного к общенациональным последствиям подобного поведения, а следовательно, свидетельства нарастания социальной отчужденности, а не усиления социальности в современном российском обществе. Некоторое представление об этом дают данные таблицы [13. Р. 30; 19. С. 206; 20. С. 336; 21. С. 152; 22. С. 282].

Степень неравенства в распределении денежных доходов в России за период 2002-2017 гг.

Показатель	2002 г.	2010 г.	2015 г.	2017 г.
Коэффициент Джини	39,9	40,1	41,6	37,7
Квинтильный коэффициент	7,6	7,3	8,2	6,6
Коэффициент неравенства людей		•••	9,6	9,3

Социальная дифференциация и нарастающее отчуждение имеют динамический характер и включают в себя не только показатели дохода, культуры, социопрофессиональной принадлежности, но и некие «жизненные траектории» групп и индивидов, интенсивность и масштаб их функционального социального взаимодействия. На данный процесс, конечно, влияют различные политические, экономические, социокультурные факторы, что приводит либо к позитивному, либо к негативному результату, т.е. к тому или иному характеру устанавливаемого социального порядка и в целом к тому или иному «масштабу» социальности либо отчужденности. Другими словами, по выражению К. Ясперса, становление нового социального порядка предполагает выработку своего «осевого времени» [23], т.е. поиск синтеза интересов хозяйственности, предпринимательства, справедливости. Об этом же говорит и Э. Гидденс: «...представление о «ситуативном» характере социального взаимодействия может быть адекватно описано эмпирически только в том случае, если мы осознаем, каким образом воспроизводство конкретных культурных, экономических и политических институтов во времени и пространстве неизменно связывается с действиями, специфичными для времени и пространства, накопленных знаний, и биографиями отдельных индивидов» [12. С. 490]. В этой связи можно говорить о «человеко-средовом метаболизме» [24. С. 105], при котором одинаково важен анализ таких трех компонентов, «как фактор сознания (информация, мотивы, оценки и т.д.), поведение, влияние внешней среды» [Там же. С. 110]. Следовательно, наследие К. Маркса, которое скоропалительно списали российские социологи, вполне объясняет понимание этих самых осевых тенденций новой эпохи, особенно применительно к основным противоречиям современных обществ. К. Маркс много говорил об отчужденности. Он утверждал, что «...рабочий стал товаром и счастье для него, если ему удаётся найти покупателя. Рабочему приходится бороться не только за физические средства к жизни, но и за получение работы, т.е. за возможность осуществления своей деятельности, за средства к этому осуществлению своей деятельности. Работа человека – это его деятельная собственность» [25. С. 48, 49, 52]. Прогнозу К. Маркса более 150 лет, но и сегодня перед обществом и наукой о нём ставятся те же проблемы (неравенство, безработица, отчуждение от собственности, труда, его результатов и т.п.). При целенаправленной

политике в области усиления *позитивных социальных* взаимодействий социальное отчуждение может сначала ослабевать, а затем и преодолеваться. Данному требованию и должна соответствовать национальная и региональная социальная политика, учитывающая актуальные запросы населения.

Среди проблем, которые составляют повседневную жизнь людей и определяют направленность и содержание социальных взаимодействий в российском обществе, особую остроту приобретают сокращение доступа к бесплатным услугам, общее снижение уровня жизни и безработица [26]. В этих условиях нарастают тревога, напряженность и даже озлобленность населения, следствием которых являются самоубийства, алкоголизм, наркомания и другие деструктивные действия людей. Такие действия, конечно, характерны для многих развитых стран, но в российском обществе они более распространены: в три раза чаще, а по сравнению с Великобританией – почти в пять раз чаще [27]. Возрастают протестные настроения, причем интернет-технологии позволяют конвертировать пассивное недовольство в уличную активность. Появление протестного поведения в определенной мере на локальном уровне свидетельствует о некой социальной солидарности некоторых групп населения. Но эти процессы стихийные, людей объединяет негативный опыт, но разъединяет отсутствие общего интереса. В силу этого эти временные общности не могут демонстрировать социальную сплоченность и солидарность.

Эти стихийно формирующиеся групповые сообщества имеют негативную направленность и свидетельствуют о том, что в определённой степени общество выходит из-под контроля. В таком обществе социальность приобретает «нарративную» форму, возникая лишь по поводу тех или иных значимых событий (чемпионат мира по футболу, «Крым наш!» и др). Общенациональных «скреп», основанных на справедливости, становится меньше. А ведь известно, что патриотизм – эта некая иммунная система любого общества. Исследования выявили, что сегодня в России люди объединены в основном по классово-стратификационным основаниям. Общность с людьми одного социального положения ощущают в полной мере 25,8%, скорее ощущают – 45% [28. С. 19]. Парадоксально, но в условиях существования «нарративной» социальности усиливается ценность государства и формируется новая гражданская идентичность, которая в значительной мере пока выступает как ресурс устойчивой социальности. Однако данный ресурс долговременным может быть только в условиях нарастания доверия, причём не только доверия к власти, но и друг к другу. Сегодня доверие друг к другу испытывают в России 36%, в мире -61% [13. Р. 74–77]. Доверие всегда выступает как результат общих норм и ценностей, общих интересов, реализующихся в процессе социального взаимодействия. Только на этой основе возможно преодоление социального отчуждения во всех его проявлениях. Усиление доверия, разделение общих норм и ценностей, в свою очередь, предполагает устранение (или хотя бы снижение!) социальной несправедливости.

Очевидно, сегодня российскому обществу нужны новые институты и организационные формы, новые «буфера» и регуляторы равновесия. В определенной мере к ним можно отнести волонтерские организации, общероссийский народный фронт (ОНФ), которые способствуют установлению этого самого «равновесия» и справедливости. В социальной политике необходим широкий спектр мер: личностных, социальных, технологических, в том числе

с использованием сетей. Нужен полноценный диалог с обществом. И отбор во власть также должен происходить с позиций социальности, т.е. с позиций социально-экономического развития страны и благополучия человека, с учётом и способностей, и желания руководствоваться в управленческих решениях таким критерием, как социальная справедливость и нарастание социальности в обществе. То или иное состояние социальности является своеобразным катализатором, ускоряющим или замедляющим человеческое развитие.

Литература

- 1. *Кравченко С.А.* Новации в социологическом знании // Социологические исследования. 2018. № 2. С. 18–24.
- 2. Игнатьев В.И. Социальная теория в контактной зоне методов естествознания: информационно-резонансный метод к интерпретации социальной реальности // Социологические исследования. 2017. № 3. С. 3–13.
- 3. *Черныш М.Ф.* Тренды современной критической социологии (общие наблюдения с конференции ЕСА) // Социологические исследования. 2018. № 2. С. 3–8.
- 4. *Горшков М.К., Тощенко Ж.Т.* Основные вехи в развитии отечественной социологии // Социологические исследования. 2018. № 6. С. 3–16.
 - 5. *Маркс К.*, Энгельс Ф. Немецкая идеология // Соч. 2-е. изд. Т. 3. С. 7–544.
 - Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. 808 с.
 - 7. Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект-Пресс, 1993. 147 с.
 - 8. Парсонс Т. Структура социального действия. М.: Академический проект, 2000. 880 с.
 - 9. *Зиммель Г.* Социальная дифференциация // Избранное. М., 1996. Т. 2. 607 с.
- 10. Сорокин П.А. Система социологии. Т. 1: Социальная аналитика: учение о строении простейшего (разового) социального явления. М.: Наука, 1993. 447 с.
- 11. *Олех Л.Г.* Социальная сущность транзитивного общества // Социальные взаимодейтсвия в транзитивном обществе. Вып. 3. Новосибирск, 2002. С. 14–26.
- 12. Γ идденс 9. Устроение общества : Очерк теории структурации. М. : Академический проект, 2003. 528 с.
 - 13. Human Development Indices and Indicators 2018. URL: http://hdr.undp.org. 112 p
- 14. Лапин Н.И. Формирование социального государства способ успешной эволюции общества // Социологические исследования. 2018. № 8. С. 3–11.
 - 15. Россия-2018: богачи богатеют, а народ? // Аргументы и факты. 2018. № 44. С. 7.
- 16. Ильин В.А. Капитализм для своих источник социального неравенства в современной России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2017. № 6. С. 12–25.
- 17. *Удальцова М.В.* Проблемы социальной политики в трансформирующейся России // Социальные взаимодействия в транзитивном обществе. Вып. 4. Новосибирск, 2002. С. 48–56.
 - 18. Костиков В. Здравствуй, моя Мурка! // Аргументы и факты. 2018. № 43. С. 9.
- $19. \, \mathcal{L}$ оклад о человеческом развитии 2016. Человеческое развитие для всех и каждого. М. : Весь Мир, 2016. 270 с.
- 20. Доклад о развитии человека 2006. Власть, бедность и глобальный кризис водных ресурсов. М.: Весь Мир, 2006. 421 с.
 - 21. Доклад о человеческом развитии 2013. Возвышение Юга. М.: Весь Мир, 2013. 203 с.
- 22. Доклад о развитии человека 2007/2008: Борьба с изменением климата. М. : Весь Мир, 2007. 384 с.
 - 23. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М.: Политиздаст, 1991. 527с.
- 24. Социология управления: вчера, сегодня, завтра: материалы круглого стола 24.05.2017 г. // Социологические исследования. 2018. № 2. С. 102–113.
- 25. *Маркс К.* Экономико-философские рукописи 1844 г. / К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. 2-е. изд. Т. 42. С. 4–174.
- 26. *Горшков М.К.* Социум в условиях кризисного развития: контекстовый подход // Социологические исследования. 2016. № 12. С. 5–13.
- 27. Удальцова М.В., Абрамова Е.А., Щемелева И.И. Факторы формирования и развития основных сфер жизнедеятельности здорового общества // Общество: социология, психология, педагогика. 2017. № 10. С. 19–25.

28. Ярская В.Н. Темперально-смысловая дистанция в поле социальной сплоченности // Социологические исследования. 2017. № 1. С. 14–24.

Maria V. Udaltsova, Novosibirsk State University of Economics and Management (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: a.y.oreshko@mail.ru

Elena A. Abramova, Novosibirsk State Medical University (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: Elabr72@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 126–134.

DOI: 10.17223/1998863X/48/12

SOCIAL INTERACTIONS AS A MECHANISM THAT FORMS SOCIALITY

Keywords: social interaction; social exclusion; justice; excessive inequality; social order; narrative sociality.

The article discusses the impact of social interactions on the formation of various social communities and, in general, on the formation of sociality. Depending on the "quality" of social interactions, their result can be either an increase in sociality or an increase in social alienation. To this end, it is shown that social interaction is a basic, cross-cutting concept in sociological knowledge. This situation is especially important today when the social world is being reformatted, network social organisms arise, hierarchical structures are inferior to the horizontal in the degree of their influence on social processes, and the internal needs of people in public consent change. Interacting with each other, people enter into the process of "socialization", which today is interpreted as sociality. Weakening social interaction breeds alienation. The article considers the interests of justice as unifying interests in Russian society; their violation causes social alienation. It is statistically proved that today the alienation of various individuals and groups, in connection with the violation of justice in society, becomes critical. Excess social inequality is considered as the main indicator of injustice. At the same time, attention is also paid to the "self-alienation" of the so-called "elite", and to the contrasts of incomes of various groups of the population. A positive social community, formed with respect for the interests of justice, with elimination of excessive differences in income, and having some common characteristics and its identity, is increasingly inferior to the so-called "narrative" one. "Narrative" sociality arises about some important events ("Crimea is ours!", FIFA World Cup, etc.), but it is unstable; it disintegrates as these events become distant in time. "Narrative" sociality coexists along with social alienation; it forms a certain social order in which a certain synthesis of the interests of economy, enterprise, justice and injustice arises. It is stated that it is necessary to turn to the heritage of Karl Marx when analyzing the contradictions of this social order. Today it is also highly relevant, especially when analyzing the various causes of social alienation and, in general, the main contradictions of society. It is suggested that, when forming a national and regional social policy, one should take into account the growing protest moods of the population and intensify the search for social "braces" capable of enhancing the interaction of people and integrating them into positive social communities.

References

- 1. Kravchenko, S.A. (2018) Innovations in sociological knowledge. *Sotsiologicheskie issledovaniya Sociological Studies*. 2. pp. 18–24. (In Russian).
- 2. Ignatiev, V.I. (2017) Social theory in the contact zone of the methods of natural science: informational resonance approach to interpreting social reality. *Sotsiologicheskie issledovaniya Sociological Studies*. 3. pp. 3–13. (In Russian).
- 3. Chernysh, M.F. (2018) Trends of modern critical sociology (general impressions from ESS conference). *Sotsiologicheskie issledovaniya Sociological Studies*. 2. pp. 3–8. (In Russian).
- 4. Gorshkov, M.K. & Toshchenko, Zh.T. (2018) Main milestones in the development of Russian sociology: late 1950s–2010s. *Sotsiologicheskie issledovaniya Sociological Studies*. 6. pp. 3–16. (In Russian).
- 5. Marx, K. & Engels, F. (1955a) *Sochineniya* [Works]. 2nd ed. Vol. 3. Translated from German. Moscow: Izd-vo polit. literatury. pp. 7–544.
- Weber, M. (1990) Izbrannye proizvedeniya [Selected Works]. Translated from German. Moscow: Progress.
- 7. Parsons, T. (1993) *Sistema sovremennykh obshchestv* [The System of Modern Societies]. Translated from English by L.A. Sedov, A.D. Kovalev. Moscow: Aspekt-Press.

- 8. Parsons, T. (2000) *Struktura sotsial'nogo deystviya* [The Structure of Social Action]. Translated from English. Moscow: Akademicheskiy proekt.
- 9. Simmel, G. (1996) Izbrannoe [Selected Works]. Vol. 2. Translated from German. Moscow: Yurist.
 - 10. Sorokin, P.A. (1993) Sistema sotsiologii [Sociology System]. Vol. 1. Moscow: Nauka.
- 11. Olekh, L.G. (2002) Sotsial'naya sushchnost' tranzitivnogo obshchestva [The social essence of a transitive society]. In: Udaltsova, M.V. (ed.) *Sotsial'nye vzaimodeytsviya v tranzitivnom obshchestve* [Social interactions in a transitive society]. Issue 3. Novosibirsk: NGAUE. pp. 14–26.
- 12. Giddens, A. (2003) *Ustroenie obshchestva: Ocherk teorii strukturatsii* [The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration]. Translated from English. Moscow: Akademicheskiy proekt.
- 13. UNDP. (2018) *Human Development Indices and Indicators 2018*. [Online] Available from: http://hdr.undp.org.
- 14. Lapin, N.I. (2018) Formation of a social state as a way of successful evolution of society. *Sotsiologicheskie issledovaniya Sociological Studies*. 8. pp. 3–11. (In Russian).
- 15. Shigareva, Yu. Et al. (2018) Rossiya-2018: bogachi bogateyut, a narod? [Russia-2018: the rich get richer, and the people?]. *Argumenty i fakty*. 44. pp. 7.
- 16. Ilin, V.A. (2017) "Crony Capitalism" a Source of Social Inequality in Modern Russia. Ekonomicheskie i sotsial'nye peremeny: fakty, tendentsii, prognoz – Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. 6. pp. 12–25. (In Russian). DOI: 10.15838/esc.2017.6.54.1
- 17. Udaltsova, M.V. (2002) Problemy sotsial'noy politiki v transformiruyushcheysya Rossii [Problems of social policy in transforming Russia]. In: Udaltsova, M.V. (ed.) *Sotsial'nye vzaimodeytsviya v tranzitivnom obshchestve* [Social interactions in a transitive society]. Issue 4. Novosibirsk: NGAUE. pp. 48–56.
- 18. Kostikov, V. (2018) Zdravstvuy, moya Murka! [Hello, my Murka!]. *Argumenty i fakty*. 43. p. 9.
- 19. UNO. (2016) Doklad o chelovecheskom razvitii 2016. Chelovecheskoe razvitie dlya vsekh i kazhdogo [Human Development Report 2016. Human development for one and all]. Moscow: Ves' Mir.
- 20. UNO. (2006) *Doklad o razvitii cheloveka 2006. Vlast', bednost' i global'nyy krizis vodnykh resursov* [Human Development Report 2006. Power, Poverty and the Global Water Crisis]. Moscow: Ves' Mir.
- 21. UNO. (2013) *Doklad o chelovecheskom razvitii 2013. Vozvyshenie Yuga* [Human Development Report 2013. The Rise of the South]. Moscow: Ves' Mir.
- 22. UNO. (2007) *Doklad o razvitii cheloveka 2007/2008. Bor'ba s izmeneniem klimata* [Human Development Report 2007/2008. Fighting climate change]. Moscow: Ves' Mir.
- 23. Jaspers, K. (1991) *Smysl i naznachenie istorii* [The Origin and Goal of History]. Translated from German. Moscow: Politizdast.
- 24. Tikhanov, A.V. et al. (2018) Sociology of governance and administration: yesterday, today, tomorrow (materials of a Roundtable). *Sotsiologicheskie issledovaniya Sociological Studies*. 2. pp. 102–113. (In Russian).
- 25. Marx, K. & Engels, F. (1955b) *Sochineniya* [Works]. 2nd ed. Vol. 42. Translated from German. Moscow: Izd-vo polit. literatury. pp. 4–174.
- 26. Gorshkov, M.K. (2016) Sotsium v usloviyakh krizisnogo razvitiya: kontekstovyy podkhod [Socium in conditions of crisis development: a contextual approach]. *Sotsiologicheskie issledovaniya Sociological Studies*. 12. pp. 5–13.
- 27. Udaltsova, M.V., Abramova, E.A. & Shchemeleva, I.I. (2017) Development factors of the main vital activities in a sound society. *Obshchestvo: sotsiologiya, psikhologiya, pedagogika Society: Sociology, Psychology, Pedagogics.* 10. pp. 19–25. (In Russian). DOI: 10.24158/spp.2017.10.3
- 28. Yarskaya, V.N. (2017) Temporal semantic distanciation in the field of social cohesion (an analysis of social networks). *Sotsiologicheskie issledovaniya Sociological Studies*. 1. pp. 14–24. (In Russian).

политология

УЛК 323.2

DOI: 10.17223/1998863X/48/13

Т.В. Евгеньева, В.В. Титов, С.Ю. Белоконев

МЕСТО ОБРАЗА СЛАВЯНСКОГО МИРА В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

В статье рассматривается роль концепта «славянский мир» в становлении российской идентичности. Авторы акцентируют внимание на политико-философских основаниях кристаллизации образа «славянского мира» в российском общественном сознании в XIX столетии. Проведен анализ трансформации образа «славянского мира» в политическом дискурсе современной (постсоветской) России в условиях кризиса российской национально-государственной идентичности в 1990—2000-х гг. и его частичного преодоления сегодня.

Ключевые слова: национально-государственная идентичность, кризис идентичности, «славянский мир», образ «своих».

Проблема формирования российской национально-государственной идентичности, её политико-культурных оснований и символов, является одной из важнейших в рамках современного проблемного поля отечественной политической науки. «Российская идентичность» во всех её измерениях стала «болевой точкой» не только политического знания, но и общественных дискуссий, так или иначе связанных с осмыслением социально-политических «судеб» России и как общества, и как геополитического образования, и как социокультурного, цивилизационного феномена.

Российская национально-государственная идентичность, под которой понимается кристаллизовавшийся в массовом сознании интегрированный образ «нас», «своих» (включающий ценностно-психологическое, темпоральное, символическое измерения), представляет собой сложный политикопсихологический и социокультурный конструкт, динамика которого обусловлена как трансформацией политической системы современной России, так и более широким спектром факторов, связанных с отечественной историей и культурой [1. С. 20].

Поиск исторических оснований российской национально-государственной идентичности подразумевает неизбежность обращения к разнообразным (как по содержанию, так и по валентности) образам прошлого. Одним из таких образов прошлого — не самым масштабным, но заслуживающим внимания — является образ славянского мира и России как его системообразующей части. Сегодня указанный конструкт в значительной степени утратил свою выразительность. Тем не менее анализ места образа славянского мира в формировании российской национально-государственной идентичности представляется по-прежнему актуальным.

Зарождение идейно-политического концепта «славянский мир», его трансформация в XIX – начале XX в. были обусловлены синтезом двух разнородных факторов. Первый связан с формированием поля широкой общественно-политической дискуссии о «судьбе России», её духовном и цивилизационном «предназначении». XIX столетие становится в известной мере золотым веком не только русской культуры, но и политической философии, стремлением «просвещенного класса» – русской интеллигенции – увидеть масштабное и фундаментальное содержание «российскости» во всех её измерениях, включая попытки поиска геоисторических, ценностно-символических и религиозных начал и пределов российской цивилизации во взаимодействии с иными «культурными мирами». Прежде всего, речь шла о взаимодействии с макроцивилизацией «коллективного Запада», которая уже тогда воспринималась многими российскими интеллектуальными и политическими элитами в качестве конституирующего «значимого другого» (см.: [2, 3]).

Второй фактор – геополитический – вытекает из трансформации международно-политического статуса Российской империи, ставшей в рамках Венской системы международных отношений не просто одним из периферийных игроков второго порядка, а ключевым звеном «европейского концерта», одним из центров силы в рамках активно формирующейся в первой половине XIX в. биполярной конфигурации – глобального по своим масштабам российско-британского соперничества, наиболее известным отражением которого стала растянувшаяся на несколько десятилетий «битва за Азию». Под воздействием двух указанных факторов происходит заметная поляризация общественного мнения «просвещенной» России (интеллигенция плюс часть политико-административного слоя), в рамках которой концепция «славянского мира» представляет расширенный, многомерный ответ на философскополитический – ценностный и во многом онтологический – вызов со стороны «западничества».

Однако «славянский мир» XIX в. – это не только реакция на первые попытки условной вестернизации (в форме европеизации) российского общественного мнения. Идеологема славянского мира и славянского братства – тем более не может рассматриваться утилитарно, как коньюнктурный конструкт, призванный оправдать геополитическую экспансию Российской империи, её историческую и моральную «правоту» в конфликтах с Османской империей и в деле освобождения «братьев-славян» (балканских народов) от турецкого владычества. Славянский мир XIX – начала XX в. – это во многом идеалистическая, внутренне противоречивая картина мирополитической реальности, опирающаяся на внушительный ценностно-символический, нравственный и отчасти мифологический фундамент. Её несомненное «конкурентное преимущество» перед двумя другими основными концептами того времени – западничеством и уже зародившимся в виде почвенничества евразийством - в наличии мощного морально-психологического стержня, квинтэссенцией которого является транслируемая на уровень «большой политики» ценность свободы в её различных преломлениях: геополитическом, культурном, религиозном. Практическое измерение такой «свободы» заключается в необходимости «освобождения» и поддержки славянских наций Восточной и, прежде всего, Южной Европы в их борьбе за национальную независимость и право самостоятельно определять собственную историческую и политическую судьбу.

Вместе с тем уязвимой стороной концептуализации славянского мира являлись избыточный идеализм указанного подхода, акцент на слабо рационализируемых «корнях», иллюзия «благодарности», которую испытывают «освобожденные» (прежде всего болгары и сербы) к «освободителям». Как известно, подобные иллюзии были достаточно жестко развеяны геополитической реальностью начала XX в.: вступлением Болгарии в Четверной союз и Первой мировой войной в целом.

То есть славянский мир, не имеющий четких границ и рациональных оснований внутренней консолидации, обозначаемый контурно и во многом иррационально, через апелляции к общим «корням», оказался привлекательным с эмоциональной точки зрения, оправдан в рамках русской религиозной философии, но аморфным именно как геополитическая схема. Задавая вектор интеллектуальных дискуссий и идеалистических устремлений части российского интеллектуального страта, дискурс славянского братства продемонстрировал свою «отвлеченность» и несостоятельность в контексте конфликтных международных практик «политического реализма» конца XIX – начала XX в.

Идеологемы славянского мира в постсоветский период: попытки актуализации

Определенная актуализация концепта славянского единства в 80-е и 90-е гг. XX в. была связана со стремлением руководства «позднего» СССР, а затем и России найти новое основание для сохранения остатков собственного культурного и политического влияния в странах Восточной Европы. Параллельно с этим в самой России развивался и нарастал всеобъемлющий кризис национально-государственной идентичности, способствовавший превращению социума в поле не только политических («коммунисты», «демократы», «либералы», «красно-коричневые» и т.д.), но и многочисленных ценностносмысловых конфликтов. Эти конфликты знаменовали собой как всеобъемлющий коллапс механизмов государственного управления социальными процессами, так и глубокие изменения в сознании людей на уровне первичных – онтологических – ценностей («хорошо» и «плохо» резко поменялись местами не только в политике, но и в быту) [4. С. 126–127].

На место восприятия собственного «Я» в контексте «большого» политического мира («мой адрес Советский Союз») приходили локальные, во многом архаические и мифологические по своему содержанию сюжеты и усиленный поиск «чужих среди своих» (см.: [5, 6]). Своеобразными бытовыми символами «сжатия» социального пространства россиян в начале 1990-х гг. стали железные двери и решетки на окнах, демонстрирующие симбиоз страха и желания отгородиться как от «большой политики», так и от традиционных пространств повседневности. В этих условиях апелляции к славянскому единству и тем более братству до середины 1990-х гг. воспринимались как экзотические проявления традиционализма во всем многообразии его звучаний: от советской реставрации до набиравших силу неоимперских концептов.

В этот период в массовом сознании актуализируются мифологические элементы образа славянской принадлежности российской нации, играющие роль своеобразной компенсации разрушения многих привычных форм само-идентификации (советской, социалистической или еще недостаточно популярной православной). До сегодняшнего дня сохраняется и периодически активи-

зируется деятельность (прежде всего в виртуальном пространстве сети Интернет) так называемых славянских неоязычников, позиционирующих себя в качестве наследников древней славянской традиции, конструирующих и продвигающих символы и ритуалы, многие из которых имеют искусственное происхождение. Впоследствии в ряде случаев интересы этих сообществ (часть из них используют самоназвание «родноверы», противопоставляя себя «завезенным» религиям, к которым относят христианство) смыкаются с интересами различных националистических политических организаций (см.: [7]).

Одновременно получает быстрое развитие одно из направлений литературы — фэнтези, опирающееся на систему образов, прямо или косвенно связанных с образами славянской мифологии. Эти образы будут впоследствии положены в основание своеобразной «альтернативной» истории, построенной по модели героического мифа и сегодня пользующейся популярностью в массовом сознании.

Определенные, хотя и незначительные изменения, вызвавшие частичную актуализацию идеи «славянского мира» в её предельно редуцированном виде, произошли в середине 1990-х гг. на волне «сближения» России и Беларуси вскоре после прихода к власти А. Лукашенко (1994 г.). Однако ограниченность мобилизационного потенциала «славянской идеи» проявилась и здесь. С одной стороны, сторонники единства «братских славянских народов» рассматривали гипотетическое российско-белорусское «ССР» (Содружество суверенных республик) как социально-ретроспективный паллиатив, симулякр «настоящего» СССР. С другой стороны, и для Москвы и для Минска проект изначально носил во многом коньюнктурный характер, определяемый стремлением сыграть на чувствах ностальгирующих сегментов общества (старшие поколения, «бюджетники», условная «интеллигенция» и т.п.).

Однако можно отметить, что, хотя идея «славянского братства» и не стала сколько-нибудь заметным элементом российского политического дискурса 1990-2000-х гг., она оставила после себя определенное мемориальное наследие (например, учрежденный в этот период День дружбы и единения славян, частично сохранивший свое значение в пограничных регионах в рамках существования Союзного государства России и Белоруссии, День славянской письменности и культуры, учрежденный еще в 1985 г. по инициативе писателей-«почвенников» и постепенно приобретающий все более религиозное содержание). Сегодня проведение этих праздников часто носит инерционный характер, смысл их не всегда понятен представителям молодого поколения, которые воспринимают их как некий «экзотический» продукт. Ситуативные упоминания «славянского братства» в связи с описанием русско-турецких войн XIX в. в современных российских учебниках отечественной истории поддерживает это представление, формируя ассоциацию образа славянского мира исключительно с определенными историческими событиями «далекого» прошлого.

Можно сделать вывод, что в 1990-х – начале 2000-х гг. образ славянского мира стал одним из элементов забытых ныне проектов, предлагавшихся отдельными политиками, политологами и политическими философами, которые можно было бы противопоставить ориентированной на западные либеральные ценности политике руководства России. В политической науке и публицистике подобные идеи сегодня носят в целом маргинальный характер.

Дискурс славянского мира в современной России: официальная риторика vs поиск новых смыслов

Противоречивость социально-политического процесса в современной России (2000–2010-е гг.) вновь поставила на повестку дня проблему «цивилизационного выбора», поиска «магистрального» (а вместе с ним и «запасного», альтернативного) пути развития российской государственности в XXI в. Парадоксальным образом произошло критическое наложение экономического роста «счастливых нулевых», увеличения национального благосостояния на столь же очевидный рост эмоциональной неудовлетворенности общества от отсутствия ясной культурно-исторической перспективы, непонимания императивов развития России во всех её ипостасях: и как государственной традиции, и как социума, и как цивилизации, обращенной во внешний мир.

В 2000-е гг. коллективный образ российского будущего оказался консолидирован ситуационно, в краткосрочной перспективе, на основе понимания того, что «назад дороги нет», на идее двух «невозвращений»: невозможности вернуться в советское «вчера» и нежелания возвращаться в «лихие 90-е». Естественно, императив «запрета на вчера» еще более обострял запрос на «завтра», в том числе в его метаполитическом измерении [8. С. 87–90]. Такой запрос, в частности, ярко проявился и в ожидании «постпутинской эпохи» и в слабо рационализируемом желании коренных, а не локальных и декоративных, социально-политических перемен, что вылилось в том числе и в имитационное по своей сути «болотное движение» в 2011–2012 гг. (т.е. «революция норковых шуб» оказалась «бунтом бессмысленным», но, к счастью, далеко не беспощадным). В этот период реанимируются многочисленные «проекты будущего», призванные вновь ответить на вопрос «как нам обустроить Россию?».

Естественно, концепт славянского мира, забытый в 2000-е гг., вновь оказался востребован, по крайней мере частью «игроков» российского политикума, и таким образом вернулся в общественный и научный дискурс [9. С. 3–5].

Первый аспект упоминаний славянского мира в конце 2000-х-2010-х гг. был связан с желанием российской власти реанимировать «братство» трех «славянских народов» в условиях критического ухудшения отношений с Украиной и резкого охлаждения в отношениях с Белоруссией. Здесь важно отметить, что славянский мир как идеологический конструкт для «сближения» с этими странами носил вспомогательный, компенсирующий характер и был призван нивелировать слабости и очевидный экспансионистский геокультурный импульс идеологемы «русский мир». Славянский мир был своеобразным политико-технологическим «полуфабрикатом», замороженным до определенного времени, но призванным, при необходимости, играть роль квазидуховного компромисса для «молчаливого большинства» украинцев и части белорусов, желающих жить по европейским меркам и стандартам потребления и в то же время не готовых к полномасштабному разрыву с Россией. А во многих случаях он выступал и эвфемизмом русского мира, его «расширенным толкованием», направленным на «смягчение» последнего в целях более позитивного продвижения образа России в информационных пространствах бывших «братских» республик.

Евромайдан 2013—2014 гг. также был интерпретирован частью руководства России через призму искусственного разрушения «славянского мира» его противниками, как попытка спровоцировать искусственную ссору «двух славянских народов». Как заявила председатель Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, целью организаторов «майдана» было «не только создать сложности политическому руководству России и Украины, сорвать наше экономическое сотрудничество, но и вбить клин между людьми, разделить на «хохлов» и «москалей», которые будут ненавидеть друг друга. Это давняя мечта — оторвать Украину от России…» [10].

Второй ракурс медийного развития концепта «славянский мир» предельно прагматический и утилитарный. Он вытекает из логики сложных отношений России со странами Восточной Европы, в том числе в контексте энергетических интересов РФ на европейском рынке. В частности, он проявил себя в ходе российско-болгарского диалога по поводу строительства «Южного потока» или отказа от него. Комментируя отказ Болгарии от строительства «Южного потока», журналист М. Соколов ставит неутешительный диагноз идеологии «славянского мира»: «В сентябре 1870 года, когда на Западе рождался Второй рейх, Ф.И. Тютчев в своих панславистских мечтаниях возглашал: «Славянский мир, сомкнись тесней... // «Единство, — возвестил оракул наших дней, — // Быть может спаяно железом лишь и кровью...» // Но мы попробуем спаять его любовью — // А там увидим, что прочней...». Эксперименты с целью выяснить, что прочней, продолжались без малого полтора века и закончились в общем-то неудачно» [11].

Утилитарность и слабость концепции славянского мира образца 2010-х гг. иллюстрирует Б. Туманов: «Вот Сербия сейчас мечется, не знает, что делать. Евросоюз давит на нее, чтобы она ввела санкции. Сербы бьют себя кулаками в грудь и кричат: «Никогда против славянских братьев наших старших!» А педагогический смысл этого заключается в следующем: «Ребята, нас вынудили прекратить строительство "Южного потока". Разумеется, бедная Болгария была вынуждена это делать. Сербия подчиняется давлению или не подчиняется, но давление есть. Во всех ваших возможных бедах, о которых мы глубоко сожалеем, конечно, вините Европейский союз. Это они, руководствуясь своей врожденной, генетической русофобией, довели отношения братских славянских народов до такого ужаса. Так что делайте выводы сами» [12].

Сегодня концепт славянского мира находится на периферии официального дискурса власти (уступая пальму первенства полуофициальной идеологеме русского мира). К середине 2010-х гг., после событий Евромайдана и начала войны в Донбассе (которая на Западе была интерпретирована как агрессия России против Украины и нанесла тяжелый удар даже по идее русского мира, не говоря уже о каком-либо «славянском» единстве), он оказался по существу маргинализирован и окончательно приватизирован политическими игроками «третьего уровня», не оказывающими сколько-нибудь значительного влияния на общественную жизнь России. Дискурс «панславизма» периодически продолжает использоваться рядом не самых крупных и популярных провластных движений для эффектного самопозиционирования и решения утилитарных задач. Например, в 2016 г. байк-движение «Ночные волки» получило президентский грант для НКО (в размере 3,1 млн руб.), направленный на поддержку проекта «Славянский мир», который заключает-

ся в мотоциклетных и автомобильных паломничествах, направленных на единение братских славянских народов путем общественной дипломатии.

Показательно, что, комментируя цель мотопробега «Славянский мир-2018», один из лидеров движения «Ночные волки» Е. Строгов указал, что «мероприятие направлено на реализацию славянской культуры и истории, пропаганду христианских общечеловеческих ценностей» [13]. Такая интерпретация «славянского мира» вызывает двойственное отношение. С одной стороны, вполне обоснованно и оправданно стремление рассматривать его как культурно-субъектное поле мира христианского, весомую часть христианской цивилизации во всем многообразии её исторических проявлений и нюансов. С другой стороны, обращение к «общечеловеческим» ценностям говорит об известной смысловой пустоте концепта славянского мира в его современном содержании, в ситуации, когда принадлежность к славянству не является сколько-нибудь определяющим фактором и, более того, не связана с общностью исторических судеб и выступает лишь этногенетическим артефактом.

Тем не менее в такой широкой интерпретации идея «славянского мира» кардинально видоизменяется и становится для части российских элит своеобразным психологическим «окном в Европу» через обращение к единству христианских (не православных!) ценностей. Это положение выглядит особенно интересным в свете свершившегося раскола внутри православия, наметившегося сближения РПЦ с Ватиканом и «христианского ренессанса» в Европе как ответа на все более явный миграционный коллапс и «ползучую» исламизацию ЕС (см.: [14]).

Славянские народы, веками враждующие друг с другом (наиболее яркий пример — российско-польские отношения) и продолжающие конфликтовать между собой в начале третьего тысячелетия, принадлежащие к разным религиозным ветвям христианства, оказываются живым историческим и политическим свидетельством эфемерности «славянского мира» во всех его измерениях, кроме ностальгической метафоры о золотом веке, который никогда не наступал (хотя и был «так возможен, так близок» в конце века XIX).

Выводы: перспективы ренессанса концепции славянского мира

Проведенный анализ концепции славянского мира, её современного состояния не является исчерпывающим, но всё же позволяет выявить ряд значимых тенденций и сказать несколько слов о перспективах возвращения славянского мира в некий «концептуальный пантеон», социально-политический дискурс, вокруг которого могла бы строиться российская национальногосударственная идентичность в XXI столетии. Говоря о перспективах такого ценностно-смыслового ренессанса, важно отметить следующее.

Во-первых, очевидно, что само понятие «славянский мир» на протяжении всего времени его интеллектуальной эксплуатации носило и носит метафорический характер, является в большей степени прообразом цивилизационного «рая на земле», не имеющим внутреннего культурного и тем более геополитического стержня. Обращение к «славянским корням» работает, как правило, в двух противоположных случаях: либо как предельно прагматичная технология политического манипулирования, либо в контексте «чистых»,

лишенных каких-либо рациональных оснований политико-философских построений.

Во-вторых, очевидно, что в России в последние полтора столетия интерес к «славянскому миру» возрастает в условиях кризиса национальногосударственной идентичности, фактического распада социокультурного пространства российской государственности, что порождает попытки – причем спорадические – найти новую идеологическую «точку опоры», переформатировать «ось истории» государства Российского. Так было и в конце XIX – начале XX в., и на рубеже XX–XXI столетий. В обоих исторических случаях «эксперимент» оказался неудачным – российская национально-государственная идентичность реконструировалась, воссоздавалась заново вокруг принципиально иных ценностно-символических оснований.

В-третьих, на рубеже 2000–2010-х гг. концепт «славянского мира» в его эмоциональном измерении был частично актуализирован по инициативе действующей российской власти. Он рассматривался как выполняющий вспомогательную функцию элемент продвижения идеологии «русского мира», призванный обосновать геополитические притязания России на постсоветском пространстве (прежде всего, на выстраивание «особых» отношений с Украиной и Белоруссией). Однако вскоре, после событий 2013–2014 гг. на Украине («евромайдана»), образ «славянского мира» вновь потерял свою и без того крайне ограниченную ценностную, смысловую и символическую значимость во внутрироссийском политическом пространстве.

Литература

- 1. *Титов В.В.* Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности: российский опыт и новые тенденции. М., 2017. 184 с.
 - 2. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М., 1991. 576 с.
 - 3. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 2006. 573 с.
- 4. *Евгеньева Т.В., Титов В.В.* Формирование национально-государственной идентичности российской молодежи // Полис. Политические исследования. 2010. № 4. С. 122–134.
- 5. *Евгеньева Т.В.* Архаическая мифология в современной политической культуре // Полития. 1999. № 1. С. 33–47.
- 6. *Щербинин А.И.*, *Щербинина Н.Г.* «Картирование» славянского мира как воображаемый конструкт // Русин. 2016. № 4 (46). С. 56–72.
- 7. *Кавыкин О.И.* «Родноверы». Самоидентификация неоязычников в современной России. М., 2007. 232 с.
- 8. *Бушуев В.В., Титов В.В.* Национально-государственная идентичность в современном мире и роль исторической политики в её формировании (теоретико-методологический анализ) // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. История и политология. 2011. № 4. С. 77–93.
- 9. *Щербинин А.И., Щербинина Н.Г.* Slavia Christiana конструкт славянского единства // Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси: материалы XXV Духовно-исторических чтений памяти равноапостольных Кирилла и Мефодия. Томск, 2016. С. 3–8.
- 10. *Матвиенко:* целью Евромайдана была ссора двух славянских народов [Электронный ресурс] // Вести.RU : сетевое издание. Электрон. дан. М., 2014. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2080451 (дата обращения: 26.12.2018).
- 11. Соколов М. Никогда мы не будем братушками [Электронный ресурс] // Известия / iz.ru : сайт. Электрон. дан. М., 2014. URL: https://iz.ru/news/580183 (дата обращения: 23.12.2018).
- $12.\ \mathit{Почему}$ иссяк «Южный поток»? [Электронный ресурс] // Радио Свобода : сайт. Электрон. дан. М., 2014. URL: https://www.svoboda.org/a/26721432.html (дата обращения: 03.01.2019).
- 13. Участники стартующего в Москве мотопробега «Славянский мир-2018» преодолеют 8,5 тыс. км [Электронный ресурс] // Рамблер: медийный портал. Электрон. дан. М., 2018. URL: https://news.rambler.ru/person/strogov-evgeniy/ (дата обращения: 14.11.2018).
 - 14. Cardini F. Europa e Islam. Storia di un malinteso. Roma, 1999.

Tatiana V. Evgenieva, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation).

E-mail: etv133@mail.ru

Viktor V. Titov, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation).

E-mail: VVTitov@fa.ru

Sergey Yu. Belokonev, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russian Federation).

E-mail: SYUBelokonev@fa.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 135–144.

DOI: 10.17223/1998863X/48/13

THE PLACE OF THE "SLAVIC WORLD" IMAGE IN THE FORMATION OF THE CONTEMPORARY RUSSIAN IDENTITY

Keywords: national-state identity, crisis of identity, "Slavic world", image of "ours".

The article is devoted to the role of the image of the "Slavic world" in the formation of the Russian national-state identity, which is characterized as an integrated image of "us", "ours" crystallized in mass consciousness (including the axiological, temporal, symbolic dimensions). This image is a complex politico-psychological and socio-cultural construct, dynamics of which is due to both the transformation of the political system of modern Russia and a wide complex of factors related to Russian history and culture. Initially, the authors pay attention to the construction of the idea of the "Slavic world" in the 19th century, which was built on the imperative of the "unity of the Slavic peoples". At the same time, the then image of the "Slavic world" can be considered as an emotional construct very weakly associated with geopolitical realities. The second part of the article is devoted to the revival of the problems of the "Slavic world" in the 1990s - early 2000s, which was associated with the collapse of the USSR and the crisis of the national-state identity in the "new Russia", the destruction of the fundamental values of society, images of the past and the future. It was then that the Russian political elites periodically appealed to the idea of "Slavic unity" for tactic goals (for example, attempts to create a "union state" with Belarus at the end of the 1990s and the beginning of the 2000s). Analyzing the contemporary place of the "Slavic world" in Russian political discourse, the authors note that the events of 2013-2018 ("Euromaidan", conflict in the Donbas, crisis in relations with Belarus) outlined its peripheral nature. They also demonstrate the extreme amorphousness and cognitive poverty of the "image of the Slavic world" in the political consciousness of Russian citizens. Discussing the perspectives for the actualization of the concept of the "Slavic world" in Russian political discourse, the authors note that in Russia interest in "Slavic unity" increases in the conditions of the crisis of the national-state identity. However, the historical experience of the past century and a half shows that the integration potential of the image of the "Slavic world" is not enough to act as a "restructuring point" for the Russian national-state identity.

References

- 1. Titov, V.V. (2017) *Politika pamyati i formirovanie natsional'no-gosudarstvennoy identich-nosti: rossiyskiy opyt i novye tendentsii* [The policy of memory and the formation of national-state identity: the Russian experience and new trends]. Moscow: Vash format.
- 2. Danilevsky, N.Ya. (1991) Rossiya i Evropa [Russia and Europe]. Moscow: Institut russkoy tsivilizatsii.
 - 3. Leontiev, K.N. (2006) Vizantizm i slavyanstvo [Byzantium and Slavism]. Moscow: AST.
- 4. Evgenieva, T.V. & Titov, V.V. (2010) Formirovanie natsional'no-gosudarstvennoy identichnosti rossiyskoy molodezhi [Formation of the national-state identity of the Russian youth]. *Polis. Politicheskie issledovaniya Polis. Political studies.* 4. pp. 122–134.
- 5. Evgenieva, T.V. (1999) Arkhaicheskaya mifologiya v sovremennoy politicheskoy kul'ture [Archaic mythology in modern political culture]. *Politiya Politeia*. 1. pp. 33–47.
- 6. Shcherbinin, A.I. & Shcherbinina, N.G. (2016) "Charting" Slavdom as an Imaginary Construct. *Rusin*. 4(46). pp. 56–72. (In Russian). DOI: 10.17223/18572685/46/5
- 7. Kavykin, O.I. (2007) "Rodnovery". Samoidentifikatsiya neoyazychnikov v sovremennoy Rossii ["Rodnovery". Self-identification of neo-pagans in modern Russia]. Moscow: RAS.
- 8. Bushuev, V.V. & Titov, V.V. (2011) Natsional'no-gosudarstvennaya identichnost' v sov-remennom mire i rol' istoricheskoy politiki v ee formirovanii (teoretiko-metodologicheskiy analiz)

[National-state identity in the modern world and the role of historical politics in its formation (theoretical and methodological analysis)]. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta im. M.A. Sholokhova. Istoriya i politologiya.* 4. pp. 77–93.

- 9. Shcherbinin, A.I. & Shcherbinina, N.G. (2016) Slavia Christiana konstrukt slavyanskogo edinstva [Slavia Christiana a construct of Slavic unity]. *Knyaz' Vladimir. Tsivilizatsionnyy vybor Rusi* [Prince Vladimir. The Civilizational Choice of Russia]. Proc. of the 25th Spiritual and Historical Reading in the Memory of Cyril and Methodius. Tomsk. pp. 3–8.
- 10. Matvienko, V. (2014) *Tsel'yu Evromaydana byla ssora dvukh slavyanskikh narodov* [The Euromaidan aimed at a quarrel between two Slavic peoples]. [Online] Available from: https://www.vesti.ru/doc.html?id=2080451. (Accessed: 26th December 2018).
- 11. Sokolov, M. (2014) *Nikogda my ne budem bratushkami* [Never We Will Be Brothers]. [Online] Available from: https://iz.ru/news/580183. (Accessed: 23rd December 2018).
- 12. Kara-Murza, V. (2014) *Pochemu issyak "Yuzhnyy potok"*? [Why has the South Stream dried up?]. [Online] Available from: https://www.svoboda.org/a/26721432.html. (Accessed: 3rd January 2019).
- 13. Rambler.ru. (2018) *Uchastniki startuyushchego v Moskve motoprobega "Slavyanskiy mir-2018" preodoleyut 8,5 tys. km* [Participants of the "Slavic World-2018" motor race starting in Moscow will overcome 8.5 thousand km]. [Online] Available from: https://news.rambler.ru/person/strogoveygeniy/. (Accessed: 14th November 2018).
 - 14. Cardini, F. (1999) Europa e Islam. Storia di un malinteso. Rome: Laterza.

УДК 328

DOI: 10.17223/1998863X/48/14

А.А. Керимов

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

В статье акцентируется внимание на проблемах развития и становления парламентаризма в современной России. Автор определяет парламентаризм как систему институтов, норм и практик, обеспечивающих представительство интересов групп населения в законодательных органах власти. Центральное место в статье отводится выделению особенностей современного российского парламентаризма, их анализу и поиску путей решения имеющихся проблем. Методологически статья опирается на теоретические разработки как зарубежных, так и российских исследователей. В ее основу легли общефилософские и социогуманитарные методы. В работе использованы эмпирические данные, взятые из открытых источников.

Ключевые слова: парламентаризм, парламент, исполнительная власть, парламентские функции.

Парламентаризм зарождается и существует тогда, когда «появляется запрос на формирование новой модели социального развития, выработку и реализацию социально-экономической политики, способной обеспечить развитие на базе сочетания эффективности, справедливости, выравнивания социальных возможностей и сплоченности общества. Тем самым актуализируется вопрос о сближении власти и общества, когда власть действует как социально и политически ответственный институт, отражающий интересы большинства граждан и инициирующий такие политические решения и действия, касающиеся социально-экономического развития, которые общество активно принимает и поддерживает» [1. С. 104].

Центральное место в структуре парламентаризма занимает парламентское учреждение. Однако следует отметить, что наличие парламента — обязательное, но недостаточное условие для утверждения тезиса о существовании парламентаризма в политической системе общества. Для того чтобы парламентаризм имел прочную основу, должны быть соблюдены и другие условия, такие как «формирование парламента на основе свободного волеизъявления народа, его суверенность в системе властей, высокий уровень полномочий и компетенций парламента при решении вопросов законотворчества, государственного управления и т.д.» [2. С. 131].

Идеология парламентаризма в России с самого начала своего возникновения испытывает в отношении себя две усиливающихся крайности. Одну из них можно выразить как желание исполнительной власти в идеале свести роль парламентского учреждения к «говорильне», превратить его в орган полезный, но реально не участвующий в законотворческой деятельности, а другая крайность связана со стремлением исполнительной власти создать у общества иллюзию в восприятии парламента как главного органа государственной власти, если не исключительно единственного властного центра.

Серьезной проблемой для развития парламентаризма в России является и отсутствие доверия к нему со стороны общества. Несмотря на то, что институты парламентаризма формируются и функционируют в соответствии с реально действующими нормативно-правовыми актами, общество всерьез не рассматривает их в качестве выразителя общенациональных интересов. Результаты социологического опроса, представленные ВЦИОМ (на ноябрь 2017 г.), свидетельствуют о том, что деятельность Государственной Думы и Совета Федерации одобряют 51,3 и 56,3% респондентов, в то время как деятельность президента оценивают положительно 83% респондентов (председателя правительства – 54%, правительства – 58,8%) [3]. Данные социологического опроса позволяют выделить ряд особенностей, которые отражают отношение общества к парламенту и депутатам. Во-первых, в общественном восприятии складывающийся образ парламента и депутатов явно несамостоятелен, парламент рассматривается лишь как инструмент в руках исполнительной власти для выполнения ее воли. Во-вторых, отношение к парламенту и депутатскому корпусу по совокупности содержательных оценок весьма противоречиво. В-третьих, в обществе бытует мнение о невозможности создания полноценного органа народного представительства.

Современный российский парламентаризм во многом напоминает черты западных моделей парламентаризма. Однако его последующая эволюция привела к появлению ряда свойств, не присущих западным традициям парламентаризма. Российский парламентаризм существует на фоне сильной президентской власти. Российскую модель парламентаризма можно отнести к авторитарной, построенной на ограничении власти парламента и одновременном усилении власти президента. В треугольнике «парламент – президент – правительство» парламенту и правительству отводятся второстепенные роли, и порой они превращаются в технические органы, принимающие к утверждению и исполнению решения президента. Если парламент в 90-е гг. прошлого столетия — в начале своего существования выступал как оппонент исполнительной власти, то со временем он превратился в ее придатка.

Особенности российского парламентаризма, отличающие его от западноевропейского, связаны с его специфическими социальными основаниями. На Западе формирование базовых элементов и ценностей, необходимых для развития парламентаризма, происходило постепенно, а в России в условиях деспотической/авторитарной власти и существования общины этот процесс шел крайне медленно, иногда в его развитии наступали периоды стагнации. Тяжелые социально-экономические условия не позволяли народу следовать принципам свободы, в результате чего в стране сложились отличные от западноевропейских обществ особый менталитет, система представлений о народовластии, социальной справедливости. На фоне сакрализации верховной власти в обществе слабо развивались представления о возможном участии в управленческом процессе и народных представителей.

Ситуация с развитием парламентаризма в современной России усугубляется еще по той причине, что в начале 1990-х гг. западный опыт парламентаризма был перенесен на российскую почву механически, без учета особенностей развития западных обществ. Отмечая данную специфику российской трансформации политической системы, Л.Н. Тимофеева констатирует, что «политическую модернизацию можно определить, как формирование, разви-

тие и распространение современных политических институтов, практик. При этом под современными политическими институтами и практиками следует понимать не слепок с политических институтов стран западной демократии, а те политические институты и практики, которые в наибольшей степени способны обеспечивать адекватное реагирование и приспособление национальной политической системы к изменяющимся условиям, к вызовам современности. Эти институты и практики могут соответствовать моделям современных демократических институтов или отличаться в различной степени: от отвержения "чужих" образцов до принятия формы при ее наполнении изначально несвойственным ей содержанием» [4. С. 91–92].

Не отрицая ценность западного опыта, необходимо признать, что история парламентаризма не знает идеальных моделей, следовательно, усилия властей, ученых, общества должны быть направлены на поиск той модели, в которой могли бы быть синтезированы достижения мирового опыта с учетом исторических традиций российского общества. При этом необходимо отметить, что «строительство национальной модели демократии предполагает разумный баланс между потребностями общества в обеспечении ответственного и эффективного властвования и возможным использованием современных технологий политического управления при внимательном и бережном отношении к традиции, культуре и историческому опыту» [5. С. 38].

На особенность современного российского парламентаризма, безусловно, влияет и фактор практического отсутствия преемственности в его становлении. Очевидно, все явления имеют корни в прошлом, которые исторически трансформируются в более совершенные формы с учетом потребностей общества на каждом этапе. Подобная связь времен позволяет рассматривать все явления в единой исторической динамике и перспективе, но относительно России эта парадигма не работает, в результате чего процесс развития парламентаризма приобретает хронически запоздалый характер. Возникает закономерный вопрос: должна ли Россия стремиться к воспроизводству пройденного передовыми странами пути, вернуться к традициям сословнопредставительного парламентаризма или же обратиться к опыту Советов советской эпохи?

Естественно, парламентаризм является итогом долгого эволюционного развития политической системы общества. В этом процессе главная сложность российского парламентаризма заключается в поисках и создании механизмов по развитию и реализации на практике основополагающих элементов этого института, их вживлении в политическую систему и социальную ткань общества. В отличие от западноевропейских парламентов российский парламент не обладает достаточными полномочиями по контролю над исполнительной властью. При сложившейся биполярной системе в исполнительной власти глава правительства хотя и несет юридическую ответственность перед парламентом, но фактически его политическая судьба зависит от личной благосклонности к нему президента. Таким образом, парламент лишен возможности оказать воздействие на исполнительную власть. В таком случае единственным каналом осуществления опосредованного общественного контроля над правительством остается только участие в выборах президента, выборы же в парламент лишаются легитимности и в восприятии народа превращаются в «борьбу бюрократических кланов за доступ к государственному бюджету, замаскированную под электоральный процесс и использующую избирателей для сохранения все той же власти» [6].

Очевидно, недееспособный парламент не может противопоставить альтернативы правительственной политике, и поэтому он превращается во второстепенный орган государственной власти. Действующее избирательное законодательство практически не оставляет шансов на образование закрытой парламентской оппозиции. Парламент не располагает возможностью смены курса правительства. Такое положение не стимулирует процесс создания сильной партийной системы. В результате выборы в парламент приобретают личностный характер, подменяя собой столь необходимую для развития парламентаризма конкуренцию политических партий на основе борьбы системы представлений и ценностей.

Сужение сферы компетенций парламента ведет к ущемлению прав избирателей и нарушению принципа народовластия. Начальным шагом в преодолении негативных проявлений в этой сфере могло бы стать активное привлечение политических партий к формированию правительства. Безусловно, российские партии, исходя из их сегодняшнего состояния, с трудом могут претендовать на статус сильной, работающей партии, располагающей обширной социальной базой. Но их участие в формировании правительства, последующее введение принципа парламентской ответственности правительства перед парламентом со временем могут привести к упорядочению политических интересов, усилению влияния и авторитета партий в обществе и в конечном счете к созданию системы необходимых условий для развития парламентаризма.

Не менее важная особенность современного российского парламентаризма выражается в специфике процесса его институциализации. По формальным признакам этот процесс происходит на легитимной основе в соответствии с действующей нормативно-правовой базой. Однако взаимоотношения внутри политической системы построены таким образом, что парламент, политические партии лишены возможности оказания на этот процесс решающего влияния. Роль и значение парламента и политических партий в таких условиях снижаются, в процессе мобилизации электората задействуются неформальные практики, включающие административную мобилизацию, подкуп, коррупцию и т.д. В результате парламент, сформированный на основе нелегитимных технологий и при доминировании партии власти, превращается в орган по утверждению решений президента и правительства и лишается своего основного предназначения как представительного и законодательного органа.

Еще одна особенность современного российского парламентаризма определяется господствующим в парламенте эмоционально-психологическим климатом, на который влияет конституционный дисбаланс в полномочиях между законодательной и исполнительной властями. Отсутствие необходимого равновесия в балансе прав и полномочий создает неблагоприятный эмоциональный фон, что не может не отразиться на деятельности депутатов, которые опасаются досрочного роспуска парламента, что обусловливает их склонность к компромиссам, воздержанию от резких шагов во взаимоотношениях с исполнительной властью. Парламентская активность, не согласованная с исполнительной властью, воспринимается с недоверием и наталкивается на серьезное противодействие со стороны исполнительной власти.

Последняя, располагая внушительными рычагами влияния через контролируемые ею СМИ, создает в массовом сознании искаженный образ парламента как бесполезного и обременительного органа, являющегося лишь дополнительным источником социально-политической напряженности. В таких случаях возрастает угроза роспуска парламента.

В 1990-е гг. СМИ сыграли деструктивную роль в отношении парламентаризма. Они провоцировали недоверие к самой идее парламентаризма, содействовали гражданской пассивности населения. В результате воздействия СМИ на общественное сознание такие основополагающие демократические ценности, как политическая культура, идеи гражданского общества, политические права личности, соблюдение и защита этих прав, межпартийная борьба, парламентское общение политических лидеров, нивелировались и подменялись понятиями «национальные интересы», «патриотизм», а понятия «парламентские дискуссии», «свобода слова», средствами массмедиа преподносились как ненужные, лишенные смысла конструкции, отвлекающие общество и власть от решения насущных проблем. В итоге подобное негативное влияние на общественное сознание стало причиной дискредитации идей народовластия, которая привела к отчуждению власти от общества, породила недоверие к политической элите, создала условия для массового волеизъявления в пользу лица, наделяемого качествами национального лидера, олицетворяющего защиту, порядок и безопасность [7. С. 126–127].

Как уже отмечалось, парламентаризм предполагает доминирующую роль парламента в системе государственного управления жизнью общества. Следовательно, о наличии полноценного парламентаризма правомерно говорить лишь в том случае, если парламент наделен правом законотворчества, формирования правительства и контроля над ним; формирование системы высшей власти зиждется на принципе разделения властей, четком распределении законодательных и исполнительных функций, наличии системы сдержек и противовесов. Однако российская практика показывает, что из вышеперечисленных основных парламентских функций реализуется одна – законотворческая, а контрольная функция выполняется только в рамках, дозволенных исполнительной властью. Отмечая роль и значение парламентского контроля в деле обеспечения институциональной эффективности парламента, российский эксперт по вопросам парламентаризма В.Н. Колесников подчеркивает, что «парламентский контроль представляет собой ключевое звено в системе сдержек и противовесов между законодательной и исполнительной ветвями власти, тем самым исключает возможность узурпации всех полномочий по управлению одной из ветвей власти; парламентский контроль за деятельностью правительства можно считать инструментом политической и правовой ответственности должностных лиц органов исполнительной власти перед государством и обществом; посредством парламентского контроля за деятельностью правительства повышается качество принятых исполнительной властью решений» [8. С. 172]. В данном контексте достаточно упомянуть о том, что на заре английского парламентаризма парламентское учреждение рассматривалось не в качестве законодательного органа, а как органа, осуществляющего контроль над расходами короля.

Одной из главных проблем на пути становления демократической версии парламентаризма в России является нежелание исполнительной власти рас-

ставаться с колоссальным объемом полномочий, определяемых Конституцией. Доминирует также идея, согласно которой Россия может и должна управляться сильной единоличной властью. Реализация данной идеи в истории Российского государства, безусловно, неоднократно демонстрировала свою эффективность, но необходимо понимать и другое: наличие единоличной, слабо контролируемой власти в политической системе общества свидетельствует о низком уровне политической культуры граждан и по мере политического «взросления» населения в подобных обществах могут произойти определенные социально-политические процессы, в результате которых может произойти изменение формы правления и даже политического строя в государстве. «Затруднение присутствия в политическом процессе для исключенных акторов в рамках официальных "правил игры" значительно активизирует их творчество в неофициальном секторе. Появление ограничений на присутствие в политическом процессе для исключенных акторов, по сути дела, провоцирует радикализацию их политического творчества и дальнейшее расширение как объемов протестных поверхностей, так и форм, с помощью которых доносится политическое сообщение» [9. С. 118]. Следовательно, общество и власть должны понимать, что для построения «процветающей демократической страны когда-нибудь придется преодолеть собственные традиции и, в конце концов, построить дееспособный парламент, работающий в режиме реального разделения властей, способный сотрудничать с исполнительной властью и контролировать ee» [10. С. 421].

Полноценный парламентаризм невозможен и без развитого гражданского общества. Как показывает опыт демократических стран, в отношении парламента гражданское общество выполняет ряд функций. Во-первых, через институты выборов и СМИ гражданское общество оказывает существенное влияние на партийно-политический состав парламента. У граждан появляется реальная возможность получать достоверную информацию о претендентах на депутатские мандаты и в ходе выборов контролировать сам электоральный процесс. Во-вторых, через СМИ и различные коммуникационные каналы гражданское общество осуществляет контроль за деятельностью парламента. В-третьих, институты гражданского общества при развитых демократиях имеют возможность участвовать в законотворческой деятельности.

Таким образом, парламентаризм выступает как открытая система, существование которой зависит и от того, насколько данная система будет адекватно реагировать на вызовы современности. Очевидно, современный российский парламентаризм нуждается в реформировании и мерах по улучшению его качественного состояния, повышению его легитимности и превращению в действенный орган народного представительства и законодательства.

Для решения данных проблем можно предложить следующее:

- усиление представительской функции через развитие политических партий и превращение их в эффективных выразителей интересов социальных групп: партии должны брать на себя функции посредника между обществом и политической властью, дееспособный парламентаризм невозможен без сильных политических партий и наполнения их представительной функции новым содержанием;
- расширение и качественное наполнение содержания законодательной функции: в своей деятельности парламент должен исходить из того, что в

эпоху крупных преобразований общество и государство остро нуждаются в новой системе права и нормативно-правовых актов, поэтому парламент в первую очередь должен выработать и предложить обществу глобальную, определяющую вектор развития общества на перспективу концепцию законодательства, учитывающую интересы всех социальных групп;

- расширение и усиление контрольных функций парламента: парламент, как принято в демократических странах, призван служить противовесом исполнительной власти, потребность в усилении контрольных функций парламента вытекает из логики и природы существующего сегодня в России авторитарного режима, исчерпание потенциала которого может привести к столкновению общества с трудноразрешимыми проблемами;
- в целях преодоления доминирующего положения исполнительных органов относительно парламента представляется целесообразным введение принципа коллективной и персональной ответственности министров перед парламентом, а также внедрение практики назначения и освобождения их от занимаемых должностей при непосредственном участии депутатов или комиссий, формируемых из представителей партий, представленных в парламенте;
- модернизация парламентаризма невозможна без совершенствования и оптимизации структуры самого парламента, повышения эффективности деятельности и личной ответственности депутатов, неукоснительного соблюдения членами парламента законов, регламента и внутреннего распорядка, создания благоприятных условий для активного участия депутатов в работе парламента, обеспечения депутатов всеми документами, статистическими данными, необходимыми в парламентской деятельности, создания условий для осуществления парламентских расследований, введения практики регулярной отчетности депутатов перед своими фракциями;
- с целью восстановления доверительного отношения к парламенту со стороны населения необходимо максимально обеспечить его информационную открытость: граждане должны иметь возможность своевременно получать информацию о парламентской деятельности, с этой целью парламент должен налаживать сотрудничество с авторитетными медиаканалами, которые должны объективно освещать парламентскую деятельность, информационная открытость сделает парламент более прозрачным и менее контролируемым со стороны исполнительной власти;
- применение принципа «империале» при подсчете голосов, как представляется, не вполне соответствует духу демократии: голоса, отданные за партии-аутсайдеры, в конечном итоге перераспределяются между партиями, победившими на выборах, использование данного метода на практике ведет к грубому нарушению принципа представительства в парламенте;
- немаловажную роль среди мер по улучшению имиджа парламента могло бы сыграть принятие закона о лоббистской деятельности: такой закон могбы перевести практику лоббирования интересов в цивилизованное русло и тем самым оградить парламент от излишнего внешнего влияния на него различных групп давления;
- при выборах в парламенты любого уровня должен быть применен принцип прямых выборов: необходимо менять систему формирования Совета Федерации и либо перейти к выборному принципу, либо вернуть прежнюю

схему, когда верхняя палата парламента была представлена главами исполнительной и законодательной власти субъектов Федерации;

- существующая практика свободного мандата освобождает депутата от обязанности выполнения наказов избирателей и юридической ответственности перед ними: для выполнения депутатами своих представительских функций необходимо введение императивного мандата, предусматривающего возможность досрочного отзыва депутата. Безусловно, данное предложение требует глубокой проработки, а в случае его принятия должны быть соблюдены и интересы развития партийной системы;
- в условиях глобализации национальные парламенты утрачивают свое общественное признание, и для повышения их авторитета и нивелирования влияния наднациональных организаций и учреждений на парламентские учреждения необходимо создание механизмов, которые могли бы установить контроль над деятельностью международных организаций и учреждений. Одним из направлений влияния на политику подобных организаций могло бы стать упрочение межпарламентских связей, предусматривающее интенсификацию коммуникаций между национальными парламентами.

Литература

- 1. Люблинский В.В. Политическое измерение социального неравенства и бедности // Полис. 2015. № 5. С. 94–106.
- 2. *Романов Р.М.* Российский парламентаризм: генезис и организационное оформление // Полис. 1998. № 3. С. 123–133.
- 3. Одобрение деятельности государственных институтов [Электронный ресурс] // ВЦИОМ: сайт. Электрон. дан. М., 2017. URL: https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti gosudarstvennyx institutov/ (дата обращения: 01.12.2017).
- 4. *Тимофеева Л.Н.* Конфликтогенность взаимоотношений власти и оппозиции в условиях политической модернизации: риски и возможности их гармонизации // Конфликтология. 2014. № 4. С. 82–93.
- 5. *Кузнецов И.И.* Конструирование демократии в современном мире: угрозы институциональных заимствований // Современные евразийские исследования. 2014. Т. 2. С. 30–41.
- 6. *Российские* парламентские выборы: электоральный процесс при авторитарном режиме: отчет об установках и оценках электората по данным мониторинга опросов общественного мнения, проведенного Левада-центром в 2011 году. [Электронный ресурс] // Левада-центр. Аналитический центр Юрия Левады: сайт. Электрон. дан. М., 2011–2012. URL: https://www.levada.ru/2012/03/14/rossijskie-parlamentskie-vybory-elektoralnyj-protsess-pri-avtoritarnom-rezhime/ (дата обращения: 01.12.2017).
- 7. *Красин Ю.А.* Политическое самоопределение России: проблемы выбора // Полис. 2003. № 1. С. 124-133.
- 8. *Колесников В.Н.* Парламентский контроль в современной России как соперничество идеи и интереса // Публичная политика-2012: сб. ст. / под ред. М.Б. Горного, А.Ю. Сунгурова. СПб., 2013. С. 170–179.
- 9. *Скиперских А.В.* Политическое сообщение: опыт освоения протестной поверхности // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология. 2014. № 4. С. 115–119.
- 10. Ясин $E.\Gamma$. Приживется ли демократия в России. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2012.864 с.
- Alexandr A. Kerimov, Ural Federal University named after B. N. Yeltsin (Yekaterinburg, Russian Federation).

E-mail: kerimov68@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 145–153.

DOI: 10.17223/1998863X/48/14

THE PARLIAMENTARY SYSTEM IN MODERN RUSSIA: PECULIARITIES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION

Keywords: parliamentarism; Parliament; executive branch; parliamentary functions.

An analysis of the evolution of parliamentarism shows that the institution is historical in nature, and is in constant development. Its evolution, transition from one stage to another, is caused by the political, socio-economic, cultural and spiritual changes in the society. Features of the implementation of parliamentarism in various periods of the political system development reflect the state of social relations and meet the requirements of society. This institution, having realized its historical potential at a certain stage, creates preconditions for a transition to a qualitatively different state that is characterized by new content and institutionalization forms. The experience of parliaments over the past decade shows that the institution has not outlived its usefulness, and it is unlikely that it will ever become unnecessary. The strength and importance of parliamentarism lies in its ability to provide an evolutionary way of society's development. As practice in the developed countries shows, in crucial moments of history, parliament and related institutions and practices played the important stabilizing role in these countries. Modernization processes received people's approval and support, including through parliament, because parliament gave these processes the nature of the implementation of the will of the people. Parliament creates the conditions and provides the opportunity to hear all the opinions, contributes to the achievement of compromise and rapprochement between various political forces, makes laws, creates the legal basis of the state. This institution involves the population in the discussion and decision-making either directly or through political parties and alternative methods of representation. Such mechanisms allow parliament to share the responsibility for the decisions and the electorate in some degree, and to legitimize political power. At the present stage, the parliamentary system faces several challenges that hamper its development. This article attempts to analyze the specifics of modern Russian parliamentarism and to identify factors hindering the development of its democratic version, and also offers measures to overcome the existing problems.

References

- 1. Lyublinsky, V.V. (2015) Politicheskoe izmerenie sotsial'nogo neravenstva i bednosti [The political dimension of social inequality and poverty]. *Polis Polis. Political Studies*. 5. pp. 94–106.
- 2. Romanov, R.M. (1998) Rossiyskiy parlamentarizm: genezis i organizatsionnoe oformlenie [Russian parliamentarism: the genesis and organizational design]. *Polis Polis. Political Studies*. 3. pp. 123–133.
- 3. VTsIOM. (2017) Odobrenie deyatel'nosti gosudarstvennykh institutov [Approval of the activities of state institutions]. [Online] Available from: https://wciom.ru/news/ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/. (Accessed: 1st December 2017).
- 4. Timofeeva, L.N. (2014) Conflicts of relations between government and opposition in terms of political modernization: risks and opportunities of their harmonization. *Konfliktologiya Conflictology*. 4. pp. 82–93. (In Russian).
- 5. Kuznetsov, I.I. (2014) Konstruirovanie demokratii v sovremennom mire: ugrozy institutsional'nykh zaimstvovaniy [Construction of democracy in the modern world: threats of institutional borrowing]. Sovremennye evraziyskie issledovaniya. 2. pp. 30–41.
- 6. Levada-Tsentr. (2011) Rossiyskie parlamentskie vybory: elektoral'nyy protsess pri avtoritarnom rezhime: otchet ob ustanovkakh i otsenkakh elektorata po dannym monitoringa oprosov obshchestvennogo mneniya [Russian parliamentary elections: the electoral process under the authoritarian regime: a report on the attitudes and assessments of the electorate according to the monitoring of public opinion polls]. [Online] Available from: https://www.levada.ru/2012/03/14/rossijskie-parlamentskie-vybory-elektoralnyj-protsess-pri-avtoritarnom-rezhime/. (Accessed: 1st December 2017).
- 7. Krasin, Yu.A. (2003) Politicheskoe samoopredelenie Rossii: problemy vybora [Political self-determination of Russia: problems of choice]. *Polis Polis Political Studies*. 1. pp. 124–133.
- 8. Kolesnikov, V.N. (2013) Parlamentskiy kontrol' v sovremennoy Rossii kak sopernichestvo idei i interesa [Parliamentary control in modern Russia as a rivalry between ideas and interest]. In: Gornyy, M.B. & Sungurov, A.Yu. (eds) *Publichnaya politika* 2012 [Public Policy 2012]. St. Petersburg: Norma. pp. 170–179.
- 9. Skiperskikh, A.V. (2014) Political message: experiment of development political protest. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya. Politicalogiya. Sotsiologiya – Proceedings of Voronezh State University. Series: History. Political Science. Sociology. 4. pp. 115–119. (In Russian).
- 10. Yasin, E.G. (2012) *Prizhivetsya li demokratiya v Rossii* [Will democracy take root in Russia]. Moscow: Liberal'naya missiya.

УДК 32:008; 32:316.7

DOI: 10.17223/1998863X/48/15

А.Ю. Краснопёров

ГРАЖДАНСКАЯ КУЛЬТУРА КАК ФОРМА СОЦИАЛЬНОЙ КОММУНИКАПИИ¹

В настоящей статье рассматривается концепт гражданской культуры как формы социальной коммуникации. Прослеживается структурная составляющая гражданской культуры в Античности, эпохе модерна и отмечаются направления изменений в постсовременности.

Ключевые слова: гражданская культура, социальная коммуникация, политические смыслы.

Понятие «культура» рассматривается в данной статье в понимании, которое Э. Сепир выразил как «не столько то, во что верит тот или иной народ или что им создано, сколько то, каким образом созданное этим народом и то, во что он верит, функционирует в его жизни, какое значение все это имеет для данного народа» [1. С. 469]. Такая трактовка применима к любым социальным общностям. Ключевое слово здесь — «значение». Для того чтобы «нечто» имело значение для «некто», этот «некто» должен для начала получить информацию об этом «нечто». Таким образом, речь идет о коммуникации, следовательно, культуру можно изучать как процесс и результат взаимодействия с информацией. Понимание культуры в русле коммуникативного подхода предполагает также согласие с тезисом Э. Лича, который утверждал, что «культура осуществляет коммуникацию; сама по себе сложная взаимосвязь культурных событий передает информацию тем, кто в этих событиях участвует» [2. С. 8], т.е. по своей сути культура существует как коммуникация.

Истоки выделяемого подхода восходят к феноменологии с ее тезисом о феноменологической редукции, а также к теории социального конструирования реальности, с точки зрения которого мир и его составляющие воспринимаются человеком не напрямую, а посредством символических образов. Предполагается, что образ политики не отражает объективной реальности (само понимание реальности как объективной в таком случае подлежит сомнению, она мыслится как социальный конструкт), «он заведомо искусственно создан и символичен» [3. С. 72]. Образ — это, по сути, конструкция из субъективно понимаемых фактов.

Схематически процесс коммуникации индивида с внешней средой может быть изображен так, как это демонстрируется на рисунке. Элементы, обозначенные прямоугольниками, — части внутреннего мира индивида, недоступные для прямого восприятия сторонним субъектом. А элементы, обозначенные овалом, — объективации, которые могут быть восприняты кем-то другим. Процесс начинается с того, что индивид получает некоторое сообщение, вы-

¹ Статья выполнена по гранту на реализацию научного проекта РФФИ № 19-011-31231 «Политическая социализация молодежи в университетских городах».

раженное в языке. Первое, что индивиду предстоит сделать, - декодировать сообщение (верхней серой точкой на рисунке обозначен контакт еще не раскодированного сообщения со смысловой матрицей индивида, в этот момент и происходит декодирование). Без этого оно не может быть осмыслено. Для декодирования используются как уже имеющиеся смыслы, так и освоенный язык, без которого расшифровать сообщение не удастся. После декодирования вновь полученная информация становится частью матрицы смыслов индивида. Весь этот процесс называется репрезентацией. Для того чтобы отправить сообщение, индивиду необходимо использовать содержание матрицы смыслов и кодировать информацию по тем правилам, которые предполагает освоенный язык (описанное действие отмечено нижней серой точкой на рис. 1). В результате получается новое сообщение, которое с помощью того или иного средства коммуникации посылается во внешний мир. Этот процесс называется конструированием. Репрезентация и конструирование вместе представляют собой коммуникацию (применительно к отдельно взятому индивиду). Социальная коммуникация – это когда несколько индивидов взаимодействуют друг с другом.

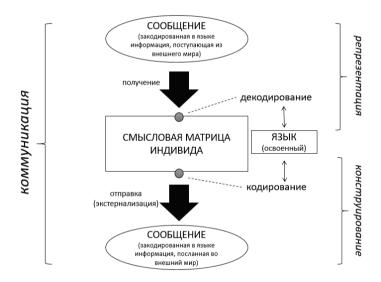


Рис. 1. Процесс смысловой коммуникации индивида с внешней средой

Таким образом, под *культурой* я буду понимать смысловую коммуникацию индивидов с внешней средой посредством получения, интерпретации и передачи смыслов. По своей сути язык представляет собой форму, в которой выражен смысл, а смысл — наполнение формы. *Политическая культура* — это не что иное, как часть общей культуры, выделяемая на основе конфигурации политических смыслов.

Концепт гражданской культуры заимствован у Г. Алмонда и С. Вербы. Интерес к вопросу о соотношении политической системы и политической культуры приводит их к появлению идеи о существовании такой разновидности политической культуры, которая бы сочеталась с демократической политической системой наилучшим образом [4. С. 38]. Авторы назвали этот тип

гражданской культурой. Но в данной статье гражданская культура раскрывается в рамках коммуникативного подхода.

Сложности возникают уже при попытке найти какие-либо общие смыслы, сочетающиеся с демократической системой. Даже беглый обзор демократий настоящего и прошлого демонстрирует широкий спектр примеров политических систем, которые можно называть демократическими. Различные институты требуют и разного культурного обоснования. Единственная несомненная группа смыслов, характерная для любой демократии, — это право каждого гражданина участвовать в принятии политических решений и управлении государством (не только «мое право», но и «право другого», права эти равнозначны), закрепленное как устойчивая ценность. Эту группу смыслов можно рассматривать как базисную, к которой уже добавляются иные элементы смысловой матрицы, придающие этому базису наполнение.

Очевидно, что гражданскую культуру нельзя свести только к содержанию матрицы смыслов. Ведь раскрытие представленного базиса может происходить самыми различными путями, которые не только не сочетаются со стабильным функционированием демократической политической системы, но и противостоят ему: охлократия или тирания большинства.

Политическая теория и практика знают множество способов институционализации демократии. В идеале они должен отвечать требованию, что ни «я», ни «ты» не можем принять какое-либо ключевое решение самостоятельно, это можем сделать только «мы» вместе. Когда кто-то выводится из «мы» в категорию «они» (те, кто не причастен к принятию ключевых решений), то, при условии сохранении у этих последних базисной ценности демократии, возрастает конфликтный потенциал в обществе, влекущий, в свою очередь, рост вероятности дестабилизации работы всей демократической системы в целом. От всех тех, кто вошел в число «мы», требуется принимать конкретные решения. Это значит, что эти люди должны вступить в переговоры, чтобы согласовать такое решение – достигнуть консенсуса, договоренности. Но вот чтобы переговоры в принципе состоялись, необходимо важнейшее условие - способность понимать друг друга (в этом выражается эффективность коммуникации). В особенности обратим внимание на афинскую демократию, поскольку она представляет собой форму прямой демократии, когда для управления политическим образованием привлекались все граждане. Можно выделить два аспекта специфики коммуникации.

Во-первых, принятие решений на народном собрании (экклесии) предполагало предварительное обсуждение любого вопроса с отражением различных позиций [5. С. 39–59]. Так как именно граждане принимали окончательное решение, то для эффективного функционирования института экклесии к индивиду выдвигается требование понимать (правильно интерпретировать) и уметь оперировать (выражать в языке) широким спектром смыслов и их конфигураций, которые, возможно, не являются ключевыми для него лично, но важны и существенно значимы для другого. Во многом это схоже с тем, что Р. Даль называл гражданской компетентностью, обладая которой можно говорить о так называемом нормальном гражданине — таком, «кто обладает минимально достаточным объемом знаний о том, что соответствует его собственным интересам, и о том, какой политический выбор позволяет ему обеспечить эти интересы лучше других» [6]. Естественно, что гражданин не

будет обладать всеохватным объемом знаний относительно смыслов, но он хотя бы должен охватывать те смыслы, которые касаются его поведения и реализации его интересов в сочетании с поведением и интересами других граждан. Если же этого не происходит, то такое собрание теряет свое значение, а функция обсуждения нивелируется. По мнению Х. Арендт, «полис — это место, где люди встречаются друг с другом как равные с равными, признавая в то же время свое разнообразие и полагая его сохранение важнейшей целью этой встречи. <...> Для этого необходима уверенность, что стремление человека к индивидуальности не перерастет в сознание собственной исключительности» [7. С. 102]. Такая гражданская компетентность обусловливает стабильность института принятия решений и демократии в целом.

Во-вторых, для того чтобы у индивида смогла сформироваться такая широкая по содержанию смысловая матрица, он должен быть максимально плотно вовлечен во взаимодействие с другими людьми. В античных Афинах это достигалось на агоре – городской площади, которая была главным местом встреч в полисе благодаря своей экономической, административной и социальной значимости. Другими словами, это место уплотненных коммуникативных потоков в публичном пространстве. Именно здесь по большей степени осуществлялось знакомство с различными смысловыми конструктами. Причем такое взаимодействие должно быть длительным и интенсивным. Социолог 3. Бауман даже называл агору родиной демократии, так как, по его мнению, именно здесь язык оікоѕ (частная жизнь) переводился на язык ессlesіа (общественная жизнь) и наоборот [7. С. 252–253].

Таким образом, гражданскую культуру правильнее характеризовать как один из типов коммуникации в общине, который позволяет членам одного сообщества эффективно вести беседу о целях политической деятельности. Концепт гражданской культуры включает три элемента. Базисный элемент: «право участвовать в принятии политических решений, в равной мере распространяемое на всех граждан» как один из доминирующих политических смыслов, плюс дополнительные смыслы, характеризующие специфику конкретной демократии. И два поддерживающих элемента: первый – компетентность, под которой понимается знакомство с максимально возможным числом встречаемых в обществе смыслов и умение использовать язык для оперирования с этими смыслами; второй – высокая плотность коммуникативных потоков в публичном пространстве, в результате которого и происходит освоение смыслов и языка. Оба последних элемента можно назвать стабилизаторами базисного элемента в краткосрочной и долгосрочной перспективе соответственно.

В крупных политических сообществах (под сообществом я понимаю группу людей, признающих себя и других членами единой социальной общности) каждый гражданин не может контактировать с каждым другим. Более того, он, возможно, не будет за свою жизнь контактировать с большинством других граждан, как это имело место на Афинской агоре. Но агора как публичное пространство все равно сохраняется, она лишь меняет свой характер: теперь это все меньше географическое пространство и все больше виртуальное, и граждане не обязательно присутствуют в нем физически. Раскрытию представленного тезиса способствуют два связанных с демократией атрибута — гражданское общество и массмедиа.

Благодаря институтам представительства больше не требуется непосредственное участие каждого гражданина в выработке решений, их полномочия делегируются более узкому кругу лиц. Смысловой конструкт для обычного гражданина «право участвовать в принятии политических решений» максимально приближается по значению к «право влиять на принятие политических решений». Более того, внутри государства становится возможным образование достаточно однородных сообществ и гражданских институтов, чтобы они могли представлять интересы входящих в него индивидов в отношениях с политическими институтами и лидерами. Остальным людям уже не нужно лично присутствовать при принятии решений непосредственно. В результате две группы людей: с одной стороны, политики и ключевые чиновники, входящие в политическую систему (понимаемую здесь как разветвленная совокупность государственных институтов и учреждений) и наделенные властью принимать политические решения, а с другой стороны, общественные лидеры, пытающиеся оказать влияние на решения и действия представителей первой группы, - образуют то, что в античном полисе называлось экклесией. Гражданская культура на данном историческом этапе вовсе не требует постоянной политической активности от каждого гражданина. Она предполагает различные модели поведения: от включенного участия до пассивного наблюдения, когда происходит лишь солидаризация с тем или иным институтом гражданского общества.

В итоге образуется публичное пространство, где встречаются различные политические силы, вынужденные вступать в обсуждение перед лицом во многом пассивной аудитории. СМИ позволяют делать это, достигая самых удаленных уголков государства. И именно от непосредственных участников этой новой экклесии требуется высокий уровень гражданской компетентности, чтобы такие переговоры состоялись. Такое положение дел заставляет вырабатывать некоторую понятную форму коммуникации, смыслы и язык, которые будут восприняты избирателями, чей социальный опыт может заметно различаться в силу размеров государства. Как видим, крупные СМИ тем самым выполняли роль виртуальной агоры, оказывая огромное влияние на процесс социализации в рамках столь большого политического образования.

В то же самое время существовало множество небольших СМИ, имеющих свою специфическую аудиторию. На мой взгляд, крупные национальные СМИ и малые СМИ уравновешивали друг друга и способствовали стабильности демократической системы. Первые позволяли гражданам понимать друг друга и вели к повышению гражданской компетентности. Но в отсутствие малых СМИ они бы привели в конечном счете к навязыванию единого смыслового шаблона, так характерного для тоталитарных обществ того же периода. С другой стороны, малые СМИ поддерживали существование различных интересов, противостояли унификации. Но в отсутствие национальных СМИ они бы вели к разделению общества на аудитории, не понимающие друг друга и не способные к диалогу.

Однако с течением времени все сильнее проявляются тенденции, которые не просто замещают гражданскую культуру другими типами коммуникации, но ставят под угрозу само ее существование. А как следствие – стабильность демократии. Можно провести условный барьер на рубеже 80-х и 90-х гг. ХХ в., когда влияние таких тенденций достигает некоторого критиче-

ского уровня, который больше нельзя игнорировать и списывать на периодические колебания: выделяется вполне направленный вектор смещения коммуникативных интеракций, что ведет к смене структуры социальной коммуникации.

Прежде всего, это глобализация. Процесс глобализации ведет к возникновению сложных кросспространственных связей и зависимостей. Появляются процессы, институты и образования, выходящие за пределы зоны влияния одного отдельно взятого государства. Как следствие, государство и связанная с ним экклесия уже не являются единственным центром принятия решений. Бауман отмечает по этому поводу: «Глубочайший смысл идеи глобализации — это неопределенный, неуправляемый и самостоятельный характер всего, что происходит в мире; отсутствие центра, пульта управления, совета директоров или головной конторы» [8. С. 88]. Многие социальные субъекты достигают своих целей из непосредственного взаимодействия друг с другом.

Распространение Интернета стало другой важной тенденцией, меняющей характер коммуникации. Интернет кардинально отличается от предшествующих ему форм массмедиа тем, что позволяет каждому пользователю стать автором текста, быть отправителем и получателем сообщения. Пользователь, наряду со СМИ, становится конструктором смыслов. Если выражаться словами Дж. Уэбстера, то аудитория-как-объект постепенно трансформируется в аудиторию-как-агент [9. С. 401]. Последующее развитие Интернета идет в направлении все большей коммуникативной децентрализации и вовлечения пользователей, что практически стирает границу между изначальным автором и читателями, наделяя их одинаковыми функциями. Добавим к сказанному другие отличительные черты Интернета: глобальный охват коммуникации по принципу «многие-ко-многим», способность сохранять анонимность, свойство воспроизводимости информации [10. Р. 9]. В результате отпадает необходимость в наличии источника информации, вокруг которого концентрировалась бы аудитория, акценты смещаются на личность. А это ставит властные институты в трудное положение, вынуждая их балансировать между запросами разрозненных групп узких интересов, что повышает вероятность неудовлетворенности и угрожает возникновением конфликтов [11. P. 40–43].

Третий феномен, в терминологии социолога М. Кастельса, образует сетевое общество [12. С. 494–505]. Сеть – это совокупность взаимосвязанных узлов. Узлы могут быть представлены как индивидом, так и каким-либо социальным образованием. Узлы соединены потоками движущейся информации. От системы такая сеть отличается гибкостью: узлы могут меняться без нарушения работы сети, а связи между ними существуют ровно до тех пор, пока происходит обмен информацией. Сеть – это уже не сплоченная социальная группа, которая может формировать институт представительства; она представляет собой достаточно гибкое и постоянно меняющееся образование. В отличие от институтов или социальных групп сеть не обладает законченными отличительными признаками или границами, которые бы позволили выделить ее по отношению к другим сетям.

Четвертый феномен – рост индивидуализма, под которым в целом можно понимать рост комплексной сложности общества, ослабление традиционных

социальных институтов и возрастание значимости индивидуальных интересов относительно интересов сообщества. В частности, Бауман говорит о том, что современные перемены и стремление личности к реализации собственной индивидуальности приводят к деградации института гражданства в традиционном понимании. Современный мир предстает у него как мир, состоящий из индивидуальностей (индивидуализированное общество), связи между которыми ослаблены настолько, что на смену традиционным институтам приходит мир «текучей современности», для которого характера постоянная смена форм объединения людей, а сами эти формы непостоянны и кратковременны [13. С. 161]. Это подтверждает исследование Р. Инглхартом всемирных ценностей [14. С. 201–216]. Такое обстоятельство резко повышает требования к гражданской компетентности для всех граждан.

Теперь сложим эффект от всех представленных феноменов и посмотрим, какое воздействие они оказывают на гражданскую культуру и стабильность демократии. Во-первых, исчезает единая экклесия как место, где обсуждаются и принимаются решения. Вместо этого возникает множество мелких и непостоянных экклесий, т.е. в процессе принятия политических решений требуется вступать во взаимодействие с различными субъектами по различным вопросам, каждый раз заново выстраивая систему взаимодействия. Вовторых, под влиянием индивидуализации растет требование к гражданской компетентности: теперь нужно осваивать больше смыслов и учиться пользоваться более сложным языком для их выражения. На каждой экклесии требуется свой стиль общения и индивидуальный подход. А учитывая сдвиг от институциональной организации социального взаимодействия к сетевой, важно отметить, что требование к гражданской компетенции растет для рядовых граждан, а не только для общественных лидеров. В-третьих, индивидуализм в совокупности с сетевой организацией общества ведет к кризису агоры как единого пространства публичных обсуждений. Нарастает фрагментация и точечное взаимодействие. Социализация теперь зависит от личного опыта как никогда раньше, в то время как доля общего опыта снижается. Сети – это множество различных специализированных агор, переключение между которыми во многом зависит от личного выбора. В результате потери общего опыта в процессе социализации не формируется единый язык, а значительная часть смыслов, присущая некоторой политической общности, не усваивается. Как следствие, уровень гражданской компетентности снижается либо для его повышения теперь потребуется больше усилий.

Получается два разнонаправленных процесса: повышается требование к гражданской компетентности, но в то же время исчезновение агоры снижает уровень гражданской компетентности. В совокупности оба процесса в перспективе отрицательно влияют на эффективность коммуникации при обсуждении и принятии политических решений, что и является фактором дестабилизации. Но здесь требуется очень важное уточнение — речь идет о политических решениях, необходимых в масштабах сохранившихся государственных образований. Но это вовсе не значит, что она исчезает совсем, а все демократии ждет пессимистичный конец. Мое предположение заключается в том, что гражданская культура может проявляться и успешно существовать на уровне территориальных поселений.

Литература

- 1. *Сепир* Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / пер. с англ; общ. ред. и вступ. ст. А.Е. Кибрика. М.: Прогресс: Универс, 1993, 656 с.
- 2. Лич Э. Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов: К использованию структурного анализа в социальной антропологии: пер. с англ. М.: Изд. фирма «Восточная литература РАН», 2001. 142 с.
- 3. *Щербинина Н.Г.* Политический образ и имидж: соотношение понятий // Политический маркетинг. Приложение к журналу «Практический маркетинг». 2010. № 4. С. 71–78.
- 4. *Алмонд Г., Верба С.* Гражданская культура: политические установки и демократия в пяти странах / пер. с англ. Е. Генделя. М.: Мысль, 2014. 500 с.
- 5. *Маринович Л.П*. Античная и современная демократия: новые подходы к сопоставлению: учеб. пособие. М.: КДУ, 2007.212 с.
- 6. Даль Р. Проблемы гражданской компетентности [Электронный ресурс] // Пределы власти. 1997. № 1. Электрон, версия печат. публ. URL: http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-3.htm (дата обращения: 12.02.2019).
 - 7. Бауман 3. Индивидуализированное общество. М., 2002. 324 с.
- 8. *Бауман 3*. Глобализация. Последствия для человека и общества : пер. с англ. М. : Весь мир, 2004. 188 с.
- 9. *Брайант Д., Томпсон С.* Основы воздействия СМИ. М.: Изд. дом «Вильямс», 2004. 432 с.
- 10. Johnson D.G. Reflections on Campaign Politics, the Internet, and Ethics // The Civic Web. Online Politics and Democratic Values. Boston: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003. P. 9–18.
- 11. Galston W. If Political Fragmentation Is the Problem, Is the Internet the Solution? // The Civic Web. Online Politics and Democratic Values / edited by D.M. Anderson and M. Cornfield. Boston: Rowman & Littlefield Publishers, Inc., 2003. P. 35–46.
- 12. *Кастельс М.* Становление общества сетевых структур // Новая постиндустриальная волна на Западе: антология / под ред. В.Л. Иноземцева. М., 1999. С. 492–505.
- 13. Бауман 3. Текучая современность / пер. с англ. под ред. Ю.В. Асочакова. СПб. : Питер, 2008. 240 с.
- 14. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое изд-во, 2011. 464 с.

Anton Yu. Krasnoperov, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: krasnopyorov.anton@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 154–162.

DOI: 10.17223/1998863X/48/15

A CIVIC CULTURE AS A FORM OF SOCIAL COMMUNICATION

Keywords: civic culture; social communication; political meanings.

This article addresses the concept of a civic culture as a form of social communication. The notion of culture is constructed with reliance on a communicative approach. Culture is studied in the framework of the above approach through an exchange of meanings between individuals, which is achieved by the use of a language as a form of conveying meanings to enable other individuals to perceive them. A civic culture represents a form of political culture which is most favorably combined with a democratic political system. It is presented herein as a configuration of three constituent elements, namely, a basic political meaning (other meanings could be added thereto to produce specific features of a given political system), civic competence (which is taken to mean exposure to political meanings encountered in society and ability to utilize them to facilitate discussion), as well as a high intensity of information flows in public spaces (which results in acquisition of political meanings and language). The two latter elements can be referred to as basic element stabilizers both in the short and in the long run, respectively. The article proceeds to trace the structural component of a civic culture in three time periods. In the Antiquity, it was formed in democratic city-states such as Athens in which the agora (a central meeting space) served as a platform for shaping common experiences, and civic competence was required from all individuals with access to ecclesia (the municipal assembly). In the modern period marked by an absolute majority of representative democracies, the role of the agora belonged to mass media and civil society institutions, while civic competence was required more from social leaders and somewhat less from other citizens. Lastly, the postmodern period is marked by tendencies jeopardizing the existence of a civic culture at national levels. Such tendencies are globalization, an ever-increasing role of the Internet, emerging network society, and expanding individualism. The author concludes that the structure of social communication is changing in response to the above tendencies, which entails a need for an alternate approach to view effective communication (according to a civic culture type and, perhaps, on a level of area-based settlements).

References

- 1. Sapir, E. (1993) *Izbrannye trudy po yazykoznaniyu i kul'turologii* [Selected Works on Linguistics and Cultural Studies]. Translated from English by A.E. Kibrik. Moscow: Progress: Univers.
- 2. Leach, E. (2001) *Kul'tura i kommunikatsiya : Logika vzaimosvyazi simvolov. K ispol'zovaniyu strukturnogo analiza v sotsial'noy antropologii* [Culture and Communication: The Logic by Which Symbols are Connected]. Translated from English. Moscow: Vostochnaya literatura.
- 3. Shcherbinina, N.G. (2010) Politicheskiy obraz i imidzh: sootnoshenie ponyatiy [Political brand and image: correlation of concepts]. *Politicheskiy marketing. Prilozhenie k zhurnalu "Prakticheskiy marketing" Practical Marketing. Supplement.* 4. pp. 71–78.
- 4. Almond, G. & Verba, S. (2014) *Grazhdanskaya kul'tura: politicheskie ustanovki i demokrati-ya v pyati stranakh* [Civil culture: political attitudes and democracy in five countries]. Translated from English by E. Gendel. Mosocw: Mysl'.
- 5. Marinovich, L.P. (2007) *Antichnaya i sovremennaya demokratiya: novye podkhody k sopostavleniyu* [Antique and modern democracy: new approaches to comparison]. Moscow: KDU.
- 6. Dahl, R. (1997) Problemy grazhdanskoy kompetentnosti [Problems of civil competence]. *Predely vlasti*. 1. [Online] Available from: http://old.russ.ru/antolog/predely/1/dem2-3.htm. (Accessed: 12th February 2019).
- 7. Bauman, S. (2002) *Individualizirovannoe obshchestvo* [The Individualized society]. Translated from English. Moscow: Logos.
- 8. Bauman, S. (2004) *Globalizatsiya. Posledstviya dlya cheloveka i obshchestva* [Globalization. Consequences for man and society]. Translated from English. Moscow; Ves' mir.
- 9. Bryant, D. & Thompson, S. (2004) *Osnovy vozdeystviya SMI* [Fundamentals of Media Impact]. Translated from English. Moscow: Vil'yams.
- 10. Johnson, D.G. (2003) Reflections on Campaign Politics, the Internet, and Ethics. In: Anderson, D.M. & Cornfield, M. (eds) *The Civic Web. Online Politics and Democratic Values*. Boston: Rowman & Littlefield Publishers. pp. 9–18.
- 11. Galston, W. (2003) If Political Fragmentation Is the Problem, Is the Internet the Solution? In: Anderson, D.M. & Cornfield, M. (eds) *The Civic Web. Online Politics and Democratic Values*. Boston: Rowman & Littlefield Publishers. pp. 35–46.
- 12. Castells, M. (1999) Stanovlenie obshchestva setevykh struktur [Formation of a society of network structures]. In: Inozemtsev, V.L. (ed.) *Novaya postindustrial'naya volna na Zapade* [New post-industrial wave in the West]. Moscow: Academia. pp. 492–505.
- 13. Bauman, S. (2008) *Tekuchaya sovremennost'* [The Liquid Modernity]. Translated from English by Yu.V. Asochakov. St. Petersburg: Piter.
- 14. Inglehart, R. & Velzel, K. (2011) *Modernizatsiya, kul'turnye izmeneniya i demokratiya: Posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya* [Modernization, Cultural Change, and Democracy The Human Development Sequence]. Translated from English by M. Korobochkin. Moscow: Novoe izdatel'stvo.

УДК: 321; 323.1

DOI: 10.17223/1998863X/48/16

В.В. Шишков

ИМПЕРИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ ТЕОРИИ НАЦИИ И НАЦИОНАЛИЗМА

В статье исследуется проблема империи в теории нации и национализма. Анализ проводится во взаимосвязи с актуальными результатами имперских исследований. Рассмотрены основные взгляды по представлению существенных характерных черт империи в исследованиях нации и национализма. Уточняется содержание понятий «имперский центр», «имперская политика» и более четко отграничивается империя от других типов государств, отличающихся сложным национально-этническим составом.

Ключевые слова: империя, нация, национализм, имперский центр, периферия.

Империя и нация выступают в качестве наиболее значимых явлений политики эпохи модерна, их генезис в условиях социальных трансформаций современности имел определяющее значение для отдельных обществ, государств и мирового развития в целом. Империя как особый тип государства восходит к Античности, получила специфическое выражение в Средние века и к эпохе Нового времени являлась традиционной формой территориальнополитической организации. В эпоху модерна империя приобрела новые черты, связанные с колониальной экспансией, политикой империализма, различными способами господства по отношению к имперской периферии, формированием имперской элиты и наращиванием военно-политической мощи. В настоящей статье имеются ввиду эти признаки империи, в той или иной степени свойственные ведущим государствам-империям Нового времени. В современном мире нет империй в таком классическом понимании, как и нет нации, зарождение и развитие которой прошли бы вне какой-либо империи. Национальное прошлое может быть связано или с метрополией, или с зарождением нации на имперской периферии, во многом под влиянием имперской политики и культуры.

Национальная мифология многих современных государств в значительной степени связана с империей. Так, например, при характеристике современной политики США нередко выражается мысль, что поскольку само это государство сформировалось в борьбе колоний с империей, то и вся его последующая история, его призвание заключается в том, чтобы способствовать освобождению других народов от имперского гнета и диктаторских режимов. Постсоветские государства Прибалтики формируют свою национальную идентичность и самопрезентуют себя на Западе, в НАТО и ЕС как жертвы имперской политики и подавления со стороны России и СССР. Еще большее значение в свете поднимаемой в настоящей статье темы имеет ситуация, складывающаяся с 2014 г. на Украине, при которой антироссийская направленность становится существенным элементом продолжающегося конструирования национальной идентичности.

164 *В.В. Шишков*

Современная государственная и национальная политика — это в значительной степени наследие имперской политики, они имеют то или иное имперское содержание, связанное с политикой памяти, исторической политикой, национальным мифотвочеством, но не только. Во многом представление об имперском прошлом формирует представление нации о ее настоящем и будущем в координатах современной политики. Все вышесказанное о теме империи и нации полностью относится к современной России, к ее государственному и национальному строительству.

В зависимости от теоретико-методологического подхода нация рассматривается как постоянная характеристика какой-либо общности, изначально присущая ей (примордиализм) или как явление современного общества, отличающее его от домодерных социальных и политических практик (модернизм). В современной социологии и политологии преобладают подходы, связывающие формирование наций с трансформациями, происходящими в современном обществе. Нация, по выражению Б. Андерсона, есть «воображаемое сообщество», которое зарождается и развивается во многом как ответ на вызов современности, в большей или меньшей степени актуализированный в политических реалиях (конструктивизм, инструментализм).

Притом что империя и нация стали основными участниками политики эпохи модерна, их взаимосвязи редко становились предметом специального исследования (см.: [1]). В «имперских исследованиях» отдается должное внимание проблеме национализма периферий, которая нередко выходит на первый план при анализе причин кризиса и распада, национальной политики центра империи, а также, в меньшей степени, шовинизма и ксенофобии метрополии. Тем не менее проблематика нации, особенно рассматриваемая с позиций национального строительства, если не вторична, то заслонена вопросами имперского управления, поддержания имперской мощи, формирования имперских элит и др.

В противоположность этому исследования нации и национализма уделяют внимание проблеме влияния империи на образование нации. В таких исследованиях империя-государство, как правило, выступает противоположностью нации-государства. Так, К. Калхун в работе «Национализм», имеющей для своего времени обобщающий характер, отмечал, что «имперское правление уж точно не было попыткой создания единства между нацией и государством» [2. С. 205]. Исследователь раскрывает этот тезис на примере Австро-Венгерской монархии, господство которой не привело к языковому единообразию, развитию коммуникации, формированию общего нарратива и легитимного правления в интересах народа, т.е. всего того, что обеспечивает национальное государство. Империя выступает как антитеза нации и вызывает национализм на периферии, который оказывается наиболее привлекательной стратегией для местных элит, обеспечивая новое качество их легитимности и связи с населением.

Согласно таким взглядам национализм возникает в среде элит периферии-колонии как реакция на ограничения, наложенные имперским администрированием. Связь между возникновением национализма и имперской политикой обеспечивает включение империи в дискурс о нации и национализме, но проблемы нации остаются вторичными для имперского дискурса. При этом процессы нациостротельства и образования классических империй

эпохи модерна шли в европейских обществах параллельно и под взаимным влиянием. Современная методология подходов к изучению империи если не избегает этого существенного момента, то обходит его стороной.

Цель настоящей статьи заключается в анализе походов к определению империи, выработанных в рамках теории нации и национализма, и их соотнесении с теоретико-методологическими основами понимания империи в современной политической науке. В связи с этим в центре внимания находится отражение имперской проблематики в исследованиях ведущих представителей теории нации и национализма, преимущественно работающих в рамках конструктивистского подхода, отличающегося наиболее проработанной научной аргументацией.

В современной политической и исторической научной литературе при анализе развития имперской государственности преобладает центр-периферийный подход, рассматривающий данный тип государства с позиций функционального анализа. Империя описывается в качестве такой политической организации, в которой центр занимает доминирующее положение, играет ведущую роль в определении внутренней и внешней политики и, что существенно, в обеспечении коммуникаций между перифериями. Согласно такому взгляду центр представлен государством-метрополией, что достаточно наглядно в случае империй, имеющих заморские колониальные владения, и его политической элитой. Центр-периферийный подход сосредоточивает внимание на гетерогенности имперского пространства, сложности управления империей, значении имперской бюрократии, форм и методов администрирования и контроля в отношении имперских периферий.

Проблемы национального развития в имперских государствах получают одностороннее освещение. Внимание сосредоточивается на национализмах периферий, их развитие рассматривается в качестве ключевого обстоятельства кризиса и исчезновения империи как легитимной формы государственности. Несмотря на то, что центр-периферийный подход уделяет значительное внимание непосредственно имперскому центру, аналогичные процессы в ядре империи – метрополии уходят на второй план.

В этой связи следует отметить еще один недостаток центр-периферийного подхода. Выдвигаемый в рамках его логики тезис о том, что империи распадаются в том случае, когда периферии догоняют в своем развитии центр, не представляется вполне аргументированным. Развитие и кризис ведущих империй эпохи модерна, которые можно рассматривать в качестве классических, не подтверждают данный тезис. Так, Британская империя имела наибольший территориальный масштаб, отличалась широким разнообразием колониальных владений при относительной военно-политической слабости метрополии. При этом Британия действительно вынуждена была использовать различные управленческие подходы для реализации своей имперской политики в отношении «белых» и «небелых» колоний. Тем не менее следует учитывать то, что наиболее развитые в политическом и экономическом отношении владения Британской империи, такие как Канада, Австралия, сохранили формальную зависимость от Британской монархии, в то время как африканские и азиатские стали суверенными государствами. Нельзя не учитывать также тот факт, что отпавшие в 1918 г. территории Российской империи далеко не все сравнялись в политическом и экономическом разви166 *В.В. Шишков*

тии с имперским центром. Поэтому рассматриваемый тезис не представляется столь однозначным.

Не менее значимой проблемой представляется содержательное наполнение понятия «центр» применительно к теории империи. Современные исследователи все больше отделяют данное понятие от других терминов, с которыми связано обозначение сосредоточения имперской власти. Так, С.И. Каспэ определяет имперский центр в двух смысловых значениях: во-первых, как центральную ценностную систему; во-вторых, как комплекс институтов, непосредственно легитимированных ценностной системой [3. С. 31-33]. О.Б. Подвинцев вообще разграничивает такие понятия, как «центр», «метрополия» и «историческое ядро» империи [4. С. 8-9]. Следует отметить, что при таком подходе содержание понятия «центр» становится все более отделенным от историкокультурной, территориальной и этнонациональной основы империи. Представляется, что наиболее ярко проблема утраты содержания рассматриваемого понятия проявляется в работе М. Хардта и А. Негри «Империя», в которой центр современной капиталистической имперской системы в принципе лишен субъектности и связывается с контролем над глобальными коммуникациями [5. С. 12, 14, 381]. Империя и центр становятся абстракциями, утратившими институциональное, ценностное и практическое выражение.

Анализ имперской государственности, проведенный такими исследователями, как А. Торнтон, Д. Филдхауз, М. Дойл и др., позволяет говорить о том, что империя не исчерпывается моделью колеса без обода [6. С. 13]. Ее теоретическое объяснение с позиций политической науки требует учета таких факторов, как лояльность, менталитет, доминирование, осуществляемое в различных формах, и, в определенной степени, цивилизационный фактор.

Следует оговорить, что современные подходы к исследованию проблемы имперскости являются не столько отрицанием классических подходов, сколько их уточнением и развитием на современном уровне политической науки. Тем не менее в теории империи фактор нации и национализма не получил еще достаточного учета. Взгляды на империю с этого ракурса не в полной мере проанализированы и сопоставлены. В связи с этим необходимо перейти к анализу взглядов на империю, представленных в основных исследованиях по национальной проблематике.

Один из основоположников модернистского подхода к нации и национализму Э. Геллнер, связавший возникновение наций с распространением промышленного производства и высокой культуры, указывает на связь между национализмом и империей. Распространение господства европейских империй, их империализм выступают производными от формирования индустриального общества, что является также причиной распространения национализма, навязывающего обществу высокую культуру [7. С. 101, 130; 8]. Исследователь разграничивает аграрные и индустриальные общества, условия и потребности которых обусловливают зарождение национализма и наций, а также, следует добавить, распространение их имперского господства.

Основной политический принцип национализма, согласно которому политическая и национальная единицы должны совпадать, противоположен имперской организации, при которой государство включает разные народы. От мира сложносоставных, полиэтнических империй к миру гомогенных в национальном отношении государств ведет ряд стадий, стержнем которых выступает национальный ирредентизм.

Э. Геллнер рассматривает империю в качестве политической организации, обеспечивающей доминирующее положение одного народа по отношению к другим. Говоря о господстве Европы в эпоху модерна, он указывает на европейские народы, добившиеся экономического и технологического превосходства. В таком понимании империя-государство не влечет за собой наиболее существенное нарушение националистического принципа, согласно которому этнические границы не должны отделять правителей от основного населения. Легитимность имперского правительства не представляется сомнительной с позиции национализма общности, политически и экономически преобладающей в таком государстве. Данное обстоятельство позволяет говорить о том, что империя и нация в модернистской трактовке Э. Геллнера не исключают друг друга. Проблемной представляется легитимность имперского правительства в глазах окраинных национализмов.

Этот вопрос получает дополнительное рассмотрение в работах Э. Хобсбаума. Э. Хобсбаум, видный зарубежный исследователь модернизационных процессов, рассматривающий их в рамках марксистской методологии, трактовал феномен нации и национализма с модернистских позиций в конструктивистском ключе на основе изобретенных традиций. При этом в его работах значительное внимание уделялось различиям этнического и гражданского национализма [9, 10].

В эпоху капитала и империализма важнейшим критерием, позволявшим рассматривать народ в качестве нации, выступало наличие собственной государственности. Существенным представлялось то, что национальное государство должно быть способно к экспансии. Успешность в деле расширения империи и имперского государственного строительства выступало наиболее показательным подтверждением состоятельности народа в качестве нации. Представляется, что такой подход в значительной степени уравнивал государство-нацию и государство-империю. Говоря о таком национализме – массовом и гражданском, Э. Хобсбаум отмечает, что он соответствует «принципу порога», согласно которому гражданская нация конструируется сверху крупным капиталистическим индустриальным государством. С точки зрения Э. Хобсбаума, это было вполне оправданно до определенного периода. Изменения были связаны с переносом либерально-демократической националистической риторики, основанной на идеалах Французской революции, на этническую почву, произошедшим в последней четверти XIX – начале XX в.

Этнический национализм — национализм малочисленных этнических общностей, зачастую расположенных на имперских окраинах, — конструирует нацию снизу, заявляя о притязаниях этнолингвистической общности на политическую самостоятельность. Э. Хобсбаум указывает на то, что такой национализм не следует рассматривать в качестве истинного, четко разграничивая национализм и принцип этнической принадлежности. Значимым следствием распространения такого этнического национализма стала реакция со стороны имперских правительств, также взявших на вооружение этнический принцип в его право-консервативной и, добавим, этатистской интерпретации, в которой значимыми были имперские аргументы. Данное обстоятель-

168 В.В. Шишков

ство способствовало росту этнонационального самосознания зависимых имперских народов.

Концепции Э. Хобсбаума придает актуальность, высказанное им мнение о том, что социальная дезориентация в Восточной Европе, связанная с распадом Советского Союза, вызвала возвращение в политику этнического принципа, что является серьезным препятствием демократического развития. Пример современной Украины подтверждает этот тезис.

Анализ конструктивистского подхода Э. Хобсбаума показывает, что не следует рассматривать имперский национализм в качестве алогизма. Империя как крупное государство, отвечающее пороговым требованиям, вполне может выступать субъектом конструирования нации сверху, обеспечивая реализацию принципа национализма. Этническая гетерогенность империи-государства не может рассматриваться в качестве существенного препятствия.

В рамках анализа конструктивистского подхода следует ставить вопрос о состоятельности имперского национализма, о том, насколько он самостоятелен и эффективен как путь политической консолидации.

Б. Андерсон трактует нацию в качестве «воображаемого сообщества», создаваемого на основе печатного капитализма. При этом исследователь отводит империи роль одного из важных условий образования нации. Объединение разнородного в этническом отношении населения в империи и особенности ее администрирования имеют определяющее значение для формирования национального сознания, интересов в национальном суверенитете и обособлении.

Следует оговорить значимое различие во взглядах Б. Андерсона и Э. Хобсбаума. Если последний связывал генезис национализма с процессами в метрополиях, то Б. Андерсон отдает приоритет имперским окраинам. Американский национализм и в значительной степени европейский языковой национализм зарождаются на перифериях империй. Примечательно, что при этом исследователь избегает проводить четкие различия между гражданским и этническим национализмом, рассматривая аристократический, массовый (народный) и официальный национализмы. Последний представляет собой ответ национально-освободительным движениям со стороны империй.

Империя связывается Б. Андерсоном с принципом монархизма и представлена в качестве универсализующего и унифицирующего центра. Этнонациональный характер не присущ изначально империям, имперский «официальный национализм» является ответом на европейские национальноосвободительные движения, сочетая в себе старый, династическый и новый, национальный принцип [11. С. 105–108].

Б. Андерсон подчеркивает фундаментальные противоречия между империей и нацией, говоря при этом главным образом о нациях имперских окрачин. В отношении формирующихся наций имперских метрополий империя выступает в качестве государства, обеспечивающего благоприятные условия не только для нациостроительства, но и ее господство и исключение влияния на имперскую политику национальных движений на периферии.

Итак, новая идентификация и легитимация имперского правления осуществляется на национальной основе, имперский официальный национализм обеспечивает политическую и институциональную преемственность между

династией и нацией. Представляется существенным обращение имперских элит к языку и культуре этнической общности метрополии, определение ее роли в имперской политике и формировании нации, что требует дополнительного внимания.

В связи с этим представляется необходимым привести мнение Э. Смита, исследующего нацию и национализм. Согласно этой позиции нация и национализм — это современные феномены, отвечающие глубоко укоренненым культурным и социальным потребностям человека и общества в самоидентификации. Современное изобретение нации, с точки зрения Э. Смита, осуществляется на основе представлений о «семье семей», родине и преемственности поколений.

В своем труде Э. Смит критически проанализировал основные воззрения на проблему нации и национализма, находя в каждой рассмотренной позиции сильные и слабые стороны. По мнению исследователя, имперские нации «определялись прежним этническим, языковым и религиозным наследием... в различной степени основывались на узах и сообществах, существовавших до проведения имперских реформ, а в ряде случаев и до появления самих империй» [12. С. 95–96, 146].

Представляется существенным, что классические империи не конструировали имперскую идентичность как некую абсолютно новую общность, не рассматривали ее в качестве производной совокупности этнических идентичностей, населяющих империю народов. Напротив, политика имперского центра заключалась в укреплении идентичности метрополии. В случае Российской империи также существенную роль играло распространение и поощрение ее принятия элитами, а позднее и населением окраин. Такой конструктивистский посыл, исходящий из центра, был направлен на укрепление имперской лояльности через обеспечение национального господства и национальных интересов в пределах империи посредством деятельности имперских институтов.

Представляется показательной дискуссия об имперских основах формирования российского национального государства. Так, В.А. Тишков рассматривает образование Российской империи и становление российской нации как параллельные процессы. Исследователь указывает на то, что основой государственного объединения становилась российская, многонародная (полиэтническая) нация [13. С. 7–8, 135, 190]. В противоположность Б. Андерсону отечественный исследователь отстаивает точку зрения, согласно которой имперский характер государства способствовал развитию общегражданской идентичности. А.И. Миллер также тесно связывает империю и нацию, критикуя тезис Э. Геллнера об обязательном для национализма совпадении национальной и политической территории [14. С. 36-37]. Далее позиции отечеисследователей расходятся. Если, В.А. Тишков этническую основу имперских метрополий [15. С. 145–146], то А.И. Миллер указывает на национализм имперской нации, который развивается в условиях необходимости консолидации метрополии. При этом Российская империя реализовывала амбициозный проект русского нациостроительства, предполагающий охват этносов метрополии.

По-разному оценивается и успешность построения российской нации в империи. По мнению В.А. Тишкова, формирование российской «нации наций» в целом завершилось уже в имперский и советский периоды.

170 В.В. Шишков

А.И. Миллер далек от такой оптимистической оценки, исследователь отмечает, что общенационального консенсуса по существенным вопросам не достигнуто, процесс нациостроительства не завершен.

Спектр мнений российских историков и политических исследователей по вопросу империи и нации не исчерпывается приведенными позициями, их анализ требует отдельного исследования (см., например, [16]). Представляется существенным то, что для отечественных ученых, придерживающихся, как правило, конструктивистского подхода, вывод о неподлинном характере «официального национализма» в случае Российской империи не находит подтверждения. Исследовательская аргументация базируется на анализе общественно-политической мысли, имперской политики, особенностях колони-альной экспансии и иных факторах.

Таким образом, проведенный анализ позволяет уточнить представления об империи и имперской политике. Так, грань между империей и нацией оказывается не столь однозначной. Здесь наиболее показателен подход Э. Хобсбаума, связывающего развитие гражданского национализма с ведущими государствами, большинство из которых развивались и как империи. При этом концепт имперского центра с позиций теории нации и национализма получает содержательное наполнение в качестве институционального выражения и представления гражданской нации метрополии.

В связи с этим возможно говорить об имперском национализме как особой форме идеологии и политического движения, противоположной этническому национализму. Кроме того, нуждается в уточнении содержание понятия «имперская политика» и его соотнесение с «политикой империализма». Представляется, что имперская политика в значительной степени связана с обеспечением исключительного политического статуса, заключенного в метрополии империи развивающегося национального ядра.

В методологическом плане проведенный анализ позволяет более четко отграничить империю от других типов государств, отличающихся сложным национально-этническим составом. Особого внимания заслуживает дискуссия об имперском статусе СССР. Нельзя не отметить, что государственная и национальная политика Советского Союза при всей ее неоднозначности не дает основания к отнесению этого государства к числу империй. В целом можно заключить, что противопоставление империи и нации не имеет достаточных оснований. В эпоху модернизации развитие данных политических форм шло во многом параллельно.

Литература

- 1. *Мифы* и заблуждения в изучении империи и национализма / под ред. И. Герасимова, М. Могильнер, А. Семенова. М.: Новое изд-во, 2010. 426 с.
 - 2. Калхун К. Национализм. М.: Изд. дом «Территория будущего», 2006. 288 с.
- 3. *Каспэ С.И*. Центры и иерархии: пространственные метафоры власти и западная политическая форма. М.: Московская школа политических исследований, 2008. 318 с.
- 4. Подвинцев О.Б. О соотношении понятий «метрополия», «имперский центр», «историческое ядро империи» // Имперские и национальные модели управления: российский и европейский опыт: сб. материалов Междунар. науч. конф. / науч. ред. А.О. Чубарьян. М., 2007. С. 5–11.
 - 5. Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004. 440 с.
- $6.\, \textit{Мотыль}\ A.$ Пути империй: Упадок, крах и возрождение имперских государств. М. : Московская школа политических исследований, 2004. 248 с.
 - 7. Геллнер Э. Нации и национализм. М.: Прогресс, 1991. 320 с.

- 8. Геллнер Э. Пришествие национализма. Мифы нации и класса // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М.: Праксис, 2002. С. 146–200.
 - 9. Хобсбаум Э. Нации и национализм после 1780 года. СПб. : Алетейя, 1998. 306 с.
- 10. *Хобсбаум* Э. Принцип этнической принадлежности и национализм в современной Европе // Нации и национализм / Б. Андерсон, О. Бауэр, М. Хрох и др. М., 2002. С. 332–346.
- 11. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц: Кучково поле, 2001. 288 с.
- 12. Смит Э.Д. Национализм и модернизм: Критический обзор современных теорий наций и национализма. М.: Праксис, 2004. 464 с.
- 13. *Тишков В.А.* Российский народ: история и смысл национального самосознания. М.: Наука, 2013. 649 с.
- 14. *Миллер А.И*. Модерные империи: проблемы классификации, механизмы консолидации и распада // Политическая наука. 2013. № 3. С. 30–42.
 - 15. Тишков В.А. Российский народ. М.: Просвещение, 2010. 191 с.
- 16. *Наследие* империй и будущее России / под ред. А.И. Миллера. М.: Фонд «Либеральная миссия»: Новое литературное обозрение, 2008. 528 с.

Vasiliy V. Shishkov, Law and National Security Institute of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russian Federation).

E-mail: fh55@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 163–172.

DOI: 10.17223/1998863X/48/16

EMPIRE IN THE REPRESENTATION OF THE THEORY OF NATION AND NATIONALISM

Keywords: empire; nation; nationalism; imperial center; periphery.

The article analyzes the approaches to the definition of empire developed in the framework of the theory of nation and nationalism, and their correlation with the theoretical and methodological foundations of understanding the phenomenon of empire in modern political science. The empire and the nation became the main actors in the policies of the modern era, but their interrelationships rarely became the subject of a special study. It is possible to talk about the problematic nature of the "imperial center" as a concept arising in the course of research on imperial topics. In the modern political scientific literature, when analyzing the development of imperial statehood, the center-peripheral approach prevails considering this type of state from the standpoint of functional analysis. The center-peripheral approach focuses on the heterogeneity of the imperial space, the complexity of the governance of the empire, the importance of the imperial bureaucracy, the forms and methods of administration and control in relation to the imperial periphery. Modern research increasingly separates this concept from other terms with which the designation of the imperial power concentration is connected. The empire and the center become abstractions that have lost their institutional value and practical expression. In this connection, the reflection of the imperial problems in the studies of the leading representatives of the theory of nation and nationalism, mainly conducting research in the framework of the constructivist approach, was analyzed. When considering the Russian Empire, it is noted that for Russian researchers, who, as a rule, adhere to the constructivist approach, the conclusion about the inauthentic nature of "official nationalism" in the case of the Russian Eempire is not confirmed. Research argumentation is based on the analysis of the socio-political thought, imperial politics, features of colonial expansion and other factors. According to the results of the study, it was concluded that the opposition of empire and nation does not have sufficient grounds. In the era of modernization, the development of these political forms was largely parallel. It is possible to speak about imperial nationalism as a special form of ideology and political movement opposed to ethnic nationalism. Imperial policy is largely associated with ensuring the exceptional political status, the developing national core in the metropolis of the empire. In terms of methodology, the analysis carried out makes it possible to better distinguish an empire from other types of states with a complex national-ethnic composition.

References

1. Gerasimov, I., Mogilner, M. & Semenov, A. (eds) (2010) *Mify i zabluzhdeniya v izuchenii imperii i natsionalizma* [Myths and errors in the study of empire and nationalism]. Moscow: Novoe izdatel'stvo.

172 *В.В. Шишков*

- 2. Calhoun, J.C. (2006) *Natsionalizm* [Nationalism]. Translated from English by A. Smirnov. Moscow: Territoriya budushchego.
- 3. Kaspe, S.I. (2008) *Tsentry i ierarkhii: prostranstvennye metafory vlasti i zapadnaya politi-cheskaya forma* [Centers and hierarchies: spatial metaphors of power and western political form]. Moscow: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovaniy.
- 4. Podvintsev, O.B. (2007) O sootnoshenii ponyatiy "metropoliya", "imperskiy tsentr", "istoricheskoe yadro imperii" [On the relationship between the concepts of "metropolis", "imperial center", "historical core of the empire"]. In: Chubaryan, A.O. (ed.) *Imperskie i natsional'nye modeli upravleniya: rossiyskiy i evropeyskiy opyt* [Imperial and National Management Models: the Russian and European Experience]. Moscow: RAS. pp. 5–11.
 - 5. Hardt, M. & Negri, A. (2004) Imperiya [Empire]. Translated from English. Moscow: Praksis.
- 6. Motyl, A. (2004) *Puti imperiy. Upadok, krakh i vozrozhdenie imperskikh gosudarstv* [Ways of empires. Decline, collapse and revival of imperial states]. Moscow: Moskovskaya shkola politicheskikh issledovaniy.
- 7. Gellner, E. (1991) *Natsii i natsionalizm* [Nations and Nationalism]. Translated from German by M.S. Panin. Moscow: Progress.
- 8. Gellner, E. (2002) Prishestvie natsionalizma. Mify natsii i klassa [The Coming of Nationalism. Myths of the Nation and Class]. In: Anderson, B., Bauer, O., Khrokh, M. et al. *Natsii i natsionalizm* [Mapping the Nation]. Translated from English and German. Moscow: Praksis. pp. 146–200.
- 9. Hobsbaum, E. (1998) *Natsii i natsionalizm posle 1780 goda* [Nation and nationalism after 1780]. Translated from English by A.A. Vasilieva. St. Petersburg: Aleteyya.
- 10. Hobsbaum, E. (2002) Printsip etnicheskoy prinadlezhnosti i natsionalizm v sovremennoy Evrope [Principle of Ethnicity and Nationalism in Modern Europe]. In: Anderson, B., Bauer, O., Khrokh, M. et al. *Natsii i natsionalizm* [Mapping the Nation]. Translated from English and German. Moscow: Praksis. pp. 332–346.
- 11. Anderson, B. (2002) *Voobrazhaemye soobshchestva. Razmyshleniya ob istokakh i rasprostranenii natsionalizma* [Imagined Communities Reflections on the Origin and Spread of Nationalism]. Translated from |English by V. Nikolaev. Moscow: KANON-press-Ts: Kuchkovo pole.
- 12. Smith, E.D. (2004) *Natsionalizm i modernizm: Kriticheskiy obzor sovremennykh teoriy natsiy i natsionalizma* [Nationalism and modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nations and Nationalism]. Translated from English. Moscow: Praksis.
- 13. Tishkov, V.A. (2013) Rossiyskiy narod: istoriya i smysl natsional'nogo samosoznaniya [Russian people: history and meaning of national identity]. Moscow: Nauka.
- 14. Miller, A.I. (2013) Modernye imperii: problemy klassifikatsii, mekhanizmy konsolidatsii i raspada [Modern empires: problems of classification, mechanisms of consolidation and disintegration]. *Politicheskaya nauka Political science.* 3. pp. 30–42.
 - 15. Tishkov, V.A. (2010) Rossiyskiy narod [Russian people]. Moscow: Prosveshchenie.
- 16. Miller, A.I. (ed.) (2008) *Nasledie imperiy i budushchee Rossii* [The Legacy of Empires and the Future of Russia]. Moscow: NLO.

PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL WORKSHOP "SEMANTICS AND LOGIC OF LEGAL LANGUAGE", APRIL 2018, FACULTY OF PHILOSOPHY, TOMSK STATE UNIVERSITY

УДК 340.124

DOI: 10.17223/1998863X/48/17

M.V. Antonov¹

TRUTH IN JUDICIAL INTERPRETATION FROM POSITIVIST AND NON-POSITIVIST PERSPECTIVES²

Lawyers work with statements about verisimilitude of factual statements, while trustworthiness of these statements is evaluated against the backdrop of coherence of factual descriptions. A correct conclusion in law means a consistent reconstruction of normative meanings in the way that fits best the normative system and that allows to cogently subsume factual state of affair under the established normative meaning.

Keywords: judicial interpretation, truth in interpretation, truth-value, validity, legal norms, Hans Kelsen, legal process, Ronald Dworkin.

Introduction

Intuitively, lay people bringing lawsuits to courts or defending themselves there from such lawsuits normally expect the courts to ascertain all the details of their cases before passing a decision. Lawyers know that this picture is incorrect, as courts in adversarial procedural systems are limited with what parties and their representatives brought before the courts as their arguments and evidence. Also, many procedural tools, such as burden of proof, are at the disposal of judges to ascertain legal facts that never correlate with reality. Nonetheless, the main procedural strategy is usually to bring evidence before the court and to ascertain the facts that are relevant for one's case at the court, and among the main tasks of judges is to evaluate the "truth-value" of this evidence and its correlation with the respective facts. This aspect demonstrates that the issue of truth in the court process is far from be-

¹ (рус.) М.В. Антонов. Истина в судебном толковании с точки зрения позитивизма и непозитивизма.

Аннотация. Те утверждения о фактах, с которыми работают юристы, имеют только вероятностное значение. Истинность таких утверждений оценивается с точки зрения последовательности описания фактов. Правильный вывод в праве означает непротиворечивую реконструкцию нормативных значений так, чтобы она наиболее полно соответствовала нормативной системе и позволяла провести правдоподобную субсумцию фактического состояния дел под выявленное нормативное значение.

Ключевые слова: судебное толкование, истина в толковании, истинностное значение, действительность, правовые нормы, Ганс Кельзен, юридический процесс, Рональд Дворкин.

² The present research has been conducted thanks to financial support from a grant from the National Research University Higher School of Economics, St. Petersburg, Grant No. 18–IP–01.

174 M.V. Antonov

ing simple. Also, judges have to reveal the "true" meanings of legal texts and to apply them to the cases. Here, judges have no reference points for establishing the "truth-value" of the meanings they reveal as the imaginary "authors" of legal texts (sovereign people, parliament, etc.) in fact do not create the meanings which are attributed to these texts only a posteriori, in legal interpretation. This normative situation can prompt to the conclusion that judges have unbridled power to interpret the laws as they please. However, this conclusion is counterintuitive: in each legal order courts develop more or less coherent and sensible interpretative practices that make out of the law a predictable regulatory machinery. This would be impossible unless judges did not correlate their interpretative acts with certain criteria of "truth" and unless the high courts did not overturn the decisions that do not correlate with such criteria. These two aspects – ascertainment of facts and precisification of legal meanings – are focal points in legal philosophy for the problem of correctness/truth in judicial interpretation. These aspects will be addressed in the present paper with reference to the two major philosophical traditions in the law: positivism and non-positivism, and, namely, to the two most influential conceptions that characterize these respective traditions: Hans Kelsen's pure theory of law and Ronald Dworkin's interpretative theory of law.

1. Indeterminacy of truth about facts and meanings

The concept of truth in legal parlance has a specific and limited meaning as judges and other legal actors usually do not pretend to discover any objective facts or properties that pertain to the contentious situations they deal with. Many legal orders set out deadlines for considering cases and impose procedural limits on independent collection of evidence by judges which impede judges from getting fully ascertained about facts. At the same time, the best standards of legal process usually include the idea of "correctness" or "truth", even if this idea remains rather blurred and does not necessarily suppose that court decisions are made with the certainty of logical operations. What is more, the judge has to decide the case even if there are not enough facts and evidence: it is to say, to decide knowing that her decision will unlikely be true about the facts of the case, e.g., deciding according to the rule of burden of proof against the party which failed to support her case with due evidence; one can draw here also on the example of presumptions and fictions in law [1. P. 168–184].

Fact-finding in adversarial legal process normally implies a competition between different assertions about facts. Participants to a legal dispute support these assertions with evidence before the court, seeking to persuade judges who only have to choose between these assertions. Therefore, truth in finding facts is relative to what participants argue basing on what is known to them and what they want to disclose before the court, as well relative to how they manage to prove the facts and how the judge evaluates their evidence [2. P. 164–214]. This inevitably brings a drop of subjectivity in fact-finding and evaluation of facts; this may mean that, after all, courts are inadequate forums for the search of truth, so that administering justice has to do only with plausibility and not with truth. As one prominent English lawyer voiced it: "This is not the business of a court of justice to discover the

¹ For the purposes of the present paper these concepts ("correctness" and "truth") will be used as interchangeable, although they have quite different meanings in other aspects.

truth. Its real business is to pronounce upon the justice of particular claims, and incidentally to test the truth of the assertions of fact made in support of the claim in law, provided that those assertions are relevant in law to the establishment of the desired conclusion; and this is by no means the same thing" [3. P. 275].

This suggests that there is no authority in legal process that checks and ensures that fact-statements correspond to facts themselves. Sometimes judges even have to discard certain fact-statements based on ascertained facts, if this ascertainment took place with procedural violations (e.g., pleading guilty under intimidations or collecting evidence without witnesses). Legal process in many civil-law countries is based on the assumption that it is the right of each participant to choose how to argue her case before the court and that there is no obligation for participants to tell the truth to the court¹. Accordingly, fact-finding in legal process is not about finding factual truths: the best cognitive standards of judicial fact-finding in the Western jurisdictions are to establish the facts "beyond reasonable doubt" or to strike the best possible "balance of probabilities", which by far does not imply finding out what happened indeed. From this vantage point, it seems that lawyers² do not deal with factual truths in their legal universe and frequently they have to prefer "formal truth" to "substantial truth" [4. P. 497-511]. In this sense, Hans Kelsen argued that "In case a fact is disputed, the judicial decision which determines that the fact has occurred... 'creates' legally the fact and consequently constitutes the applicability of the general rule of law referring to the fact. In the sphere of law the fact 'exists', even if in the sphere of nature the fact has not occurred" [5. P. 218].

Along with establishing relevant facts, judicial process also implies determining "true" meanings of legal rules - this intellectual process is dubbed as "legal interpretation" or, respectively, "judicial interpretation", if such determination is confined to judges. Quite frequently people disagree about meanings of words and phrases, especially in contentious situations in which their interests are at stake. It does not come as a surprise that such disagreements are common at courts, where people usually seek to convince the judge that the words have the meanings that play in their favor. This strategy is at work not only when the issue is about terms of contracts and covenants, but also when there is more than one meaning in the words of constitutions or statutory laws or, in other terms, when the law speaks with multiple voices. The Roman maxima says that jura novit curia, but in fact it happens that court decisions are overturned by higher court instances because of incorrect interpretation of legal norms. Undisputedly, judges can err when finding "appropriate" or "true" meanings of legal rules, and that is the main function of higher courts to check appropriateness of legal interpretation and, eventually, factfinding by lower courts. One possible implication of this is that some of interpretation acts are correct and some are not, which, in other terms, can suggest that there are true and false interpretations.

Legal interpretation in the civil-law countries 3 generally implies that there are general prescriptions (norms) which embody the purported will of the legislator, be it parliament, people, king or other subjects to whom the regulatory legal will is

¹ Unlike witnesses or experts, litigants do not swear before the court to tell the truth.

² For the purposes of this paper terms "lawyers", "judges", and "adjudicators" are utilized as interchangeable (as most conclusions concerning judicial interpretation are valid for legal interpretation, and *vice versa*), without suggesting the equivalence of these terms in other respects.

³ There are also legal systems of common law, traditional or religious law, customary law, in which interpretation can work somewhat differently – they will not be examined here.

176 M.V. Antonov

attributed (ascribed, imputed). As Joseph Raz puts it, "the notion of legislation imports the idea of entrusting power over the law into the hands of a person or an institution, and this imports entrusting voluntary control over the development of the law, or an aspect of it, into the hands of the legislator" [6. P. 266]. However, a major problem with the identity of legislator is that it is impossible to establish its empirical will, so that in fact a certain will is rather ascribed to the legislator ("what the parliament wanted to achieve by this statute...", "what the king intended...", etc.) by the judge or by another interpreter. After this ascription, judges consider factual situations, define their legally relevant properties, choose among the applicable legal norms the one that fits best to the situation, subsume this situation under this norm, and infer normative consequences for this situation. One can ask whether and under which conditions such interpretative decisions (acts of interpretation) are correct. That is exactly where legal scholars face the issue of truth in judicial interpretation.

Here, the main cognitive limitation is that judgments in the law are always hypothetical: e.g., decisions made by the judge are valid under the condition that this judge was appointed pursuant to the appropriate law, this law is valid if it was passed according to the constitutional procedure, the constitution is valid if..., and so on up to Hans Kelsen's "basic norm", H.L.A. Hart's "rule or recognition", or any other supreme criterion of validity. This chain of "ifs" finally leads to a presupposition of validity (binding force) of law which cannot be ascertained with certitude. Therefore, legal judgments are true / correct only provided (or rather supposed) that the starting presupposition is accepted to be true. But it is impossible to empirically or logically establish the true character of such presuppositions: they can be an object of belief, moral certitude, or epistemic revelation which does not confer on them any truth-value properly speaking [7. P. 143–168]. Here, the Aristotelian "to say of what is that it is, or of what is not that it is not, is true" [8. P. 201] does not work out.

2. Truth-value of legal propositions

"When I use a word," Humpty Dumpty said, in a rather scornful tone, "it means just what I choose it to mean – nothing more nor less." "The question is," said Alice, "whether you can make words mean so many different things."

- Lewis Carroll, Through the Looking Glass.

This dialogue could eventually have taken place between a judge and a litigant. If, as it follows from the aforesaid, judges make only hypothetical judgments with no truth-value, does it mean that judges are free to select any meaning whatsoever when interpreting statutes? This idea is reiterated by legal realists but it sounds somewhat counterintuitive. At face value, lawyers usually have no doubt that their legal system is, at least to a certain extent, based on the common interpretation of law, even if this unity is epistemologically never guaranteed. In terms of Jerzy Wroblewski [9. P. 239–255], the appearing coherence of terminology in legal language can stem either from the doctrinal interpretation (what legal scholars say about the law) or from the operative interpretation (how adjudicators apply the law in solving concrete cases). If similar acts of doctrinal and operative interpretation repeat consistently over the time, this can suggest that such interpretations are well established and that, consequently, all other interpretations that are derived from them are true / correct, whilst interpretations with adverse content are false. Albeit, these factors are contingent and there can always be legal controversies arising

from different interpretations that lawyers give to the same legal texts. These discrepancies are due not only to the fussiness of legal language. It is widely recognized that legal interpretation does not take into account only literal meaning of the texts (even the most rigorous formalists agree that literal meaning can be overruled in certain situations), but also considers values and changing social conditions which can easily collide with each other and lead to contradictory judgments [10].

This leads to one of the central problems of legal philosophy: that of indeterminacy of norm-application and interpretation¹. For lawyers this indeterminacy may signify that (a) it is impossible to determine in advance whether certain facts can be subsumed under a norm, (b) there can be syntactical fussiness in the formulation of a norm, (c) it can be unclear whether a norm is valid or not, (d) there can be inconsistencies in legal system so that apparently some norms contradict each other, (e) subsumption of the facts under a legal norm can lead to unreasonable and unjust results [11, P. 19 ff]. Evidently, some of these indeterminacies pertain to fact-finding and some concern the determination of meanings of legal texts. This indeterminacy of legal language led some legal realists to the conclusion that legal philosophy had better get rid of any conception of truth/correctness in law and in interpretation. The law is what judges say the law is, as realists argue, insisting that the life of law has not been logic but experience. Nonetheless, this critical assault on objectivity in legal reasoning was basically not, as Hart rightly demonstrated, an assault on logic and truth but rather on something else, primarily on the principle of literalist interpretation [12. P. 132–137].

Legal interpretation involves another major problem: that of two logical dimensions in factual statements and in normative statements. On the one hand, standard notions of logical consequence and truth do not apply directly to normative sentences, because they are neither true nor false (Joergensen's dilemma), so that one (factual) part of interpretation falls in the domain of the classical logic, while another (normative) part escapes this logic as imperatives cannot be true or false, even if modal statements are capable of working as premises and consequences in logical inferences. On the other hand, even if the principle of inference and the principle of non-contradiction have no application to norms, lawyers inevitably evoke the "true/correct" vs "untrue/incorrect" properties when speaking about judicial interpretation, and make (quasi-)logical inferences from norms. In this legal parlance, a valid deductive argument is one in which the "truth" of the premises (a general legal norm plus facts) results in the "truth" of the conclusion (an individual legal norm created by a court decision). As Neil Maccormick puts it, "'Rule plus facts yields conclusion' is the essential truth in law" [13. P. X].

From this vantage point, lawyers prefer to consider legal propositions as having truth-value due to a set of commonplace reasons. Whatever cognitive limits lawyers may theoretically face, they all (or almost all) recognize that there are logically incompatible legal norms between which judges shall make a logical choice. Judges also usually make inferences from general statements on particular facts and commonly utilize logical or, as some might argue, quasi-logical terms in legal reasoning: treating conflicting norms as a contradiction or making judgments in the way of logical consequence from operative facts to normative consequences.

¹ Here these terms will be used as interchangeable in the sense specified by Hans Kelsen: every application of the law is at the same time interpretation of the law, although in other respects these notions may have different meanings.

178 M.V. Antonov

Eugenio Bulygin wisely insists that "If there were no logical relations between legal norms and if the derivation of an individual norm from a general norm were impossible, then general norms would be meaningless and the issuance of general norms – legislation – a meaningless undertaking" [14. P. 71].

There is a plethora of theories of legal interpretation, most of which accept there being a kind of "truth" or "correctness" in law (be it moral, logical, pragmatic, or other), but disagree about what is its nature and how to establish this "truth". Legal scholars generally recognize that interpretation in the law implies at the same time cognitive (adjudicators choose and apply legal texts for justification of their decisions, somehow grasping the meanings of these texts) and volitive (judges express their will as to how distribute the contested rights and obligations, somehow justifying their volition with reference to legal texts) aspects.

Since centuries, this "somehow" used to be subject to intense debates in legal philosophy. Realist legal scholars focus on this latter volitive perspective and argue that judges may take any decision and attach any justification to it: justification comes only afterwards and cannot be effectively checked as there is no necessary connection between decisions, legal rules and facts: "truth" is what the supreme court says is true. Another extremity is legal formalism which focuses on the cognitive aspect and implies that legal texts *ab initio* contain meanings which were invested into these texts by lawmakers and can be extracted with the help of a set of dogmatic methods [15]. On this formalist view, deductive justification from predetermined premises is the normal mode of interpretation, so that judges have only to abide by the laws and be, according to the famous phrase of Montesquieu, "the mount that pronounces the words of the law".

The contemporary legal philosophy oscillates between these two extremities of realism and formalism, paying attention to both these basic dimensions of truth / correctness in interpretation: consistency and coherence [13. P. 103–108]. Correspondingly, coherence implies that an interpretative act makes sense in the legal system if this act fits the framework of previous interpretations, the prevailing legal practice and scholarship, the canons of legal technique and legal reasoning, and fits other major rationales of the legal system. In its turn, consistency means that an interpretative act does not bring contradictions into the legal system or, in other words, that this act does not result in making two legal norms contradict each other and that there is a reasonable link between the individual legal norm created by the judge and the general legal norm she refers to in order to justify her decision. These are two relative criteria of truth / correctness of legal interpretation, although their exact conceptualization incites substantial disagreements among legal philosophers. To illustrate these disagreements, I will shortly examine two key conceptions which are in-between in these philosophical debates and which are representative for the positivist and non-positivist approaches to law1: the conceptions of Hans Kelsen and of Ronald Dworkin.

3. Kelsen and the positivist approach to truth in law

To understand Kelsen's point about truth in law, it is necessary to consider that for him legal norms are but artificial constructs of legal thinking: "Legal science as cognition of the law is, as all cognition is, constitutive in character, 'creating' its

¹ The difference between them can be drawn according to the social sources thesis and the separation thesis [6].

object in so far as it comprehends the object as a meaningful whole" [16. P. 72]. In other words, lawyers create legal norms which are meanings established by lawyers on the basis of legal texts, so that norms do not exist prior to interpretations. This Kantian filter (in terms of Stanley L. Paulson) means that legal scholars and practitioners create the law rather than cognize it. Thus, there can be no legal norms before the competent legal organ (judge or else) pronounces about the distribution of rights and obligations. It means that there is no criterion for assessing truth-value of judicial interpretations, as their correctness cannot be checked against the backdrop of legal norms, these latter being created simultaneously with interpretations. In other words, whatever is declared by the competent adjudicator duly empowered in the given legal system will be deemed correct and legally valid.

The purity of legal science mandates that no exterior judgments (based on political, moral or other reasons) against this authoritative declaration are admissible within the province of the law, and that even a flagrant logical inconsistency of judicial decisions does not mean any defect in their "legal trustworthiness". As Kelsen argued in 1934, results of interpretation "can only be the discovery of the frame that the norm to be interpreted represents and, within this frame, the cognition of several possibilities for implementation. Interpreting a statute then leads not necessarily to a single decision as the only correct decision but possibly to several decisions, all of them of equal standing measured solely against the norm to be applied, even if only a single one of them becomes, in the act of the judicial decision, positive law . . . There is no criterion on the basis of which one of the possibilities given within the frame of the norm to be applied could be favored over the other possibilities. In terms of positive law, there is simply no method according to which only one of the several readings of a norm could be distinguished as correct" [17, P. 129–130].

Despite the seeming simplicity of this categorical approach, Kelsen's conception of truth in legal interpretation is more nuanced and difficult. The Austrian philosopher had anyways to tackle the problem of collision of legal norms and to consider the question about veracity of legal judgments in order to escape the traps of legal realism and of non-cognitivism. Kelsen's initial approach in his first books (until the mid-1930s) turned on an appeal to the principle of non-contradiction, whereby one of the conflicting legal norms (or its interpretation) shall be rendered invalid if it is logically incompatible with a higher norm. Therefore, the correctness of judicial interpretation can be assessed from the standpoint of the logical laws (the excluded middle, etc.): the judgment that corresponds to the highest legal norm involved in the given case will be legally correct. Also Kelsen meant that there can be true and untrue interpretation acts depending on which is the closest to its textual meaning, adopted later in time (the *lex posteriori* principle), and so on.

In the 1940s, Kelsen came to the conclusion that direct application of truth-values to legal norms is impossible because of Joergensen's dilemma which precludes a direct application of the laws of logic in legal interpretation [18. P. 44–70]. To solve this problem, Kelsen proposed to distinguish between legal norms as acts of will ("meanings") invested into legal texts, and legal propositions which are legal texts themselves. These latter describe legal norms and have a truth-value

¹ The German term "Rechtssatz" has been translated by the first English translators as "rule of law", but, as Stanley L. Paulson persuasively shows, this term can be better expressed in English as "legal proposition" [19. P. 860].

180 M.V. Antonov

character, while the former have a normative character. With this, in legal interpretation one can apply logic and confer truth-value on legal propositions and on conclusions inferred from these propositions, while legal norms remain impenetrable to truth-judgments, so that two conflicting legal norms are simply "two forces operating in opposing directions on the same point" [20. P. 235]. Gradually, Kelsen came to the recognition of applicability of logical consequences also to the conflict of norms: "The logic that the Pure Theory of Law first discovered, so to speak, is a general logic of norms, that is, a logic of the 'ought' or of 'ought'-propositions, a logic of cognition that is directed to norms and not to natural reality" [21. P. 149–150]. In the second edition of *Pure Theory of Law* (1960), he explicitly recognized that "two legal norms are contradictory and therefore cannot be claimed to be simultaneously valid if the two legal propositions describing them are contradictory" [16. P. 74].

However, in the last phase of his work, Kelsen arrived at the conclusion that legal interpretation can have no truth-value as legal norms (both individual and general) do not necessarily coincide with the descriptive legal propositions. Norms are merely products of will. This will can be imputed to the basic norm (Grund*norm*), but such an imputation is fictitious insofar as the basic norm itself is a fiction. This Grundnorm is an act of will that has never taken place, is a counterfactual claim: "The basic norm is not a positive norm, but a merely thought norm, that is, a fictitious norm, the meaning of a merely fictitious, not a real, act of will. As such, it is, in the sense of Vaihinger's philosophy of as-if, a genuine or 'proper' fiction, which is characterized not only as contradicting reality but also as being self-contradictory" [22. P. 256]. The acts of will imputed to legal organs have to be treated as if they could be understood normatively, not empirically, but this normative understanding / interpretation has no truth-value, because it is a priori untrue, likewise all other legal propositions and statements which are normatively derived from the Grundnorm. In the final count, it means that every judicial interpretation is only conditionally "true" until it is overruled by another act of interpretation by a hierarchically higher organ [23]. This leads to a pure decisionism, against which Kelsen once fiercely fought in his debates with Karl Schmitt [24]. Quite a few attempts have been undertaken by legal positivists (such as Herbert Hart or Joseph Raz) to solve this Kelsenian problem of truth in legal interpretation, but any satisfactory solution is far from being evident [25].

4. Dworkin and the non-positivist approach to truth in law

Non-positivists tried to find solutions to this problem from another methodological perspective which implies addressing ideal criteria of correctness. According to the famous thesis of Gustav Radbruch, there is a degree of injustice that invalidates formally correct judgments and inferences from legal norms, making them false from the standpoint of legal interpretation (e.g., a judgment "A is obligatory and therefore B is obligated to make C" can be held false if A commands something overtly unjust). Radbruch's famous formula mandates that "Where justice is not even strived for, where equality, which is the core of justice, is renounced in the process of legislation, there a statute is not just 'erroneous law', in fact is not of legal nature at all. That is because law, also positive law, cannot be defined otherwise as a rule, that is precisely intended to serve justice" [26. P. 1–11].

How can such a flagrant degree of injustice be established in legal interpretation? Positivists would say that this degree is the matter of moral consciousness which makes this and similar conceptions vulnerable to the centuries-old criticism against the natural-law doctrines [27]. Unless a system of absolute morality is presupposed (this presupposition inevitably will be debatable because of the multitude of moral systems and their formal parity), the subjectivity of moral emotions prevents lawyers from ascribing any truth-value to propositions about justice. If presupposed, this ideal interpretative system would exist parallelly to the legal system and would turn into one of the versions of the notorious dualism of "posited law" and "correct law" that characterizes most of the natural-law doctrines. In the second half of the XX century, a number of non-positivist legal scholars tried solve this problem by singling out certain principles which, albeit not having absolute character, are the indispensable prerequisite to legal interpretation and reasoning.

Thus, Robert Alexy undertook a remarkable attempt to circumvent the problem of subjectivity of legal judgments with the help of "claim to correctness" which is intended to be the objective criterion of truth in legal interpretation: a judgment is true/correct if it is inferred from a legal norm that is compatible with the fundamental legal principles. A claim to correctness is imbedded to any charitable interpretation of legal norms that links these norms to the fundamental principles. Unless such a claim is seriously asserted by the interpreter, any act of interpretation would fail to have truth-value. and it is this claim that can work out as a criterion of truth / correctness of the corresponding judgment [28]. Although, it still remains to be proved that Alexy's theoretical construction of "claim to correctness" really brings the non-positivism out of the impasse of subjective evaluations [29. P. 61–114].

The most consecutive non-positivist system of ideas to overcome the subjectivity of moral judgments in the law was elaborated by Ronald Dworkin in his famous "one-right-answer" theory. Dworkin sought to reformulate the question of truth in judicial interpretation and criticizes the conventional approach according to which "everyone thinks that propositions of law are true or false (or neither) in virtue of other, more familiar kinds of propositions on which these propositions of law are (as we might put it) parasitic" [30. P. 4]. On the contrary, Dworkin believes that finding truth requires an interpretive reasoning based on both facts and moral principles inherent to the interpreted propositions of law themselves. He argues that lawyers and judges should try to identify general principles that underlie and justify the settled law, which opens up the way to interpreting this law in the best possible light [Ibid. P. 230]. These principles allow for making inferences from institutional and other social facts to legal rights and duties, and therefore they are not merely subjective. This methodological model opens up the way for assessing truth in legal interpretation: "According to law as integrity, propositions of law are true if they figure in or follow from the principles of justice, fairness, and procedural due process that provide the best constructive interpretation of the community's legal practice" [Ibid. P. 225].

This image of law as integrity leads Dworkin to his binary thesis, pursuant to which "in every case either the positive claim, that the case falls under a dispositive concept, or the opposite claim, that it does not, must be true even when it is controversial which is true" [31. P. 119–120]. This thesis serves as the foundation for the

182 M.V. Antonov

conclusory claims about rights and duties – truth-value of these claims is analyzed by Dworkin in the perspective of his assertion that there is a unique, right answer to each legal problem, not limited to the laws of logic. This answer is based on "the community's structure of institutions and decisions –its public standards as a whole – in a better light from the standpoint of political morality" [30. P. 256]. Such one-right-answer thesis assumes that in every contentious situation there can be only one charitable judicial interpretation that provides the "best fit" with respect to both the legal and moral facts involved in the interpretative reasoning of the judge.

However, the question looms large about how judges can define this "fit", provided that human beings have incomplete knowledge of facts and may err in their understanding of moral principles. Dworkin agrees that no mortal judge can unmistakably fulfill all demands of integrity, but argues that this is nonetheless possible theoretically. To illustrate this possibility, he introduces the ideal figure of Hercules, "the imaginary judge of superhuman intellectual power and patience who accepts law as integrity" [Ibid. P. 239]. Hercules knows that the law is built upon a coherent set of principles about justice and fairness and that law as integrity requires him to satisfy these principles in each particular case. Every judge may try to imitate Hercules in a limited way (given their real human conditions), looking for the proper interpretive fit in every considered case. However, "the community's legal practice" evoked by Dworkin is not a social fact like Hart's secondary rules, so that the "best fit" can be sought and found despite the opinions that prevail in a legal community. Dworkin makes it explicit that "a proposition of law might rationally be supposed to be true even if lawyers continue to disagree about the proposition after all the hard facts are known or stipulated. It might be true in virtue of a moral fact which is not known or stipulated" [31. P. 138].

This short presentation of Dworkin's ideas allows to conclude that the "best fit" as a criterion of truth in legal interpretation is nothing but an ideal speech situation (like in Alexy's or Habermas' theories) in which all forms of domination and influence are theoretically put aside to arrive to a sort of a solution whose correctness is presupposed but cannot be categorically ascertained because of multiple moral narratives and insufficient knowledge of facts. At best, an act of interpretation can be held correct/true relatively to the concrete moral or political framework of a given situation, which implies that the interpretative truth can be found only in particular situations (what is illustrated by Dworkin by his reference to the *Riggs vs Palmer* and other cases). As Brian Leiter correctly remarks, "there can only be a single right answer as a matter of law if there is a single right answer to the question of political morality" [32. P. 66]. That is why, "to talk about 'objective' rightness and wrongness is to talk about metaphysical or ontological issues, about what properties the world contains quite apart from what we happen to know about them" [32. P. 69].

With all other important differences being put aside, this conclusion sounds quite like that proposed by Kelsen: the veracity of an act of interpretation is evaluated against the backdrop of an ideal situation (presupposition of the basic norm or modeling the ideal judge) and is justified through unwrapping of general legal norms and principles in concrete situations, in which individual normative prescriptions are framed relatively to the facts of these situations. In Dworkin's terms, this presupposition cannot have truth-value and is only the matter of belief [33].

From this standpoint, the beliefs we retain and can claim are "objectively true" are those which we have good reason for believing, and which we choose for constructing our axiomatic systems [34].

Conclusion

This short presentation intends to underscore the variability of possible conceptualizations of truth/correctness in judicial interpretation. These conceptualizations do not correspond to the standard notion of truth, as the normative component in judicial interpretation cannot be described in the legal language in terms "false" and "true". Interpretation in law deals with both normative and factual dimensions, being limited by the procedural frameworks imposed on judges (and virtually also on other lawyers) by the legal system [35]. Because of these frameworks, judges do not establish ultimate truths about facts – they work with statements about verisimilitude of factual statements conferring onto them validity, while trustworthiness of these statements is evaluated by judges against the backdrop of the coherence of narratives describing the facts and the evidence supporting these facts.

Along with legal facts, judges interpret legal norms. Plausibility of this interpretation hinges on a coherent and consistent description of the normative system. A correct / true interpretation is the one which reconstructs the meaning of the legal norm in the way that fits best the normative system and does not bring inconsistency or incoherence into it, while the normative system can be conceived of either as consisting only of legal norms and propositions (Kelsen) or also inclusive of principles and policies (Dworkin). This normative reconstruction can be formulated either relatively to an abstract situation (dogmatic interpretation) or to concrete facts of a case (operative interpretation). Within the latter, norms are concretized and reinterpreted by judges as to the circumstances of the case, so that the correctness of this interpretation can be checked by superior instances (if such are available²) which would reconsider the case. This procedural verification indicates the prevailing criterion correctness in judicial interpretation.

References

- 1. Varga, C. & Szajer, J. (1988) Presumption and Fiction: Means of Legal Technique. *Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie*. 74(2). pp. 168–184.
- 2. Siegel, A.J. (2000) Setting Limits on Judicial Scientific, Technical, and Other Specialized Fact-Finding in the New Millennium. *Cornell Law Review.* 86. pp. 167–214.
 - 3. Pollock, F. (1922) Essays in the Law. Oxford: Oxford University Press.
- 4. Summers, R.S. (1999) Formal Legal Truth and Substantive Truth in Judicial Fact-Finding Their Justified Divergence in Some Particular Cases. *Law and Philosophy*. 18. pp. 497–511. DOI: 10.1023/A:1006327205902
- Kelsen, H. (1994) Sovereign Equality of States. Yale Law Journal. 53. pp. 207–220. DOI: 10.1177/002088176600800401
 - 6. Raz, J. (1979) The Authority of Law: Essays on Law and Morality. Oxford: Clarendon Press.

¹ Surely, being transposed into other epistemic system, the judicial decisions, interpretations and reasoning can be eventually described in these terms. But this possible transposition is not a subject of the present paper.

²It might be that an act of judicial interpretation cannot be checked and has to be considered to be correct/true from the standpoint of the legal system. Here, one can draw on the example of constitutional interpretation. Thus, every interpretation (even with evident logical flaws) the RF Constitutional Court gives to the RF Constitution or to the federal law is true in the sense that the meanings discovered by the Court are binding on all other legal actors of Russian legal system.

184 M.V. Antonov

- 7. Bindreiter, U. (2001) Presupposing the Basic Norm. *Ratio Juris*. 14(2). pp. 143–168. DOI: 10.1111/1467-9337.00176
 - 8. Aristotle (1933) The Metaphysics. Harvard: Harvard University Press.
- Wroblewski, J. (1985) Legal Language and Interpretation. Law and Philosophy. 4(2). pp. 239– 255.
- 10. Haack, S. (2008) Of Truth, in Science and in Law. Brooklyn Law Review. 73(2). pp. 985-1008.
 - 11. Endicott, T. (2000) Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press.
 - 12. Hart, H.L.A. (1994) The Concept of Law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
- 13. Maccormick, N. (1994) Legal Reasoning and Legal Theory. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press.
 - 14. Bulygin, E. (2015) Essays in Legal Philosophy. Oxford: Oxford University Press.
 - 15. Pound, R. (1908) Mechanical Jurisprudence. Columbia Law Review. 8(8). pp. 605-662.
 - 16. Kelsen, H. (1967) The Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.
 - 17. Kelsen, H. (1990) On the Theory of Interpretation. Legal Studies. 10. pp. 127–135.
- 18. Kelsen, H. (1941/1942) The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence. *Harvard Law Review*. 55. pp. 44–70.
- 19. Paulson, S.L. (2017) Metamorphosis in Hans Kelsen's Legal Philosophy. *Modern Law Review*. 80(5). pp. 860–894. DOI: 10.1111/1468-2230.12291
- 20. Kelsen, H. (1973) Law and Logic. In: Weinberger, O. (ed.) Essays in Legal and Moral Philosophy. Dordrecht: D. Reidel.
- 21. Kelsen, H. (1953) Was ist die Reine Rechtslehre? In: Kirchheimer, O. (ed.) *Demokratie und Rechtsstaat. Festgabe zum 60. Geburtstag von Zaccaria Giacometti.* Zurich: Polygraphischer Verlag.
 - 22. Kelsen, H. (1991) General Theory of Norms. Oxford: Clarendon Press.
- 23. Troper, M. (1981) Kelsen, la théorie de l'interprétation et la structure de l'ordre juridique. *Revue Internationale de Philosophie*. 138. pp. 518–529.
- 24. Vinx, L. (ed.) (2015) The Guardian of the Constitution: Hans Kelsen and Carl Schmitt on the Limits of Constitutional Law. Cambridge: Cambridge University Press.
- 25. Alexy, R. (2002) The Argument from Injustice: A Reply to Legal Positivism. Oxford: Clarendon Press.
- 26. Radbruch, G. (2006) Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law. *Oxford Journal of Legal Studies*. 26. pp. 1–11.
- 27. Kelsen, H. (1957) What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science. Berkeley: University of California Press.
- 28. Alexy, R. (2003) Constitutional Rights, Balancing, and Rationality. *Ratio Juris*. 16(2). pp. 131–140. DOI: 10.1111/1467-9337.00228
- 29. Grabowski, A. (2013) Juristic Concept of the Validity of Statutory Law: A Critique of Contemporary Legal Nonpositivism. Berlin: Springer.
 - 30. Dworkin, R. (1986) Law's Empire. Cambridge: Harvard University Press.
 - 31. Dworkin, R. (1985) A Matter of Principle. Cambridge: Harvard University Press.
- 32. Leiter, B. (2001) Objectivity, Morality, and Adjudication. In: Leiter B. (ed.) *Objectivity in Law and Morals*. Cambridge: Cambridge University Press. pp. 66–98.
- 33. Dworkin, R. (1996) Objectivity and Truth: You'd Better Believe It. *Philosophy and Public Affairs*. 25(2). pp. 87–139. DOI: 10.1111/j.1088-4963.1996.tb00036.x
- 34. Ogleznev, V.V. & Surovtsev, V.A. (2018) The Constitution as an Axiomatic System. *Axiomathes*. 28(2), pp. 219–232. DOI: 10.1007/s10516-017-9359-x
- 35. Ogleznev, V.V. (2014) Conceptual Analysis in Legal Philosophy: The Limits of Its Application. £XOAH (Schole). 8(2), pp. 303–311.

Mikhail V. Antonov, Saint Petersburg Branch of Higher School of Economics (Saint Petersburg, Russian Federation).

E-mail: mantonov@hse.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 173–185. DOI: 10.17223/1998863X/48/17

TRUTH IN JUDICIAL INTERPRETATION FROM POSITIVIST AND NON-POSITIVIST PERSPECTIVES

Keywords: judicial interpretation; truth in interpretation; truth-value; validity; legal norms; Hans Kelsen; legal process; Ronald Dworkin.

This paper considers possible methodological approaches to determine the correctness of judicial interpretation. In legal parlance, this correctness is usually equated with truth, although these terms reveal two different perspectives; justification of a court decision and its correlation with facts. The author analyzes fact-finding and norm-application in judicial process, pointing out procedural and cognitive factors which bring indeterminacy in the administration of justice. To circumvent this indeterminacy, a number of methodological solutions were proposed in legal philosophy. Among these solutions, the author addresses two main philosophical traditions in the law: positivism and nonpositivism. Within the range of these conceptions, the author examines how the most prominent representatives of positivism and non-positivism, Hans Kelsen and Ronald Dworkin respectively, tackled the problem of truth in judicial interpretation. In the author's opinion, the normative component in judicial interpretation cannot be described in the legal language in the terms "false" and "true". Interpretation in the law deals with both normative and factual dimensions, being limited by the procedural frameworks imposed on judges by their legal system. Because of these frameworks, judges do not establish ultimate truths about facts - they work with statements about verisimilitude of factual statements conferring validity onto them, while trustworthiness of these statements is evaluated by judges against the backdrop of the coherence of narratives describing the facts and the evidence supporting these facts. Plausibility of this interpretation hinges on a coherent and consistent description of the normative system. A true interpretation is the one which reconstructs the meaning of the legal norm in the way that fits best the normative system and does not bring inconsistency or incoherence into it, while the normative system can be conceived of either as consisting only of legal norms and propositions (Kelsen) or also inclusive of principles and policies (Dworkin).

УДК 340.124

DOI: 10.17223/1998863X/48/18

A.B. Didikin¹

FREE WILL, ACTION AND RESPONSIBILITY: PHILOSOPHICAL AND LEGAL ANALYSIS

The paper provides an analysis of the main approaches to the interpretation of volitional actions in analytical legal philosophy, in the context of legal responsibility and discussions about free will. The most famous examples of the possibility of applying the neuroscience arguments in legal philosophy, in particular when assessing the effect of a volitional act performed consciously on human behavior, are considered. The paper argues that the philosophical argumentation in Gilbert Ryle's logical behaviorism can be used as a rational approach to refute neuroscience data and interpret actions correctly, in terms of legal language.

Keywords: analytical legal philosophy, free will, actions, responsibility, neuroscience, logical behaviorism, Gilbert Ryle.

In legal philosophy, the question of the applicability of legal responsibility for an offense committed by a subject is of fundamental importance. On the one hand, a state's use of coercion is aimed to support the regime of legitimacy and encourage lawful actions. However, the justifiability and adequacy of the sanctions and punishments applicable to the subjects of the offenses remain the topic of philosophical and legal discussions. To what extent may discoveries in neuroscience affect a final conclusion supported by arguments? Is there a real need to re-evaluate the degree of "freedom" of an individual in making a rational moral and legally significant choice of behavior?

In the theory of legal responsibility, there are two traditional approaches to explaining the meaning of applying punishment to a person who has committed a crime or an offense. The first approach was called *consequentialism*, as its name suggests, the use of punishment for an offense results in the beneficial social consequences. When punishing the consequences, state intentions are aimed at preventing the illegal actions in the future and to facilitate the rehabilitation effect, which eliminates the consequences of the offense committed. The second approach, known as *retributivism*, is based on the need for adequate sanctions for the criminal act committed [1].

The offender deserves a punishment, and its application sends a clear signal to society that punishment is inevitable, and it is a basic principle of the legal system.

¹ (рус.) А. Б. Дидикин. Свобода воли, действие и ответственность: философский и правовой анализ. Аннотация. В статье представлен анализ основных подходов к интерпретации волевых действий в аналитической философии права в контексте юридической ответственности и дискуссий о свободе воли. Рассмотрены наиболее известные примеры возможности применения нейронаучных аргументов в философии права, в особенности когда влияние эффекта волевого акта представлено сознательно в поведении человека. В статье приводятся аргументы в пользу того, что философская аргументация логического бихевиоризма Гилберта Райла может быть использована как рациональный подход для корректного изучения нейронаучных данных и интерпретируемых действий.

Ключевые слова: аналитическая философия права, свобода воли, действия, ответственность, нейронаука, логический бихевиоризм, Гилберт Райл.

What are the grounds for determination and application of responsibility measures to the offender? In general, it relates to free will, that is, a conscious decision of a person to perform actions contrary to legal norms, or prescribed norms. The offender deliberately poses challenges to the community, or he can express his unlawful position publicly, while responsibility measures restore the balance between rights and obligations. However, as noted by Michael Pardo and Dennis Patterson, many proponents of neuroscience continue to argue that neurobiological data on the activities of the human brain may show the different levels of the conjunction of rational and emotional cognitive processes in a particular person [2]. The decision made correlates with brain activity or type of brain activity, which means that it is possible to predetermine human actions, considering not only a free choice that is not affected by something from the outside. Additionally, the important concepts of the theory of legal responsibility, such as *mens rea*, mental adequacy, competence and voluntariness, can be re-evaluated when empirical neuroscience data is considered.

In this case, many variations of philosophical and legal discussions are possible. On the one hand, a conceptual framework for the theory of legal responsibility can remain unchanged, even when the principle of free will is questioned in the light of neuroscience. Here, it is possible to argue that people's common perceptions of justice and retribution can act as the basis for expanding or narrowing sanctions and punishments for offenses. On the other hand, the achievements in neuroscience can significantly change the way we view reasons for committed actions, or justify a legal assessment of a person's intention to commit a wrongful act, and, therefore, the adequacy of responsibility measures applied. Overall, the question about legal responsibility often correlates with the moral, social and emotional assessment of the legal choice made.

Nevertheless, what is the purpose of legal responsibility? How can the punishment system be justified? As noted above, the most common answer to the question of the nature of responsibility is determined through application of the arguments in consequentialism that refer to prevention of the consequences of harm caused by the offense, and at the same time, which are aimed to deter others from actions and eliminate the risk of their committing an offense. Possibly, the global objective is to prevent a massive violation of existing laws. Within the framework of this concept, punishment as a responsibility measure is not an ultimate goal itself but a means of achieving the common good in the form of a reduction of the dynamics of various types of offenses. While the state and society bear obvious costs of the application of punishments.

Retributivism is based primarily on the moral arguments that justify the restoration of justice and emphasize the importance of the principle of the inevitability of punishment. For a retributivist argument, the wrongful actions of a person are the most important of all, and not the harm done or the social negative consequences caused. If a perpetrator deserves a punishment, then the punishment itself acquires intrinsic value and becomes an element of the mechanism of legal regulation, along with other general legal principles, such as the principle of "state responsibility to respect its international obligations". In retributivism, the argument focuses not on the status of the perpetrator but on the level of the punishment that is proportional to the infraction. However, in practice, the strategy of argumentation can depend equally on arguments of consequentialism and retributivism, yet

188 A.B. Didikin

in the first case, the utilitarian side of the question dominates the deontological one, and in the second case *vice versa*.

It should be noted that the question of the connection between the psychological processes, brain activity, and legal decisions is very complex and ambiguous. Understanding of how and why a particular sanction is applied for an offense does not necessarily entail the justification and necessity of the sanction itself. Primarily, the transition of empirical information about this into conceptual conclusions is important. For example, a notion that people massively consider particular types of punishments for specific offenses to be fair can act as an empirical evidence; however, in order to verify the conclusion, a hypothetical or ideal construct of applying legal responsibility is needed. Along with this, empirical data can also disprove a theory; for example, when it demonstrates that the decisions taken on responsibility are defective or incorrect, or are perceived as unfair. Therefore, there is no direct transition from a neuroscientific argument to a theoretical one because the processes of brain activity do not directly lead to conceptually valid conclusions. As J. Green notes, the interaction between the cognitive and emotional aspects of brain activity drives the decision-making process, depending on the greater or lesser activity of the areas of the human brain [3. P. 40-41]. He suggests that neurobiology and its data are more likely to support the arguments of consequentialism rather than retributivism, in particular, the arguments about the punishment justification by future beneficial effects on society. Considering that people's perception of criminal punishment is primarily emotional, and is associated with anger or proportional to it, then the question arises: what are the normative conclusions drawn from all of these above? The question is relevant because if the majority of the citizens consider the punishment for a particular person to be fair, this does not legitimate the application of the punishment automatically. To implement the punishment, it is necessary to establish and assess the fact of the commission of an offense using the legal means, and only as a consequence of this should a punishment be chosen. The use of more emotional arguments makes implementation of the punishment less legitimate.

And what would happen if the justification of punishment were based on the deontological arguments that were produced by the emotions and psychological processes of the human brain? In fact, this would cause deontology as a theory of moral rationalization to be affected by empirical information. There would be no independent moral evaluation, and random emotions would determine the nature of choices. Therefore, it can be argued that neuroscience's attempts to challenge legal philosophy rely on some conceptual errors.

Firstly, this happens when retributivism as an emotional view on the nature of punishment is mixed with deontology (similarly, as with the attempts to excessively apply moral rationalization to the legal norms in natural law theory).

Secondly, retributivism cannot be absolutized as a theory about the nature of punishment as the debate on legal policy has still not ended, and it should rely on the pluralism of opinions. There are no necessary and sufficient conditions to determine a punishment for offenses in retributivism. Thus, neuroscience discoveries do not give grounds to deny the existing concepts of the legal procedures, including the idea of the penalty to be selected by the court. Human brain activity does not produce exact criteria for choosing the appropriate or fair punishment, and even

the emphasis on the existence of specific emotions evoked by this can hardly be considered as a successful way of argumentation.

When analyzing the influence of neuroscience on legal philosophy, the question arises whether it is possible to reconsider the perception of the offenders' actions. Can it be that the neural activity of the brain is programmed, and the individuals are not free in realizing their desires and aspirations? In this case, the problem of the existence of free will is escalated noticeably, and this philosophical question can be a challenge for jurisprudence.

Freedom of will, in general, is being contrasted with determinism, that is the idea that the current state of the world depends on the laws of physics and the states that the world had in the past [4. P. 327–330]. In the case of absolute determinism, there can be no free will as an ability to act differently, when all states and processes are predetermined. *Compatibilism* implies the possibility of combining determinism with human moral responsibility. While *incompatibilism* views such a combination as incompatible, and, therefore, hard determinism is postulated. At the same time, libertarianism recognizes such incompatibility but denies determinism and supports free will [5. P. 12–15].

The discourses and even the context of viewing the problem of free will are sometimes mixed in philosophical discussions. Thus, for example, the expressions "may" and "whether it has the right" can mean several different interrelated aspects: natural forces (for example, the ability of water to freeze), or when physical conditions may be sufficient to fulfill the desires by the subject of actions and the ability to perform the actions (for example, the desire to swim when there is water around). The freedom to do otherwise determines what is called free will.

However, the relationship between determinism and free will can be interpreted differently. Determinism is consistent with the idea that people have abilities and capacities to act in accordance with their mental state, and that mental state affects behavior. As the mental state is not repeatable, people may act differently and be responsible for their actions. Neuroscience cannot reliably answer the question of whether a conscious mental state always precedes behavior. Therefore, the moral choice or the choice of the mode of behavior is made regardless of which version of determinism is recognized as a valid one. Obviously, the legal doctrine should be based on compatibilism, which implies that a person is free to act and behave differently regardless of the laws of nature because, without a moral penalty, it will be impossible to justify punishment.

How convincing are neuroscience arguments when justifying legal decisions? There are a number of objections to this statement when the legal nature of the penalties for offenses is considered. Clearly, when implementing penalties, determining their size and the procedure for imposing them, there is no need to strictly follow the empirical arguments about mass support, or expression of public opinion about punishments. This is a purely legal procedural matter, within a framework of which problems of the legitimacy of the legal system and the fairness of a particular court decision are considered. Additionally, neuroscience data do not give any exact arguments about moral guilt and fair punishment for people's actions. Basically, neuroscience provides only new information, which does not lead straight to the epistemological solution of the problem. Similarly, as with the solution of the problem of free will, it is possible to define the rules for empirical actions to be legally assessed and become the basis of responsibility application.

190 A.B. Didikin

However, when investigating the influence of neuroscience on law, another more important question arises: what is the relationship between mental states, causality and human actions in a legal context?

In terms of legal mechanisms, the concept of legal responsibility in legal philosophy is associated with a large number of formal conditions, in which professional argumentation is required to identify a causal relationship between empirically observable actions and their legal qualifications, as well as consideration of general legal principles.

It is especially noticeable in criminal law, as imposing responsibility for committed crimes is a formalized process, in which an assessment of the facts and events of the committed act allows authorities to determine the place of actions and the nature of criminal actions, considering the moral and ethical context of the offender's behavior, as well as the offender's attitude to what they have done. In this regard, there is an important argument in legal positivism that the convergence of moral and legal statements in criminal law affects the determination of specific measures of legal responsibility.

The separation of the normative and descriptive essences is based on a comparison of the common state of affairs and the specific situation that causes negative consequences. If a building is destroyed by fire, the presence of combustible material will be an obvious condition without which a fire would not have occurred. However, to give legal characteristics of an incident, it is required to analyze reasons for actions that possibly caused the incident [6. P. 215]. Therefore, discussions about the impact of neuroscience discoveries on law demonstrate the advantages of behavioral concepts that analyze the causes of human actions and actions themselves.

Nevertheless, when applying the arguments of behaviorism in law, some explanations are required because of many philosophical and psychological rationales of behaviorism used. Philosopher and psychologist A. Fedorov notes that B.F. Skinner's radical behaviorism "denies that our thoughts are of an ideal (immaterial) nature. In other words, proponents of radical behaviorism suggest that everything that exists, including the so-called psychic reality, has physical properties" [7. P. 23]. Obviously, this version of behaviorism, known as physicalism in the philosophy of consciousness, is of little use in the field of legal connections and relations. The attempts to explain the idea of personal events in radical behaviorism do not contribute much either as legal interpretation does not consider all psychical and mental events. Repentance on the part of an offender itself, as a mental act, does not relieve them of responsibility, and can only serve as a basis for a change in procedural legal relationships. At the same time, active repentance, assistance to the investigation, consent to participate in the investigative experiment, or other legally significant actions in human behavior are of greater importance than a search for something that is completely predetermined in human behavior.

Moreover, that is where neuroscientific conclusions will completely dominate any other conceptual discussions in legal philosophy. If a psychical (or mental) essence does not exist as an independent reality, legal phenomena will also "dissolve" in physical reality. Thus, a possible alternative to neuroscience argumentation can be the concept of *logical behaviorism* that was justified by the British philosopher Gilbert Ryle [8]. The influence of his ideas on the analytical legal

philosophy, including H. Hart's legal neopositivism, is obvious, but in this case it requires further investigation.

What are the potential benefits of focusing on the arguments of logical behaviorism in philosophical and legal reasoning? The central thesis of Ryle, which remain a basis for many discussions, is not to look for specific metaphysical aspects of consciousness to prove its immaterial nature [9]. Instead, mental states can be understood from the observation of human behaviors [10]. People act the way they think. From the view of psychology and neuroscience, this conclusion seems unreasonable, but, in jurisprudence, it is of fundamental importance. When an investigator examines the scene of an incident, a notary certifies the authenticity of the documents, or a judge puts the arguments together to make a legitimate court decision, they do not need the whole range of causalities existing in universe, or verification that a person's behavior is completely predetermined, and they are not free as they cannot control mental processes in mind.

The general objectives of legal argumentation are resolution of conflicts, elimination of harm caused with the use of legal means, and formulation of the rules of conduct governing (but not physically determining) actions of individuals. That is why linguistic phenomena that construct a legal reality and the context of the usage of legal terms that creates grounds for the enablement of legally significant behavior can be viewed not in terms of neuroscience but rather in terms of logical behaviorism. Further philosophical and legal studies shall demonstrate how complete this conceptual scheme is.

Reference

- 1. Berman, M. (2010) Two Types of Retributivism. *The Philosophical Foundations of the Criminal Law.* 3. [Online] Available from: http://ssrn.com/ abstract = 1592546.
- 2. Pardo, M. & Patterson, D. (2011) Neuroscientific Challenges to Retributivism. In: Nadelhoffer, T. (ed.) *The Future of Punishment*. Oxford University Press. [Online] Available from: http://ssrn.com/abstract=1783823.
- 3. Greene, J. (2008) The Secret Joke of Kant's Soul. In: Sinnott-Armstrong, W. (ed.) *Moral Psychology*. Vol. 3. Cambridge, MA: MIT Press. pp. 35–80.
- Inwagen, P. van (2008) How to Think About The Problem of Free Will. Ethics. 12. pp. 327–350. DOI: 10.1007/s10892-008-9038-7
- 5. Vasiliev, V.V. (2017) *V zashchitu klassicheskogo kompatibilizma. Esse o svobode voli* [In Defense of Classical Compatibilism. An essay on free will]. Moscow: URSS.
- 6. Ogleznev, V.V. (2015) Several remarks to reasons for action. Vestnik Tomskogo gosudar-stvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2(30). pp. 214–220. (In Russian). DOI 10.17223/1998863/30/23
- 7. Fedorov, A.A. (2007) Radikalniy bikheviorizm i psikhicheskaya realnost [Radical behaviorism and psychological reality]. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Psikhologiya.* 1(2). pp. 23–30. (In Russian).
 - 8. Ryle, G. (1999) The Concept of Mind. Moscow: Dom intellektualnoy knigi.
- 9. McGeer, V. (2018) Intelligent Capacities. *Proceedings of the Aristotelian Society*. CXVIII. pp. 1–29.
 - 10. Stout, R. (2003) Ryle's Behaviourism. Revue Internationale de Philosophie. 57(223). pp. 37-49.

Anton B. Didikin, Higher School of Economics (Moscow, Russian Federation); Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russian Federation).

E-mail: abdidikin@bk.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 186–192.

DOI: 10.17223/1998863X/48/18

192 A.B. Didikin

FREE WILL, ACTION AND RESPONSIBILITY: PHILOSOPHICAL AND LEGAL ANALYSIS

Keywords: analytical legal philosophy, free will, actions, responsibility, neuroscience, logical behaviorism, Gilbert Ryle.

In legal philosophy, the question of the applicability of legal responsibility for an offense committed by a subject is of fundamental importance. On the one hand, a state's use of coercion is aimed to support the regime of legitimacy and encourage lawful actions. However, the justifiability and adequacy of the sanctions and punishments applicable to the subjects of the offenses remain the topic of philosophical and legal discussions. To what extent do discoveries in neuroscience may affect a final conclusion supported by arguments? Is it a real need to re-evaluate the degree of "freedom" of an individual in making a rational moral and legally significant choice of behavior? The main question for discussion is grounds for determination and application of responsibility measures to the offender. In general, it relates to free will, that is a conscious decision of a person to perform actions contrary to legal norms, or prescribed norms. The offender deliberately poses challenges to the community, or he can express his unlawful position publicly, while responsibility measures restore the balance between rights and obligations. The decision made correlates with brain activity or type of brain activity, which means that it is possible to predetermine human actions, considering not only a free choice that is not affected by something from the outside. Additionally, the important concepts of the theory of legal responsibility, such as mens rea, mental adequacy, competence and voluntariness, can be re-evaluated when empirical neuroscience data is considered. The central thesis of logical behaviorism of Gilbert Ryle, which remains a basis for many discussions, is not to look for specific metaphysical aspects of consciousness to prove its immaterial nature. Instead, mental states can be understood from the observation of human behaviors. People act the way they think. From the view of psychology and neuroscience, this conclusion seems unreasonable, but, in jurisprudence, it is of fundamental importance. The general objectives of legal argumentation are resolution of conflicts, elimination of harm caused with the use of legal means, and formulation of the rules of conduct governing (but not physically determining) actions of individuals. That is why linguistic phenomena that construct a legal reality and the context of the usage of legal terms that creates grounds for the enablement of legally significant behavior can be viewed not in terms of neuroscience but rather in terms of logical behaviorism.

УЛК 165.42 + 343.119

DOI: 10.17223/1998863X/48/19

N.P. Kirillova, E.N. Lisanyuk¹

TRUTH AND LEGAL ARGUMENTATION IN FYODOR DOSTOEVSKY'S THE KARAMAZOV BROTHERS²

We examine the reasons of the judicial error in the Dmitry Karamazov case depicted by Fyodor Dostoevsky in The Karamazov Brothers and argue that the truth can and should be established in both of the process types, adversary and investigative, and that the three conceptions of truth, referential, inferential and pragmatic, play an evaluative role in that. The Dmitry Karamazov case shows that the formal view of the truth suffices for deciding a case, but it cannot prevent judicial errors when the epistemological ideal of the material truth falls into oblivion.

Keywords: truth, legal argumentation, adversary and investigative process models, judicial error. The Karamazov Brothers.

Introduction

In *The Karamazov Brothers*, Fyodor Dostoevsky tells a story of a legal case, we call it the Dmitry Karamazov case – the DM case, considered by a board of jurors, which has ended up with a judicial decision erroneously sentencing an innocent [3, IV, Ch. 12]. Dmitry Karamazov, accused of murdering his father Feodor Karamazov whom he did not kill, was found guilty of the murder and sent to Siberia. Dostoevsky's narrative of how the legal reasoning in the process evolved is relevant to the contemporary discussion of the role of the conceptions of the truth inherent to two different procedural models of the judiciary, investigative (inquisitional) and competitive (adversarial).

There were several reasons of the judicial error. The court investigator and the prosecutor investigated only one version of the murder, which seemed obvious to them but in fact was false, and they made no attempt to verify the defendant's version, which in fact was true. Along with the prosecutor's erroneous bias against

 $^{^1}$ (рус.) Н.П. Кириллова, Е.Н. Лисанюк. Истина и судебная аргументация в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Аннотация. Мы исследуем причины судебной ошибки в деле Дмитрия Карамазова, описанном Ф.М. Достоевским в романе «Братья Карамазовы», и приходим к следующим выводам: истина по делу может и должна быть установлена и в состязательном и в розыскном типах судебных процессов; три концепции истины — референциальная, инференциальная и прагматическая — играют оценочную роль в установлении истины и в оценке аргументов в суде. Дело Дмитрия Карамазова показывает, что формального подхода к истине достаточно для решения дела, но недостаточно для предотвращения судебных ошибок, возникающих, когда этот идеал предан забвению.

Ключевые слова: истина, юридическая аргументация, состязательная и розыскная модели, юридическая ошибка, «Братья Карамазовы».

² The support from the Russian Foundation for Basic Research project # 18-011-00895 is kindly recognized.

This paper is a collaborative update of E. Lisanyuk's talk given at the International Workshop 'Semantics and logic of legal language' held 26-29.04.2018 at the Tomsk State University. I express my gratitude to the Workshop participants and especially to Valery Surovtsey, Vitaly Oglezney, Anton Didikin and Michael Antonov for their valuable comments to the earlier versions of the paper [1, 2].

Dmitry Karamazov, there were many circumstantial evidences pointing to him guilty, which led to the fallacious decision of the juries.

Dostoevsky portrays how the prosecutor's opinion over the crime was emerging and shows how his strong desire to boost his career by 'winning' a loud criminal case was guiding him towards opposing the defense's position not so much with arguments or evidence as with eloquence and 'theatrical' effects, which misled the jurors.

The jurors' error was caused by the way the prosecutor had been justifying the accusative claim and by some weak aspects of the criminal process's adversary proceedings of that time, which both contributed to the jurors' wrong assessment of the arguments of the prosecutor and Dmitry's defender. We show how three reasons of the judicial error, the prosecutor's and the jurors' faulty performance of their judiciary obligations and the flaws in the criminal process, reflect the evaluative role the conceptions of truth play in establishing the truth and assessing the arguments. We explore the acquisition of different truth conceptions which are legislatively implemented in the types of criminal process and focus on the fact that it is rather the way these conceptions affect the arguments' assessment than the implementation of the conceptions that is crucial for avoiding judicial errors.

The paper is organized as follows. We start with outlining the roots of the judicial error in Section 1. In Section 2, we discuss the two conceptions of truth, material and formal, inherent to the investigative and the adversary process types, and illustrate the connections between the conceptions and the process types with the derailments in the DM case. In Section 3, we argue that the two truth conceptions both have certain pragmatic aspects of truth. In Conclusion, we summarize our arguments in favor of our statement that the truth conceptions play a necessary evaluative role in avoiding judicial errors.

1. The roots of the error

Since the murder had been committed in witnesses' absence, in an uncertain situation, for proving Dmitry's guilt the prosecutor could have referred to exclusively circumstantial evidences. The prosecutor was justifying the defendant's guilt with a complex of witness and material evidence, from which it followed that he was at the crime scene, had a motive and an opportunity to commit the murder. The amount of this evidence was significant, but it did not disprove the defendant's position that he did not commit the murder and did not steal his father's money although he did come to his house. There was no rebuttal of the defendant's position in the prosecutor's argumentation, which should have cast doubt in the prosecutor's proof of Dmitry's guilt. That doubt could have prevented the judicial error, but that did not happen as the jurors were confident in their wrong assessment based on emotions and vague beliefs of the sort we call post-truth today [2].

Dmitry consistently described his further actions, and this description corresponded to the witnesses' testimonies, except of the two of them which were in fact false. He denied having taken his father's money and reported that the source of the money he had with him was his beloved Grushen'ka. Dmitry claimed that the murder was committed by his father's servant Smerdyakov for only he knew where the money stolen during the murder was kept. Smerdyakov was Dmitry's father's illegitimate son and had his own motives for committing the murder. The prosecutor and the jurors trusted the false testimonies of servant Grigory who had erred and

the innkeeper who had been biased. Grigory maintained that the garden gate had been open – in fact it had been closed, and the prosecutor used that to prove the way by which Dmitry escaped after the murder. The prosecutor grounded his conviction that Dmitry had stolen the money from his father by the innkeeper's testimony about the amount of money Dmitry spent in the inn, in fact exaggerated. Had the forensic investigation had their testimonies verified, it would have found them false, which would have supported the defendant's version. The forensic investigator and the prosecutor undertook no thorough investigation of Smerdyakov's involvement in the murder, so neither evidences of his guilt, nor the true motive for the murder committed was found.

During the consideration of the case, new evidence, unavailable in the preliminary investigation, appeared in the court: the testimony of the defendant's brothers, Ivan and Alexey Karamazov, who confirmed his position. Ivan Karamazov testified that Smerdyakov confessed to the murder, gave him the stolen money and then committed suicide. However, these testimonies did not fit into the prosecutor's version, he disregarded them and they did not shake his personal conviction in Dmitry's guilt. The prosecutor presented Ivan Karamazov's testimony, on the one hand, as false and biased, given for the sake of saving the brother from an accusatory sentence; on the other hand, he argued that the witness was mentally ill, so his testimony could not be trusted. These claims were inconsistent together, but the court did not take this into account despite the fact that the prosecutor provided no evidence of the witness's mental illness.

In his emotional accusatory speech, the prosecutor referred exclusively to the evidence against Dmitry, eloquently demonstrating his personal conviction of Dmitry's guilt, and he considered neither the facts in favor of the defendant's position, nor the witnesses' testimony that it was Smerdyakov who had committed the murder. He succeeded in creating wrong beliefs in the jurors by drawing incongruous psychological portraits of Dmitry Karamazov and Smerdyakov, with the help of which he argued that Karamazov acted as a true murderer, and Smerdyakov could not commit a murder. The prosecutor's conviction was based on the emotions and psychological appeals but not on the facts of case, and the jurors' conviction became so, too.

There were two apparent contributions to the judicial error, the prosecutor's wrong conviction and the jurors' wrong evaluation of the arguments in favor and against Dmitry's guilt. The prosecutor's version lacked factual support; he derailed both logically – in substantiating the accusatory claim, and legally – in failing to refute the defendant's position; his strong desire to 'win' the case misdirected his conviction – all that led him to the wrong conclusions. The prosecutor's rhetorical success in creating wrong beliefs in the jurors reflected his wrong conviction and finalized the contribution to the judicial error.

The adversarial model of criminal justice described in the novel also contributed to the judicial error by its general poor legislative implementation, which was one of the reasons of the court's malfunction in the DM case. At the time when Dostoevsky wrote his *The Karamazov Brothers* the adversarial model was newly introduced as a result of the judicial reform of 1864. Its authors tried to create a novel type of criminal procedure legislation, which would protect the rights of the accused, as opposed to the previous investigative type of the process which focused on the search of guilt evidence. The reformers believed that considering certain

types of criminal cases involving jurors in an adversarial process would minimize judicial errors and conviction of the innocent.

The pre-reform investigative process had three main criminal procedural functions in the hands of the court: accusation, defense and resolution of the case. There were no prosecution and defense parties, and the court investigated both the accusatory evidence and the defendant's version. To a certain extent, judges themselves accused and defended suspects, and resolved the cases. In the novel adversarial process involving jurors, the criminal procedural functions were separated from each other, which obliged the court to resolve cases on the basis of evidence submitted by the parties, and was meant to prevent the court from substituting the prosecution or the defense. This adversarial process against Dmitry Karamazov was described by Dostoevsky in his novel.

The advantages and disadvantages of the investigative and adversarial process types and of constructing of a procedural model that would equally well protect the interests and rights of crime victims and of defendants and would guarantee against an unjustified conviction were and still are central in the discussions over the criminal law. The fundamental issues in these discussions are establishing the truth in a criminal case and correct assessment of the arguments which have to be based on it. Good legislation and its accurate implementation are the necessary tools for achieving the former goal which thus instantiates the procedural kind of justice. The latter goal belongs to the domain of argumentation analysis as we need to know what kind of truth has to be and can be established, which amounts to the epistemological and ontological queries respectively; and what the ways are by which it can be and should be conveyed in dialogue, which refers to its pragmatic aspects.

2. Two truth conceptions in the two process types

Legal analysts discriminate between two kinds of truth involved in the issue, material, or objective, and formal, or legal. Material truth means establishing a full and objective factual picture of a crime by forensic and in-court investigation; it is called objective because it refers to the correspondence between facts of a crime existing as they are independently of the investigation, and their propositional descriptions used in legal reasoning over crimes. These facts are truth-makers in the doctrine of objective truth which thus has a referential nature. The correspondence conception of truth expresses the classical approach to it in epistemology. To establish material truth makes up the core task in the investigative criminal model.

The adversarial process places the doctrine of legal truth in the center. According to this doctrine, the establishing of a crime picture which would suffice for deciding the case is carried out by the court by means of assessing the evidence and arguments submitted by the opposite parties, the prosecution and the defense. The court selects one of the two positions as the best justified and decides the case on its basis. The truth-makers of legal truth are formal relations between the premises and the conclusions of the arguments contained in the opposing parties' positions. Legal truth has an inferential nature, and its truth-makers demonstrate the conclusive coherency of the party's position. In epistemology, the coherency-based inferential conception of truth emerges as the methodological elaboration of its correspondence conception by providing algorithms of obtaining truth instead of the vague correspondence notion.

There are two roles, epistemological and normative, the two truth conceptions play in the two process types. They reflect respectively the cognitive and the procedural goals towards which legislation directs the court's investigative efforts. Along with the referential and inferential truth conceptions, there is a remarkable variety of other truth conceptions in epistemology, but they are unlikely candidates for implementation in the types of processes since investigation outcomes they are capable to convey are either ambiguous, as in the informational conception of truth, or multivalent, as in the agentive or ameliorative conceptions [4-6]. These conceptions allow for more than one truth for one and the same issue, and they rather exemplify negative investigation results than provide cognitive ideals for the processes. Thus, the judicial error in the DM case can be viewed in the vein of either the agentive or the ameliorative conception. According to the agentive conception, the truth in the case amounts to what one of the parties says (in this case it was the prosecution)¹. The ameliorative conception treats any investigation outcome as lacking perfection with respect to some ideals with which the outcome has to comply and defines as true a statement closest to those ideals irrespective of their relevance to the issue at question [9. P. 366]. In the DM case, Dmitry's lack of moral perfection placed the prosecutor's version of the crime closer to the (ameliorative) truth than the defendant's version with its no appeal to morals at all. Along with doubts in its cognitive contribution, the ameliorative truth lacks procedural determinacy as it endorses leaving untouched the question why morals matter in the prosecutor's accusation against Dmitry but not in the Karamazovs' accusation against Smerdyakov.

The epistemological role the truth conceptions play in the investigation identifies the kind of the truth which can be established; their normative role determines the definite ways of how the truth has to be established in order to exclude employing any truth conception other than the one legislatively implemented by those ways. Whatever peerless the referential and the inferential conceptions might be in epistemological, legal or argumentative sense, postulating them as investigation objectives implies obtaining one true crime version. In practice, achieving it according to either of the conceptions is a complex task as the judicial error in the DM case demonstrates.

There are two sides in this complexity; one has to do with the implementation of the truth conceptions according to their definitions in the corresponding process type, and the other with how the arguments based on the established truth are assessed. In both of the process types, objective and formal truths embraces wider scopes than the ones their truth-makers bring about. As the two conceptions instantiate the social-constructive type of normativity [10. P. 31], the law identifies them by means of certain institutionalized procedures, different for each of the two. The procedural aspect accounts for the constructive side of the two truth conceptions' normativity; it is plain in legal truth and is less apparent in the material one in which facts are treated as independent truth-makers whose objective character is maintained rather by their existence as they are than by obtaining them with the help of legislatively determined investigative measures. In the investigative process, the court assumes that there can be only one true factual picture of the crime, and it has to be established. Such an assumption is a cornerstone notion in episte-

¹ Here it is irrelevant whether the agentive conception of knowledge and truth is viewed as psychological [7], like in the beginning of the XX c., or as cognitive [8], like today.

mology and is a kind of a cognitive ideal conveyed in a remarkable variety of definitions. Logic models this ideal by the designated value 'true' – 1, preferred over other truth values, 'false', or 'inconsistent' – 0, 'doubtful – τ , in the linear truth values ordering of bivalent (i), ternary (ii) or 4-valued formalisms (iii), (iv)¹.

(i) 1 > 0; (ii) $1 > 0 > \tau$; (iii) $+1 > -1 > 0 > \tau$; (iv) $+1 > 0 > -1 > \tau$.

However, such an assumption does not exhaust what the conception of material truth says. Investigative truth-seeking measures are confined to the queries made over the preliminary investigation, beyond which the judges may not investigate during the in-court trial, in order to prevent them strengthening the evidence base of either the prosecution or the defense [13. P. 98–99]. In this way, although the discovering of material truth is subordinate to the assumption of objective truth, the establishment of it is a constructive activity limited to definite procedural steps. Dostoevsky's *Crime and Punishment* illustrates a similar idea by portraying a detective who, amid having found no evidence which he had to present to the court in the preliminary investigation, started pursuing Raskolnikov, the suspect, to have him confess to the murder [14].

The material aspect the legal truth has in the adversarial process is likewise less apparent than its formal one. It restricts its truth-makers' scope to the parties' positions, which amounts to the idea that in establishing the legal truth the court is confined to considering crime evidences to which it has been exposed by the opposing parties, and may neither initiate investigation of other facts beyond that, nor question the evidences not questioned by the parties [15. P. 196–199]. In the adversarial process, this ontological material restriction in the whereabouts over the establishing of the legal truth prevents the court from substituting the functions of the prosecution and the defense.

The court's lack of attention to the material aspect in the establishing of the legal truth was one of the reasons of the judicial error in the DM case. The court could not further investigate the evidence, the pestle erroneously presented by the prosecutor as the murder tool, once that had not been explicitly challenged by the defense which did not question the pestle evidence as it had had a restricted access to the forensic investigation in the preliminary stage. Thus, in the two types of the process, the conceptions of formal and objective truths do not exhaust what the conceptions of legal and material truths embrace respectively; in these types, both conceptions show up, albeit diversely, their referential and inferential aspects.

Since either of the two versions can turn true in a court decision but until that it is not known which will do, the court's and the jurors' reasonings in the adversarial process are best modeled by formalisms with two designated values, 'averse true' -+1, which may be interpreted as supported by arguments, and 'reverse true' --1, or supported by counterarguments, as in (v):

$$(v) +1; -1 > 0 > \tau.$$

 $^{^{1}}$ The difference between employing (iii) and (iv) for modelling the DM case is discussed in [1]; the formalisms based on such orderings – in [11, 12].

These truth values are not only incompatible, as any truth values are in (i) – (iv), but are disparate. This implies the non-standard definitions for the disjunctive 'or' – \vee and conjunctive 'and' – \wedge connectives:

```
if \phi <=>+1, \phi <=>-1, then \phi \lor \varphi <=>\tau, instead of max \{v(\phi), v(\varphi)\}, and \phi \land \varphi <=>0, instead of min \{v(\phi), v(\varphi)\}.
```

As concerns evidence and arguments assessment, such non-standard interpretation fits the adversarial process better than the standard one. Let us take $\phi \wedge \phi$ as the prosecution's and the defense's arguments for and against the claim, which taken together turn the issue over the claim unresolved, or inconsistent. This is what the truth value 0 in (v) expresses. For example, Ivan's testimony of Smerdyakov's confession in the murder confronting the prosecutor's contention that the murder was committed by Dmitry leaves the issue inconsistent until further arguments would appear. When either the prosecution or the defense puts forward their argument, which is symbolized by $\phi \vee \varphi$, it makes the issue indeterminate $-\tau$, since without a rebuttal of the opposing version neither pro-argument nor contraargument itself suffices for establishing the truth as it happened with the prosecutor's no rebuttal of Dmitry Karamazov's version of the murder, which was one of the reasons of the error. To observe that although to refute the positions confronting the crime version proposed by the prosecution is prosecutors' imperative task in the both types of process, in the investigative type it is more persistent as there is no material opposition to the prosecution's crime version, which is reflected in the court's obligation to perform both the prosecution and the defense as well as in the truth-values ordering (i) – (iv) modeling their assessment.

Employing diverse formalisms for modeling arguments' assessment in the two types of process with their diverse backgrounds in the two different conceptions of truth does not exclude the idea that the court may and should epistemologically assume the existence of objective truth. According to Ivan Foynitsky, a contemporary of Dostoyevsky and influential criminal law analyst, such an assumption has an apparent legitimate procedural support in the investigative process type, but not in the adversarial one. Although the pursuit of material unconditional truth is the ultimate goal for any criminal process and for every court, the specific properties of the process involving jurors imply that the truth the court attains is formal truth [16, 8]. In the after-reform pre-revolutionary criminal process, the conceptual principle of material truth as established by the court of jurors had to be understood in a restricted sense, and the guiding principle for the in-court discovery of truth was not material, but legal truth, in the form of a proven prosecution [17, P. 345].

After the 1917 revolution, the court of jury was abolished and the establishment of material truth was regarded as a goal in the criminal judiciary. Many Soviet legal theorists criticized the pre-revolutionary model of the criminal process for its formal approach in what regards establishing the truth. They treated such an approach as erroneous since it reduced the act of administering justice to a formal logical operation – to constructing syllogisms. Contrary to that, the court's objective was to amount to the establishment of material truth, which meant a full and accurate correspondence of the conclusions made by the court to the facts. The guilt or innocence of the suspects should depend on the material truth as identified by the investigation. [18, P. 14].

As courts of jury have been reestablished in the contemporary legal system, there continue discussions over the conceptions of truth those trials would have to pursue as their goals. Some contemporary theorists warn that the adversarial model of the criminal process should not be overestimated as the key truth warrant. In court dispute between the parties, the truth may be revealed as well as may be buried depending on whether the truth coincides with their interests or contradicts them. Thus, the defender's desire to establish the truth may be contraindicated to their position in the courtroom, when it endangers their client's interests; the prosecutor, freed from the obligation of supervising the legality, would unlikely undermine their position in the pursuit of the truth. Consequently, adversariality is just a tool for forensic cognition, which may yield ambiguous outcomes according to the will of those who employ it [19. P. 65–66].

3. The pragmatic aspect of truth

The truth pursued in the adversarial or investigative type of process brings about the issue of arguments' assessment in which the pragmatic conception of truth plays its role along with the referential and the inferential conceptions although it does so with no mention in the legislative endorsements of the type of processes. In the adversary type, the pragmatic truth conception is the one on which the court instrumentally relies when it selects the best justified position by evaluating the connection between the position's coherency, the crime version the party is intended to prove and the position's sustainability as opposed to the other party's position. This connection, stable in its definition of what has to be connected but diverse in what is connected in each case [20. P. 4], is the truth-maker of the pragmatic truth which exemplifies a contemporary elaboration of both the referential and inferential truth conceptions and relates the truth-makers of the first two conceptions to the truth-makers of the pragmatic conception. It bridges the establishment of correspondence between facts and their description as well as between the description's coherency and the investigator's objectives. This relation instantiates the idea of engineering, or poetic dimension of truth taking over its experimental, or declarative dimension [21. P. 301], as well as the fact that no pure facts exist or can be conveyed unless they come from a certain source for a certain purpose by well-defined means [22. P. 55]. Thus, the pragmatic conception of truth contributes to the evaluation of any evidence or argument irrespective of whether they are put forward by the prosecution or by the defense, and the challenge is to procedurally identify the extent to which such contribution affects the court decision in the two types of the process, in which the conceptual identification of the kind of truth to be established is subordinate to the extent identification.

Legal theorists rightly call the truth to be established by the court either material or formal in the sense that it is based on a certain procedural assessment in which philosophers discriminate three aspects: logically formal, or inferential relating its premises to its conclusions, material, or referential relating the objects of its concern to the outside facts, and communicatively consistent, or pragmatic relating what it contained in the parties' positions to their intentions [23]. The former two aspects are characteristic of the two truth conceptions which are the objectives in the two types of process. Although the latter aspect seems to play a lesser role in the investigative process than in the adversarial, it affects conveying arguments in the investigative process as well, since there is no way of obtaining facts and evi-

dence other than by legally definite procedural measures performed by competent investigators. Thus, in both types of the process, it shuts the epistemological door to the court investigation for the pragmatic aspect of truth but opens the procedural entrance for it.

Many contemporary proponents of the adversarial process refer to the ideas of pre-revolutionary theorists regarding the shortcomings of the investigative process. Foinitsky pointed to three groups of those shortcomings of which the first two correlate with the prosecutor's contribution to the judicial error in the DM case and the third with that of the jurors. The first was ignoring individuals' rights, employing brutal measures for the sake of the abstractly understood justice. The second was combining the judge's, prosecutor's and defender's roles in one hand, an essential property of the investigative process which endangered of improper administering of justice both the victims and the suspects. No matter how morally strong the judges were, they could unlikely avoid taking biased decisions given that their obligations included both the prosecution and the defense. The risk of bias, like it happened in the DM case despite the adversarial process, was enhanced by the fact that in the investigative process the law allowed for no formal defense as it obliged the judges to be the defenders as well [16. P. 70-71]. The third group had to do with the fact that in the parties' absence, the investigative process lost the vitality characteristic of the court proceedings based on the struggle of opposing interests and became a lifeless clericalist machine. Such processes had a rough finish which eliminated the ability of bootstrapping its evolvement to the requirements of particular cases and left little room for focusing on personal guilt, deeply individual in its shades. Thus, when the new testimonies of Ivan and Alexey challenged the prosecutor's version, the court showed no flexibility and disregarded them.

Why illustrate Foinitsky's ideas put forward in support of the adversariality in court with the adversary process depicted by Dostoevsky? The reason is that in his portrayal of the DM case Dostoyevsky demonstrated that the adversarial type of processes involving jurors counted as more progressive than the pre-reform investigative type, had its drawbacks and could not guarantee against judicial errors. Dostoyevsky's deep concern was not so much over the type of the process but rather over the courts' capability to establish the truth. This concern is persistent in his *Crime and Punishment*, too. Had not Raskolnikov confessed in the murder to the investigator, the court would have had no evidence against him and could not have had him sentenced for the murder he had committed. The Raskolnikov case exhibits yet another judiciary shortcoming and demonstrates the need of establishing material truth along with selecting a version for legal truth on the competitive basis. These two processes' stories critically oppose each other regarding the ways of identifying the truth in the case.

Assessing the capabilities of the adversarial process from the viewpoint of judiciary, we nevertheless argue that not only legal but also material truth is achievable in it despite all the shortcomings observed. That the legislation sets before the court the task of proving the fact of the crime, the fact that it was committed by the defendant and the fact of the defendant's guilt testifies that the legislation requires legal (formal) truth to be established during the process. At the same time, material truth can be achieved not only in the investigative but in the adversarial process as well if both the court and the parties perform what they are obliged to according to their procedural functions, irrespective of the type of process. Material truth in the

case not only can but also should be established by a lawful and efficacious investigation at the preliminary stage, professional prosecution, due defense, thorough in-court consideration and fair resolution of the criminal case whenever the parties and the court take all the lawful measures for the full realization of their functions defined in the framework of the type of process. The procedural and pragmatic aspects of discovering the truth and assessing the arguments allow for the epistemological diversity as modeled by different formalisms, yet make a formal view on what can be achieved by the court both necessary and sufficient in the legal sense, be it an adversarial or an investigative process. Material truth provides the necessary epistemological ideal for such a formal view in the both types of the criminal process; it necessitates perfection in performing obligations by the parties and excellence in cognizing the facts of the case, in the absence of which the formal view of the truth suffices for deciding a case, but cannot prevent judicial errors as the DM case shows.

Conclusion

We showed that the role of different conceptions of truth played in legal argumentation evolving in the two types of criminal process is evaluative in two aspects as an epistemological ideal in the establishment of the truth in a case and as an indicator of the malfunction of the court parties and of the shortcomings in the implementation of the criminal process type. In the DM case it was the adversarial type. The confusion in the conceptions of truth on which the court could rely and which it had to seek was the cognitive reason of the error.

From the legal viewpoint, the malfunction and the shortcomings contributed decisively to the error, and, consequently, a thorough performance of their professional obligations by the court and the parties as well as accurate law enforcement are the necessary, although not sufficient, conditions for preventing such errors. From the viewpoint of argumentation, disregarding diverse aspects of truth in establishing it and arguing in favor or against it misdirected the court and the jurors away from cognizing material truth in the case, which led to the jurors' faulty assessment of the investigation outcomes and thus contributed decisively to the error. Thus, the conceptions of truth serve as necessary tools in evaluation of the court's and the parties' perfection in performing their obligations in the courtroom as they demonstrate whether the epistemological ideal of material truth was sufficiently pursued for establishing the truth and a fair decision. The DM case shows that the formal view of the truth suffices for deciding a case, but it cannot prevent judicial errors when such an ideal falls into oblivion.

Reference

- 1. Lisanyuk, E. (2017) Russian logos of the post-truth era and arguments' evaluation (in F. Dostoevsky The Karamazov brothers and Crime and Punishment). *Russian Logos: The Horizons of Comprehension*. Proc. of the International Conference. September 25–28, 2017. St Petersburg. pp. 407–412.
- 2. Lisanyuk, E. (2018) Alternating truth in argumentative dispute resolution. In: Beziau, J.-Y., Buchsbaum, A. & Rey, Ch. (eds) *Handbook of the 6th World Congress and School of Universal Logic*. Vichy: Universit'e Clermont Auvergne.
- 3. Dostoevsky, F.M. (1989) *Sobraniye sochineniy v 15 t.* [Collected works in 15 vols]. Vol. 9–10. Leningrad: [s.n.].

- 4. Lisanyuk, E.N & Mazurova, M.R. (2019) Argumentation, peer-disagreement and the birth of truth in dispute. *Epistemologiya i filosofiya nauki Epistemology and Philosophy of Science*. 56(1). (In Russian). DOI: 10.5840/eps20195619
- 5. Zaitsev, D.V. & Grigoriev, O.M. (2011) Dve pravdy odna logika [Two truths one logic]. *Logicheskie issledovaniya Logical Investigations*. 17. pp. 121–139.
- 6. Shramko, Y. & Wansing, H., (2005) Some useful sixteen-valued logics: How a computer should think. *Journal of Philosophical Logic*. 34. pp. 121–153.
- 7. Martin, W. (2013) Theodor Lipps and the Psycho-Logical Theory of Judgement. In: Textor, M. (ed.) *Judgement and Truth in Early Analytic Philosophy and Phenomenology. History of Analytic Philosophy*. London: Palgrave Macmillan. pp. 9–35. DOI: 10.1057/9781137286338_2.
- 8. Mylopoulos, M. (2017) A cognitive account of agentive awareness. *Mind and Language*. 32(5), pp. 545-563. DOI: 10.1111/mila.12158
 - 9. Haslanger, S. (2012). Resisting reality. Oxford: Oxford University Press.
- 10. Shevchenko, A.A. (2010) Normativity: its role, sources and status. *Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo unversiteta Bulletin of Novosibirsk State University. Series Philosophy.* 8(4). pp. 28–32. (In Russian).
- 11. Finn, V.K. (2006) Standartnaya i nestandartnaya logika argumentasii [Standard and non-standard logic of argumentation]. *Logicheskie issledovaniya Logical Investigations*. 13. pp. 133–165. (In Russian).
- 12. Karpenko, A. & Tomova, N. (2017) Bochvar's three-valued logic and literal paralogics: their lattice and functional equivalence. Logic and Logical Philosophy 26. P. 207–235 DOI: 10.12775/LLP.2016.029
- 13. Kirillova N.P. (2008) Adversarial Character of the Judicial Proceedings and Establishment of the Truth in Criminal Law. News of higher educational institutions. *Pravovedenie Jurisprudence*. 1(276). pp. 93–100. (In Russian).
- 14. Dostoevsky, F.M. (1989) *Sobraniye sochineniy v 15 t.* [Collected works in 15 vols]. Vol. 5. Leningrad: [s.n.].
- 15. Kirillova, N.P. (2006) Conflictology and adversariness of court investigation. *Mysl': Zhurnal Peterburgskogo filosofskogo obshestva Thought: Journal of St Petersburg Philosophical Society*. 6(1). pp. 187–199. (In Russian).
- 16. Foynitsky, I.Ya. (1896) Kurs ugolovnogo sudoproizvodstva [Criminal Justice]. Vol. 1. St Petersburg: Obshchestvennaya pol'za.
 - 17. Rozin, N.N. (1916) Ugolovnoe sudoproizvodstvo [Criminal Justice]. Petrograd: [s.n.].
- 18. Strogovich, M.S. (1947) Theory of material truth in criminal process. Moscow: [s.n.]. (In Russian).
- 19. Boykov, A.D. (1997) *Tret'ya vlast' v Rossii. Ocherki o pravosudii, zakonnosti i sudebnoy reforme 1990–1996* [The third power in Russia. Essays in judiciary, legality and legal reform 1990–1996]. Moscow: Research Institute of the Problems of Strengthening Law and Order.
- 20. Rorty, R. (2000) Universality and Truth. In: Brandom, R.B. (ed.) *Articulating Reasons*. Cambridge MA: Harvard University Press. pp. 1–30.
- 21. Floridi, L. (2011) A Defense of Constructionism: Philosophy as Conceptual Engineering. *Metaphilosophy*. 42(3). pp. 282–304. DOI: 10.1111/j.1467-9973.2011.01693.x.
- 22. Kasavin, I.T. (2013) Knowledge and communication in the contemporary discussions in the analytic philosophy. *Voprosy filosofii*. 6. pp. 46–57. (In Russian).
- 23. Dutilh Novaes, C. (2015) A Dialogical, Multi-Agent Account of the Normativity of Logic. *Dialectica*. 69(4). pp. 587–609. DOI: 10.1111/1746-8361.12118

Nataliya P. Kirillova, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: kirillova59@mail.ru

Elena N. Lisanyuk, Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation). E-mail: e.lisanuk@spbu.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 193–204. DOI: 10.17223/1998863X/48/19

TRUTH AND LEGAL ARGUMENTATION IN FYODOR DOSTOEVSKY'S $\it THE\ KARAMAZOV\ BROTHERS$

Keywords: truth; legal argumentation; adversary and investigative process models; judicial error; *The Karamazov Brothers*.

In *The Karamazov Brothers*, Dostoevsky tells a story of a judicial error. Dmitry Karamazov, accused of murdering his father Feodor Karamazov whom he did not kill, was found guilty of the murder and sent to Siberia. The Dmitry Karamazov case is relevant to the contemporary discussion of the role legal argumentation plays with respect to the conceptions of truth inherent in two models of judiciary, investigative (inquisitional) and competitive (adversarial), on which the evaluation of the parties' arguments is based. The authors examine the reasons of the judicial error – the prosecutor's biased conviction, his derailments in justifying his version of a crime, the jurors' wrong assessment of the parties' argumentation, and the shortcomings of the newly introduced adversarial process type – and argue that the truth can and should be established in both of them, and that the three conceptions of truth (referential, inferential and pragmatic) play an evaluative role in that. They serve as the necessary tools in evaluation of the court's and the parties' perfection in performing their obligations in the courtroom as they demonstrate whether the epistemological ideal of the material truth was sufficiently pursued for establishing the truth and fair decision. The Dmitry Karamazov case shows that the formal view of the truth suffices for deciding a case, but it cannot prevent judicial errors that occur when such an ideal falls into oblivion.

УДК 340.124

DOI: 10.17223/1998863X/48/20

V.V. Ogleznev¹

ASCRIPTIVE LEGAL LANGUAGE AND ITS ORIGINS IN THE SPEECH ACT THEORY²

This article presents H.L.A. Hart's theory of an ascriptive legal language as it has been developed in his influential paper "The Ascription of Responsibility and Rights" through the application of a methodology of the speech act theory proposed especially by J.L. Austin and partly by J. Searle. I propose to retrieve Hart's theory of ascriptive statements in the face of critics by carefully analyzing the ascriptions in the context of the speech act theory and capturing their linguistic applications in the legal language, at least for some of them. The result is not the refutation of ascriptivism but rather an opportunity for a constructive modification of Hart's position.

Keywords: ascriptive, descriptive, performative, speech acts, legal language.

The close connection between philosophy of language and jurisprudence was emphasized by H.L.A. Hart, and has been recognized for decades. Hart argued that many central issues in jurisprudence depend on an adequate conception of language: "I do not think the general character of acts in the law <...> can be understood without this idea of the performative use of language" [1. P. 276]. In spite of Hart's characterization of his methodology, questions about the relationship between language and law did not become central of some decades after publication of *The Concept of Law* [2]. Only during the past forty years or so, many linguists and social scientists (linguistic anthropologists, psychologists, and sociologists) have turned their attention to legal language. For such researchers, the complex language of lawyers becomes a fascinating topic to study. The results of their work have led to a better understanding of how legal language operates, and that linguistic knowledge can facilitate our understanding of the substance of law (see [3–6]).

However, Hart's first attempts to develop a conception and account of legal language that would be based on the idea of the performative use of language can

¹ (рус.) В.В. Оглезнев. Аскриптивный юридический язык и его истоки в теории речевых актов. Аннотация. В статье рассматривается теория аскриптивного юридического языка Герберта Харта в том виде, в котором она представлена в его известном эссе «Приписывание ответственности и прав». Основные положения подхода Харта анализируются посредством применения методологии теории речевых актов, разработанной прежде всего Джоном Л. Остином и Джоном Сёрлом. Как известно, Харт не завершил свой проект аскриптивного юридического языка, остановившись на анализе приписывания ответственности и действий. В статье же предлагается в некотором смысле реабилитировать его проект за счет дальнейшего развития предлагаемых им аргументов. Внимательный анализ аскрипций как особых речевых актов в контексте теории речевых актов и фиксации их лингвистических характеристик (семантических и прагматических свойств) позволяет справиться с поставленной задачей. В результате мы получаем модифицированную и усовершенствованную теорию аскриптивного юридического языка, пусть даже и отстоящую от оригинального источника.

Ключевые слова: аскриптивные высказывания, дескриптивные высказывания, речевые акты, юрилический язык.

² A previous version of this paper was presented at the International Workshop "Semantics and Logic of Legal Language" in Tomsk in April 2018, where I benefited from comments and suggestions by the participants, which led to making my arguments clearer.

The study was funded by the Russian Science Foundation, Research Project No. 18-78-10082.

206 V.V. Ogleznev

be found in his earlier article "The Ascription of Responsibility and Rights" [7]. For the purposes of my research, this article is of particular interest. In it, Hart proposed a new approach to statements that refer to action and to the philosophy of legal language as well. Thus, understanding Hart's views through the analysis of the speech act theory will allow reconstructing his theory of legal language and developing an original theory of ascriptive legal language. Thus, I want to prove the thesis that Hart's approach to the legal language is rooted in the speech act theory proposed especially by J.L. Austin and partly by J. Searle. Before proceeding to the study of the theory of ascriptive legal language, one should consider the nature and meaning the speech act in the way that it is presented in philosophy of ordinary language.

In his How to Do Things with Words [8], J.L. Austin argued against a positivist philosophical claim that the utterances always "describe" or "constate" something and are thus always true or false. After mentioning several examples of sentences that are not so used in this context, and are not truth-evaluable, he introducintroduces "performative" sentences as another instance. According to Austin, a performative utterance is a sentence that neither describes nor affirms a fact, but contains a felicity condition that must be fulfilled when the performance takes place. Thus, Austin distinguishes between statements that say and statements that do. Unlike the constative statements, the performative statements are neither true nor false. A performative is both an action and an utterance. The fundamental distinction between performative statements and constative statements is grounded in their different verification conditions. The performatives can only be verified in terms of correct or incorrect. Constative sentence, instead, is a sentence that affirms facts, reports events, and describes situations and conditions. It must contain truthvalues. Let us consider, for example, the statement "It is raining". It is true if the fact in the actual world that it is raining right now. If in fact it is not raining now, it is simply possible to say that the statement is false. However, when we take a deeper look at the constative, we will find it also fulfills the criteria for a performative sentence, since the above-mentioned sentence is a constative only in terms of its surface structure. In a deep structure, it will become "I tell you that it is raining". In this form, the constative sentence also satisfies all the criteria to be a performative. Therefore, in short, we can say, somewhat roughly but accurately, that the set of constative sentences is also included in the set of performative ones. The principle of maximum ease of articulation is reflected in this pattern. The metrical sentence "I tell you..." is unnecessary and therefore is omitted. A sentence "I tell you that it is raining right now", modified and disposed of the phrase "I tell you...", appears only in the surface structure of "it is raining".

The most important Austin's contribution to the speech act theory is his analysis of the speech act structure. He distinguished among *locutionary* acts, in which a speaker uses a meaningful sentence to express a proposition; *illocutionary* acts, which are identical to our speech acts defined above, and *perlocutionary* acts, which are characteristic effects of illocutionary acts. Austin also provides an account of *infelicities*, which divide into *misfires* and *abuses*. In the former, a speaker attempts to perform an illocution but a flaw prevents it from being more than a locutionary act. In the latter, the putative speech act is performed, but the speaker has abused the practice that makes it possible by for instance a failure of sincerity (see [9]). But Austin does not provide a complex definition of an illocutionary act, and

just claims that to perform a locutionary act is to perform an illocutionary act, that is, performing an act of speaking in opposition to the actions of speaking. Therefore, to determine whether a locution performs an illocutionary act, one must ascertain whether the locution asks answers, warns, informs, etc. Using the simple test of the first person singular, present indicative active form, Austin gets a list of verbs. He distinguishes five more general classes and calls them classes of utterance, according to their illocutionary force, by the following names: *verdictives*, *exercitives*, *commissives*, *behabitives*, and *expositives* [8. P. 150]. But Austin finds that even then some fresh classification altogether is needed, and he is not putting any of this forward as minimally definitive.

Searle's differentiation of the illocutionary force of a statement and the propositional content used by him as the basis for classification of speech acts allows him to reveal the weaknesses of Austin's taxonomy and to offer an alternative taxonomy [10. P. 7–16]. What are the criteria by which we can tell, of three actual utterances, that first is a report, the second-a prediction and the third-a promise? Searle answers that in order to develop higher-order genera, we must first know how the species of promising, predicting, reporting, etc. differ one from another. He attempts to answer that question by discovering that there are several quite different principles of distinction, that is, there are different kinds of differences that enable us to say that the force of this utterance is different from the force of that utterance. Searle notices that "the most important weakness of the taxonomy is simply this: there is no clear or consistent principle or set of principles on the basis of which the taxonomy is constructed" [Ibid. P. 8]. Another source of confusion relates to the tendency to mix illocutionary verbs with the types of illocutionary acts¹. Searle points out that two nonsynonymous verbs, there is no need to describe them as two different illocutionary acts. His diagnosis is that:

[T]here are (at least) six related difficulties with Austin's taxonomy; in ascending order of importance: there is a persistent confusion between verbs and acts, not all the verbs are illocutionary verbs, there is too much overlap of the categories, too much heterogeneity within the categories, many of the verbs listed in the categories do not satisfy the definition given for the category and, most important, there is no consistent principle of classification [Ibid. P. 9].

Searle wants to maintain a clear distinction between illocutionary verbs and illocutionary acts, because illocutions are a part of language as opposed to particular languages. But illocutionary verbs are always a part of a particular language: French, German, English, etc. The differentiation of illocutionary verbs and illocutionary acts serves as the basis of Searle's research strategy. I do not think that Searle's taxonomy is better than Austin's is. Perhaps, Searle thinks at Austin's classification as a rigid instrument of analysis. But he is wrong. If we interpret Austin's "classes" not as rigid sets, but as more flexible types, which overlap, have no clear boundaries, and can be mixed in order to generate hybrids, we get to think that Searle's objections misses the point (see [11]). Austin clearly knows that is impossible to create sharp distinctions on illocutionary profiles without "oversim-

¹ Searle notes: "[S]ome verbs, for example, mark the manner in which an illocutionary act is performed, for example 'announce'. One may announce orders, promises and reports, but announcing is not on all fours with ordering, promising and reporting. Announcing, to anticipate a bit, is not the name of a type of illocutionary act, but of the way in which some illocutionary act is performed. An announcement is never just an announcement. It must also be a statement, order, etc." [10. P. 8].

plifications". However, Searle offers three "significant" dimensions as the basis for his classification of speech acts: the illocutionary purpose, the direction of fit, and the condition of sincerity. This provides, as he claims, the opportunity to prove the existence of the following "basic" illocutionary acts instead of illocutionary verbs: *representatives*, *directives*, *commissives*, *expressives*, and *declarations* [10. P. 10–14].

The application of analysis of the speech act theory to the utterance of some legal sentences shows that the uniqueness of legal discourse cannot be studied without exploiting certain analytical tools, and without the need to assume a special meaning of the legal concepts and their ontological and epistemological characteristics [12. P. 4]. The most successful strategy for explaining these characteristics about the legal concepts is Hart's ascriptive approach, presented in the article "The Ascription of Responsibility and Rights" [7]. The speech act analysis was Hart's starting point for the elaboration of his legal antireductionism (he consistently held that legal language cannot be reduced to non-legal language and that legal terms are not descriptive), and it is commonly noted that since this early approach his jurisprudence "moves gradually away from its emphasis on speech acts" [13. P. 171]. Indeed, as T. Cole correctly claims "reading Hart in the context of Austin provides genuine insight into the true nature of Hart's own work" [12. P. 16].

Hart noted that in legal language, there is a contradiction between the epistemology of descriptive utterances, which describe facts about an act that can be confirmed by observations, and the epistemology of ascriptive utterances, which cannot be confirmed because it is impossible to state the epistemic question of truth/falsity. In his own words:

My main purpose <...> is to suggest that the philosophical analysis of the concept of a human action has been inadequate and confusing, at least in part because sentences of the form "He did it" have been traditionally regarded as primarily descriptive whereas their principal function is what many venture to call ascriptive, being quite literally to ascribe responsibility for actions much as the principal function of sentences of the form "This is his" is to ascribe rights in property <...>. the logical peculiarities which distinguish these kinds of sentences from descriptive sentences, or rather from the theoretical model of descriptive sentences with which philosophers often work, can best be grasped by considering certain characteristics of legal concepts, as these appear in the practice and procedure of the law rather than in the theoretical discussions of legal concepts by jurists who are apt to be influenced by philosophical theories" [7. P. 145].

For Hart, statements ascribing actions are characterized by being "defeasible"; he thereby extends to the sphere of action features that, in his view, belong to legal concepts. He thinks that legal concepts cannot be given precision by specifying a number of conditions that are necessary and jointly sufficient for the validity of the concept. In his opinion, for the definition of a legal concept, one needs a (necessarily open) list of exceptions, or negative circumstances, that exclude the application of the concept or stipulate that it be applied in a more moderate or partial form. Like Austin, Hart tries to find out significant (generally grammatical) characteristics of the ascriptive utterances and points out that:

[B]y the utterance of such sentences, especially in the present tense, often do not describe but actually perform or effect a transaction; with them an individual can claim proprietary rights, confer or transfer such rights when they are claimed, recognize such rights or ascribe such rights whether claimed or not, and when these

words are so used they are related to the facts that support them much in the same way as the judge's decision. These sentences, especially in past and future tenses, have a variety of other uses not altogether easy to disentangle from <...> their primary use [7. P. 160].

From Hart's view, two important methodological conclusions can be supported. First, the ascription of responsibility or rights is performed by saying something; action verbs are important especially in the descriptive use of present and future tenses. Second, the ascriptive use occurs mainly in the past tense, where the verb is often both timeless and genuinely referring to the past as something distinguished from the present.

Hart's ascriptivist theory has been the subject of numerous criticisms (especially by Peter Geach and George Pitcher). It should be noted that Hart took the criticism very seriously, saying later: "There were some things which were quite useful and true in it, but I think there was a central mistake. I claimed that the statement that a person has done an action is not a description but an ascription – let's say, a way of saying it's your responsibility. And I think that's wrong" [14. P. 276]. Moreover, in the introduction to his *Punishment and Responsibility: Es*says in Philosophy of Law, Hart claims: "I have not reprinted here, in spite of some requests, my earliest venture into this field: 'The Ascription of Responsibility and Rights' <...> My reason for excluding it is simply that its main contentions no longer seem to me defensible, and that the main criticism of it made in recent years are justified" [15, P. 6]. Nevertheless, because of these brief comments, it is difficult to conclude exactly what points of ascriptivism Hart rejected, and whether he rejected them at all. But his suggestion of the ascriptive nature of statements of action can perhaps be rescued and redeveloped in a different way. The same point can be found in Duarte d'Almeida, who correctly notes that Hart's approach to the analysis of the legal language looks a little superficial because it is limited only to distinction of descriptions and ascriptions on some examples and postulation the performative character of legal utterances, disregarding research of ontological characteristics of legal terms and the speech acts connected with their use. Although Hart's terminology is occasionally imprecise, this does not preclude the substance of Hart's thesis being salvaged, independently of any confusion between "meaning" (or semantic "content") and illocutionary "force". Hart was expressly concerned with the explanation of the "functions" or "uses" of legal concepts, and his discussion is open to reconstruction in terms of not so much the semantics of legal concepts as the pragmatics of their use [13. P. 172–173].

As we have seen, according to Hart, statements of the kind "Smith did x" are not descriptive, but ascriptive statements, their primary function being the ascription of responsibility to an agent. In order to understand the implications of these assertions, we need some conceptual precision of the meaning of "ascription" and of "responsibility" (see [16]). Let us consider for a better understanding of Hart's ascriptivist theory an argument proposed by D.G. Lagier that the term "ascription" can be understood in a weak or in a strong sense [17. P. 34]. In the weak sense, "ascribing" is equivalent to answering the question "Who did x?", the difference between ascriptions and descriptions in this weak sense is the same as that between answering the question "Who did x?" and the question "What did Smith do?". In the strong sense, the ascriptive function of language is different from the descriptive function in that it implies an irreducible degree of discretion (ascription in the

strong sense is a matter of decision rather than a matter of discovery), is relative to the respective context (that is, our interest in ascribing an action to one agent or other, or to ascribe one action or other to some agent, depends on the context) and is "defeasible" (that is, ascriptions are *prima facie*).

The approach proposed by J. Feinberg can help clarify the distinction between weak and strong senses of the term "ascription". He examines a variety of notions of ascription and responsibility and distinguishes: 1) ascription of a causal relationship, 2) ascription of causal agency, 3) ascriptions of simple agency, 4) imputations of fault, and 5) ascription of strict liability [18. P. 144-147]. Once these five cases have been distinguished, we recognize that there is always some sense of "responsibility" and some sense of "ascription" for which it is true that statements of action ascribe responsibility, and there are four cases in which ascriptions in the strong sense are made. There is no doubt about those cases where a blameworthy action, or responsibility in the strict sense, is ascribed to someone (in these cases, there is an evaluation of the action and a decision about whether or not a sanction should be imposed). But all the other cases may raise doubts. Feinberg holds that there is also an ascription in the strong sense when we ascribe only causal responsibility or causal agency to an agent, because to determine the cause of some outcome is not merely a descriptive question: from a number of different events, all of which are necessary or contributing conditions of the effect, one must be chosen as the cause [19. P. 39]. This choice is a matter of decision (that is, it has an irreducible degree of discretion), it is contextual, and it is revocable. The only case where there is no ascription in the strong sense is that of the ascription of simple agency. The standard example is bodily movement: we just move our fingers [18. P. 147]; we do not have to do anything to cause our fingers to move. When we ascribe simple acts to people, we are making ascriptions of simple agency.

Searle offers three significant dimensions as the basis of the classification of speech acts: illocutionary purpose, direction of fit between words and the world, and sincerity condition. These dimensions according to an ascriptive justify introducing of the illocutionary act, a new speech act – namely, the ascriptive speech act – to the taxonomy (see [20]). For instance, a such *prima facie* descriptive sentence "I declare the war" uttered by the President is the good example of an ascriptive, because there are speaker with the official position, particular group of listeners (i.e. population of the country), ascriptive illocutionary purpose as well as the propositional content of the illocution indicates the obligation to do or to follow a certain line of conduct, the direction of fit is a world-to-words (something is changing), and listeners have to do some actions or to follow a certain line of conduct. Thus, it is possible to demand that *an ascriptive* is a distinct illocutionary act with special characteristics and to claim the introduction of the new unit in the current taxonomy of speech acts.

References

- 1. Hart, H.L.A. (1983) Essays in Jurisprudence and Philosophy. Oxford: Clarendon Press.
- 2. Hart, H. L. A. (1961) The Concept of Law. Oxford: Clarendon Press.
- 3. Bix, B. (1996) Law, Language, and Legal Determinacy. Oxford University Press.
- 4. Tiersma, P. (2000) Legal Language. University of Chicago Press.
- 5. Marmor, A. & Soames, S. (2013) *Philosophical Foundations of Language in the Law*. Oxford University Press.
 - 6. Marmor, A. (2014) The Language of Law. Oxford University Press.

- 7. Hart, H.L.A. (1951) Ascription of Responsibility and Rights. *Essays on Logic and Language*. 7. pp. 145–166.
 - 8. Austin, J.L. (1962) How to Do Things with Words. Oxford: Clarendon Press.
- 9. Green, M. (2017) Speech Acts. In: Zalta, E.N. (ed.) *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. [Online] Available from: https://plato.stanford.edu/archives/win2017/entries/speech-acts/>.
- 10. Searle, J.R. (1976) A Classification of Illocutionary Acts. *Language in Society*. 5. pp. 1–23. DOI: 10.1017/S0047404500006837
- 11. Sbisà, M. (1984) On Illocutionary Types. *Journal of Pragmatics*. 1(8). pp. 93–112. DOI: 10.1016/0378-2166(84)90066-3
- 12. Cole, T. (2010) Doing Jurisprudence Historically: Interpreting Hart Through J. L. Austin. *Warwick School of Law Research Paper*. 28. pp. 1–63. DOI: 10.2139/ssrn.1715178
- 13. Duarte d'Almeida, L. (2007) Description, Ascription, and Action in the Criminal Law. *Ratio Juris*. 20. pp. 170–195. DOI: 10.1111/j.1467-9337.2007.00354.x
- 14. Sugarman, D. (2005) Hart Interviewed: H.L.A. Hart in Conversation with David Sugarman. Journal of Law and Society. 32. pp. 267–293. DOI: 10.1111/j.1467-6478.2005.00324.x
- 15. Hart, H.L.A. (2008) Punishment and Responsibility: Essays in the Philosophy of Law. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press.
- 16. Stoecker, R. (2007) Action and Responsibility: A Second Look at Ascriptivism. In: Lumer, C. & Nannini, S. (eds) *Intentionality, Deliberation, and Autonomy: The Action-Theoretical Basis of Practical Philosophy*. Aldershot: Ashgate. pp. 35–46.
- 17. Lagier, D.G. (2003) The Paradoxes of Action: Human Action, Law and Philosophy. Dordrecht, Springer.
- 18. Feinberg, J. (1964) Action and Responsibility. In: Black, M. (ed.) *Philosophy in America*. Ithaca, New York, pp. 134–160.
 - 19. Sneddon, A. (2006) Action and Responsibility. Dordrecht, Springer.
- 20. Ogleznev, V.V. (2016) Ascriptive speech act and legal language. SHS Web of Conferences. 28.

Vitaly V. Ogleznev, Tomsk State University (Tomsk, Russian Federation).

E-mail: ogleznev82@mail.ru

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 205–211.

DOI: 10.17223/1998863X/48/20

ASCRIPTIVE LEGAL LANGUAGE AND ITS ORIGINS IN THE SPEECH ACT THEORY

Keywords: ascriptive; descriptive; performative; speech acts; legal language.

This article presents H. L. A. Hart's theory of an ascriptive legal language as it has been developed in his influential paper "The Ascription of Responsibility and Rights" through the application of a methodology of the speech act theory proposed especially by John Langshaw Austin and partly by John Searle. The author proposes to retrieve Hart's theory of ascriptive statements in the face of critics by carefully analyzing the ascriptions in the context of the speech act theory and capturing their linguistic applications in the legal language, at least for some of them. Hart noted that, in legal language, there is a contradiction between the epistemology of descriptive utterances, which describe facts about an act that can be confirmed by observations, and the epistemology of ascriptive utterances, which cannot be confirmed because it is impossible to state the epistemic question of truth/falsity. From Hart's view, two important methodological conclusions can be supported. First, the ascription of responsibility or rights is performed by saying something; action verbs are important especially in the descriptive use of present and future tenses. Second, the ascriptive use occurs mainly in the past tense, in which the verb is often both timeless and genuinely referring to the past as something distinguished from the present. It is shown that Searle offers three significant dimensions as the basis of the classification of speech acts: illocutionary purpose, direction of fit between words and the world, and sincerity condition. These dimensions according to an ascriptive justify introducing of the illocutionary act, a new speech act—namely, the ascriptive speech act—to Austin's and Searle's taxonomy. The result is not the refutation of ascriptivism but rather an opportunity for a constructive modification of Hart's position. Thus, it is possible to demand that an ascriptive is a distinct illocutionary act with special characteristics and to claim the introduction of the new unit in the current taxonomy of speech acts.

УДК 340.124

DOI: 10.17223/1998863X/48/21

M.A. Weber¹

THE RELEVANCE OF PHILOSOPHICAL THEORIES OF VAGUENESS TO LEGAL INTERPRETATION

I argue for the following Irrelevance Thesis: it is irrelevant to legal interpretation which specific philosophical theory of vagueness is to be preferred. In order to establish this thesis, I give a survey over the most prominent theories of vagueness, analyse the role that vagueness plays in legal interpretation, and point out why this role is independent from whatever theory of vagueness is actually correct. I also discuss recent accounts from Scott Soames and Stephen Schiffer, who both claim to deduce norms for legal interpretation from specific accounts on vagueness.

Keywords: vagueness, legal interpretation, sorites paradox, Scott Soames, Stephen Schiffer.

1

Legal interpretation is the indispensable art of extracting from legal texts directions to decide legal cases. It is an art because legal texts, like many others, are usually not perfectly precise; it is indispensable because deciding legal cases without reasonable recourse to some common statute would almost inevitably lead to a violation of the old legal principle to treat like cases alike.

One source of imprecision in legal texts is the linguistic phenomenon that philosophers call *vagueness*. Roughly, vague expressions are those that admit of borderline cases. The expression 'river', for example, is vague since there are not only watercourses that clearly are rivers and watercourses that clearly are not, but also those of which we cannot say whether they are rivers or rather brooks or runnels. It is unimportant here whether those borderline cases are actual or merely possible. Even if there actually were, due to some peculiar coincidence, only watercourses that are clearly large enough to qualify as rivers or too small to even be considered as such, 'river' would still be vague. An essential characteristic of vague expressions such as 'river' is that no further inquiry, neither linguistic corpus research nor geographical field study, could provide us with information that would enable us to categorise borderline cases unequivocally; there simply seems to be no fact of the matter regarding whether or not some borderline case of a river is a river. Hence a law that, for instance, prohibits polluting rivers is imprecise as to whether it prohi-

мы для толкования права можно вывести из конкретных позиций касательно неопределенности. **Ключевые слова:** неопределенность, толкование права, парадокс «Куча», Скот Сомс, Стивен Шиффер.

современные публикации Скотта Сомса и Стивена Шиффера, авторы которых утверждают, что нор-

¹ (рус.) М.А. Вебер. Значение философских теорий неопределенности для толкования права. **Аннотация**. Автор выдвигает и отстаивает «тезис о неуместности»: для толкования права не имеет значения, какой именно философской теории неопределенности следует отдавать предпочтение. Чтобы обосновать этот тезис, следует рассмотреть широко известные теории неопределенности, проанализировать роль, которую неопределенность играет в толковании права, и показать, почему эта роль не зависит от того, какая теория неопределенности действительно верна. Автор также обсуждает

bits polluting borderline cases of rivers as well – a fact of which legal interpreters should be aware.

Philosophers have long been puzzled by vagueness and the so-called *sorites* paradox it gives rise to (see below), and have come up with various theories to resolve the paradox and explain the nature of vagueness. As vagueness complicates the application of legal statutes to specific cases, it seems plausible that different philosophical theories of vagueness suggest different ways of interpreting legal texts. In other words, which theory of vagueness is correct *prima facie* appears to have significant effects on how judges should decide cases.

While it is certainly important for legal interpreters to understand what vagueness is, and what the differences between vagueness and similar indeterminacy phenomena are 1, I will argue in this essay that it is irrelevant to legal interpretion which specific philosophical theory of vagueness is to be preferred. In order to establish this *Irrelevance Thesis*, I will first state the sorites paradox and explain, very briefly, how the most prominent theories of vagueness attempt to deal with it (section 2). I will then analyse the role that vagueness plays in legal texts and the problems it causes; and this analysis will motivate the Irrelevance Thesis (section 3). In the literature on vagueness and law, however, several authors claim to deduce norms for legal interpretation from specific accounts on vagueness. Two recent attempts in that direction, one from Scott Soames, the other from Stephen Schiffer, will be given closer scrutiny in the second half of this essay (sections 4 and 5). My conclusion will be that Soames's and Schiffer's lines of argument do not disprove the Irrelevance Thesis.

2

The phenomenon of vagueness is closely related to the sorites paradox, or the paradox of the heap ('sorites' comes from the Greek *soros* meaning 'heap'). Imagine a million grains of sand. They obviously form a heap. Consider the principle that

- (A) If a specific number n of grains of sand forms a heap, n-1 grains of sand form a heap as well.
- (A) is certainly highly plausible: one single grain cannot make all the difference between a heap and something too small to be a heap. Applying (A) to our heap of sand, however, we can deduce that a million minus one grains of sand also form a heap. Applying (A) again, we can deduce that a million minus two grains of sand also form a heap. Applying (A) a million times, we can deduce that zero grains of sand also form a heap a preposterous conclusion, to say the least. Thus, repeated application of a highly plausible principle, (A), leads to an absurd result. This is the sorites paradox.

Possible ways to avoid the conclusion include the following. Vagueness, I said, is the potential of linguistic expressions to admit of borderline cases. Proponents of *epistemic theories* deny that there are real borderline cases at all. They argue that our inability to decide whether a some midsize accumulation of sand qualifies as a heap is not due to its being a real borderline case of a heap but due to our epistemic restrictions that make it impossible for us to find out whether or not

¹ See [1. P. 31–56], for an overview.

214 M.A. Weber

it really is a heap——although there is, according to epistemicists, a relevant fact of the matter. For instance, the world might be such that all accumulations of sand that consist of more than 231493 grains form a heap, and all accumulations that consist of 231493 grains or less do not form a heap (although we are not in the position to know this). Epistemicists differ with regard to what would determine such a fact; according to the most prominent variant, it is our use of linguistic expressions. The most important disadvantage of epistemic theories is their evident implausibility; their most important advantage is that they enable us to preserve classical logic. To see the latter, assume the sentence 'This is a heap' refers to an apparent borderline case of a heap of sand. If epistemicism is wrong, the sentence is neither true nor false, contrary to what classical logic assumes.

Defenders of *three-valued theories* bite exactly this bullet and claim that there must be, in addition to *true* and *false*, a third truth value, *neither*, that enables us to deal with borderline cases². Regarding the sorites paradox, three-valued theorists, like epistemicists, deny (A); unlike epistemicists, however, they are able to replace it by

(B) If n grains of sand form a heap, n-1 grains of sand do not form a non-heap, i.e. something that clearly is not a heap; they rather form either a heap or a borderline case of a heap.

In other words, three-valued theorists suggest that the plausibility of (A) derives from the plausibility of (B): we feel that the n-1 grains of sand must form a heap as well because we overlook the possibly of their forming a borderline heap. Once we have substituted (A) by (B), however, the sorites reasoning is blocked.

Against such a three-valued theory, one can object that it is not only plausible to suppose that there is a sharp boundary between heaps and non-heaps, but also to suppose that there are sharp boundaries between heaps and borderline heaps and between borderline heaps and non-heaps. In addition to borderline cases, there seem to be borderline cases of borderline cases (and borderline cases of borderline cases of borderline cases, and so on *ad infinitum*). This is the phenomenon of *higher-order vagueness*, which is not adequately accounted for by three-valued theories.

Advocates of *degree theories* seek to make up for this disadvantage by postulating not three but uncountably many truth values, which we can identify with the real numbers in the closed interval from 0 to 1, where 1 is to be thought of as *true* and 0 as $false^3$. We can then ascribe truth values whose difference is close but not equal to 0 to propositions like those that n grains of sand form a heap and that n-1 grains form a heap. In doing so, we allow for a much smoother transition of truth values as reflected in (B), but still escape the sorites reasoning (we still deny (A)). There are, however, two major disadvantages: it is counterintuitive that there should be so many truth values; and it is counterintuitive that there should be sharp boundaries between definite heaps (truth value 1) and less than definite heaps (truth value <1) and between definite non-heaps (truth value 0) and less than definite non-heaps (truth value >0).

¹ The most prominent variant of epistemicism is defended in [2]; for a different variant, see [3].

² See e.g. [4] for a particular implementation of this idea.

³ For different variants of degree theories see [5] and [6].

Perhaps the most popular answer to the sorites puzzle is *supervaluationism*, a specific three-valued theory¹. Supervaluationists hold that if something is a heap according to every reasonable precisification of the vague expression 'heap', it truly is a heap; if it is a non-heap according to every reasonable precisification of this expression, it truly is a non-heap; and if it is a heap according to some but not all reasonable precisifications, it is a borderline case of a heap. Here, a reasonable precisification is a way of classifying borderline cases as either cases of application or non-application by drawing a sharp boundary at some arbitrary point of the borderline area. As (A) is wrong according to each such precisification, (A) is considered to be wrong simpliciter, so that we avoid the absurd conclusion of the sorites argument. However, there is no smallest possible heap, that is, there is no n such that n grains of sand form a heap and n-1 do not. For each precisification fixes the boundary at a somewhat different location, so that it is not true of any n that it is the smallest number of grains in a heap. As a result, while (A) is false (and (B) as well), we do not have, according to supervaluationism, a sharp boundary between a heap and a non-heap.

Contextualism offers a completely different strategy. In one context, for instance, 231493 grains of sand may be rightly said to form a heap, and in another not. Contextualists hold that such context shifts even occur while one considers a sorites series². If one takes 231493 grains to form a heap, one should reason, given (A), that 231492 grains also form a heap. However, when one goes on to the next step in the chain of arguments that together establish the absurd conclusion, one is not forced, according to contextualism, to assume as a premise that 231492 grains form a heap, because one can take the context to be slightly different now.

The sorites paradox is certainly the most fascinating and colourful problem that vagueness induces. But this does not mean that vagueness is always soritical. Whether an object is a borderline case of some vague expression need not depend on one or more definitely identifiable dimensions (such as the number of grains) along which one can vary size or number; it may instead depend on how similar this object is to paradigm cases of the relevant kind, that is objects to which the expression clearly applies. To give but one example: whereas such different activities as football and Scrabble are both perfect examples of games, we can easily imagine procedures that are borderline cases of games; and there is no meaningful sorites series that links such procedures to football or Scrabble or any other paradigm game³.

3

Let us return from this overly brief survey of philosophical theories of vagueness to legal interpretation again and note that, for several reasons, legislators should not in general avoid using vague expressions in legal texts. Most importantly, legislators can use vague terms to delegate power to the courts by enlarging their scope of discretion. For example, if instead of specifying a definite speed limit, the law only prescribes that people should drive at a reasonable rate of speed, it effectively puts it in the hands of police officers and courts to decide whether or

¹ The *locus classicus* for supervaluationism is [7].

² See [8] for such a theory.

 $^{^{3}}$ In [9 . 7 P. 189–196], I analyze this non-soritical kind of vagueness – which Alston seems to have in mind when he speaks of combinatory vagueness [10. P. 219] – in greater detail.

216 M.A. Weber

not a particular driver should be ticketed. This in turn may be advantageous because it often depends on the details of a specific case whether something is harmless and should be tolerated (the same speed may be reasonable in sunshine but not in a snowstorm); and as these details are only known to the officials who have to decide the case but not to the legislators, giving more discretion to the officials may lead to better verdicts.

As a welcome side effect, we would get people to engage in practical deliberation. For instance, if there were no precise speed limit, people would be forced to consider which particular speed is reasonable in a specific situation and hence, so the hope goes, would drive more sensible than when they are guided by some official speed limit.

Other values of vagueness include that vagueness allows for a faster development of intentions, and that it helps to avoid decision costs. Here is one example for both: Assume that the state wants to regulate the output of some toxic chemical, and that there are, up to now, no scientific studies available concerning the output of which quantity is safe. By passing a vague law, which forbids the output of, say, 'a dangerous amount' of this chemical, lawmakers would clarify their intention and in fact restrict the output of the chemical, even if they are not, or not yet, able to specify the quantity that is in fact dangerous. They would leave this for future research, and, in doing so, would also avoid the costs, both pecuniary and procedural, to determine an appropriate and non-arbitrary threshold value ¹.

Although legislators may have good reasons to use vague terms in law texts, judges and courts face a problem when they are confronted with such vagueness: what should they do in borderline cases? Timothy Endicott illustrates the scope of this problem by his famous example of the million raves [1. P. 57]. Imagine a law that prohibits playing music in public at a volume that causes serious distress to the local residents. Imagine further one million rave organizers, who all played the same music under the same conditions, but at different volumes. The first played it incredibly loud, so that it clearly caused distress to the neighbours. The second played it imperceptibly less loud then the first, the third imperceptibly less loud then the second, and so on to the one millionth rave organizer, who played the music at a barely audible volume that clearly annoyed nobody. If all these rave organizers are charged with violating the law, who should be convicted and who should be acquitted?

Given that the first rave organizer should obviously be convicted and the one millionth obviously be acquitted, it appears reasonable for a judge to arbitrarily determine a specific volume that lies somewhere in the borderline area of distressing loudness and convict all those who played music louder than this. As a consequence, however, there are two rave organizers who play music at an almost identical volume, one of which is convicted and the other acquitted. Hence, the principle to treat like cases alike is violated.

The example also shows why resolution principles fail. Resolution principles such as 'the plaintiff cannot succeed in a case in which the application of the law is indeterminate' are supposed to give guidance in borderline cases. Yet because of higher-order vagueness, there is no fact of the matter as to where clear cases end and borderline cases begin. In the case of the million raves, there is no determinate

¹ See e.g. [11] for an overview over the functions that vagueness has in law.

borderline area of illegal raves, so that it is indefinite in which cases we should apply a resolution principle that tells us how to handle borderline cases. As Endicott outlines, the failure of resolution principles indicates that there is, contrary to what Dworkin's famous *right answer thesis* implies, no single right answer concerning how a judge should decide the one million rave cases [1. P. 63–72].

I am citing the case of the million raves as well as the functions vagueness may have in legal texts in order to point out an essential difference between philosophical and legal concerns with vagueness. From a legal point of view, we are concerned with how we should deal with vagueness. Legislators should be conscious of potential sources of indeterminacy in general and vagueness in particular, and should use vague language deliberately to the extent they want to give discretion to the courts; judges should be careful to notice where they are purposefully or unintentionally given room for discretion and use it to decide cases in a sensible and fair manner. Moreover, both legislators and judges should be aware that, due to the pervasiveness of vagueness in natural languages, it is virtually impossible to guarantee that the law always determines what a court should do in specific cases.

From a philosophical point of view, we are interested in which theory of vagueness works best; that is, which theory balances costs and benefits in the best possible way. Is it worth abandoning classical logic in order to save principle (A), or some variation of it? Which theory can handle higher-order vagueness in a convincing way? How central is the role of the sorites paradox for the philosophical analysis of vagueness? Whatever the answers to such and similar questions are, they do not affect our usage of vague terms; they merely explain it. Theories of vagueness such as supervaluationism or contextualism are not normative: they do not prescribe or recommend any specific way of acting. In contrast, what a court should do in case of indeterminacy (that is, if there is no single right answer in a specific legal case, even if all relevant laws, principles, policies etc. have been taken into account) is a normative question; among other things, the usage of vague terms in legal texts must be brought into agreement with the way they tend to be interpreted by judges and legal scholars. The normative question that arises in legal contexts cannot be answered by the purely descriptive solutions philosophical theories of vagueness have on offer. This is the reason why the latter are irrelevant to legal interpretation.

As we have seen, a judge who is confronted with the million rave cases has to make an at least partially arbitrary decision: she has to draw a line between cases that contravene the law against playing loud music in public and those that do not. Although the series of the one million raves is structurally similar to a sorites series, philosophical solutions to the sorites paradox are of no help to the judge. Assume, first, that epistemicism is correct and that there is, contrary to appearance, one right answer as to where the line should be drawn. As this answer cannot be known, however, all that even a philosophically informed judge can do is to draw the line where it appears most appropriate (but see also section 4). Assume, second, that three-valued theorists are right and that it is neither true nor false of some rave organizers that they broke the law. Given legal bivalence – the fact that laws are taken to either apply or not apply, actions to be either legal or illegal, defendants either guilty or innocent – judges always have only two options ¹. Thus, even when

¹ For arguments in favour of mitigating legal bivalence see the recent work of Kolber, in particular [12] und [13].

218 M.A. Weber

confronted with what appears to be a clear borderline case of a law-breaking rave organizer, our judge has to either convict or acquit him; and again, she should choose the option that she deems most appropriate. The same holds if we assume, third, that degree theories are right, or forth, that supervaluationism is correct. In both cases, the judge cannot profit from how those theories interpret the occurrence of borderline cases, because she is not allowed to neither convict nor acquit any rave organizer. Things appear slightly different if we, fifth, assume contextualism. The judge could then at least cite a context shift as a justification for treating two adjacent cases unalike. However, as contextualism does not provide more information than other theories as to where exactly the line should be drawn, and can just as little as those theories contribute to upholding the principle that like cases are treated alike, it is just as irrelevant for lawyers whether it is true.

In a similar fashion, which theory of vagueness is true is irrelevant for legislators who consider using vague terms for the purposes described above. What might make the use of vague terms advantageous is nothing more special than their vagueness; it is not, for example, the potential fact that vague statements are neither true nor false, or that their truth is context-dependent.

These considerations establish my Irrelevance Thesis, according to which it is irrelevant to legal interpretion which specific philosophical theory of vagueness is to be preferred.

What is *not* irrelevant for legal contexts is what characteristics vagueness has and what problems it generates. It is easily possible for a philosophically informed legal scholar such as Endicott to argue on the basis of a sorites-inspired series of very similar cases that, given legal bivalence, judges cannot in general decide like cases alike (and it is possible to use this, as Kolber does, in an argument to the point that vagueness suggests abandoning legal bivalence). Or we can, as again Endicott shows, use the phenomenon of higher-order vagueness in an argument against Dworkin's single right answer thesis. I myself use the (not uncontroversial) fact that vague terms in our natural languages are generally non-soritically vague to argue that if lawmakers wish legal language to be in line with natural language, they should avoid precisifying ordinary vague expressions-they should then, for instance, abstain from defining a child as a person who is not older than, say, fourteen, even if they make repeated use of the expression 'child' in their texts (see [9]). All these vagueness-based and law-affecting arguments are in perfect accordance with the Irrelevance Thesis, since they make only use of general features of the phenomenon of vagueness, but not of particular philosophical accounts to this phenomenon.

4

In his 2012 paper *Vagueness and the Law* [14], Scott Soames argues that lawmakers can only make use of the power-delegating function of vagueness if the epistemic theory of vagueness (as described by Williamson in [2]) is wrong. As Soames's thesis links a specific theory of vagueness with a particular way of dealing with it in legal contexts, it presents, if true, a counterexample to my Irrelevance Thesis. But is it true?

Soames stresses the importance of delegating power to courts: courts are sometimes better positioned to decide cases, since they know the specific contexts of the cases and can thus easier assess whether a certain action is in accordance

with the rationale of the law. As an illustration, Soames cites Hart's famous example of the rule *No vehicles in the park!* and lets us imagine two scenarios. In the first one, traffic noise and air pollution caused by cars and motorcycles affect the quality of the park visitor's recreation experience. In the second scenario, overcrowding caused several accidents in the past involving motorcycles, bicycles, and pedestrians. Plausibly, officials should decide that such borderline cases of vehicles as bicycles or skateboards fall under the ban for vehicles only in the second but not in the first scenario, because bicycles, skateboards etc. cause harm only in the second scenario and should therefore be prohibited only there. As the rule *No vehicles in the park!* is by itself indeterminate about whether e.g. bicycles or skateboards are included as well, it enables officials to regard them as vehicles in one scenario but not in another, depending on what is reasonably required in the particular circumstances. Or so Soames thinks.

More generally, it appears that lawmakers should – and in fact do – use vagueness in statutes and constitutional clauses to put courts in the position to utilize their extra knowledge. According to Soames, this way of proceeding is in perfect harmony with what he calls the 'partial-definition/context-sensitive theory' of vagueness (henceforth the PD/CS theory; we need not bother ourselves with the details of this theory here and can simply regard it as a specific variant of a three-valued theory); if, to the contrast, epistemicism is true, lawmakers cannot use vagueness to enlarge the courts' scope of discretion. Therefore we seem to have the following interdependence: On the one hand, philosophical arguments for or against the epistemic theory have effects on what lawmakers could do with vagueness; on the other hand, the alleged empirical fact that lawmakers indeed regard it as valuable to be able to delegate power to the courts by using vague language is a reason for us to consider the epistemic theory wrong.

From what Soames writes, we may distinguish two different reasons for his claim that epistemicism does not allow us to delegate power by using vague terms in the same way as, for instance, the PD/CS theory¹. The first reason is that epistemicists, as they believe that there is a determinate and context-independent boundary, must reject context-sensitivity, whereas PD/CS theorists believe that the context of an utterance can sometimes help to remove at least part of the vagueness of an expression (this is the 'CS' in 'PD/CS'). Hence, PD/CS theorists can, but epistemicists cannot, reasonably be of the opinion that, due to their knowledge of the relevant contexts, courts are better positioned to decide cases.

This reason overlooks that courts are better positioned not (or not only) because they can interpret vague expressions better, but (also) because it is easier for them to assess how the intentions of the lawmaker could best be fulfilled in legally indeterminate cases. In the vehicles case, it is not the context-sensitivity of the word 'vehicle' that puts the judges in a better position than the lawmakers, but their knowledge of what is required in a specific situation. Even if the word 'vehicle' had the same borderline cases in every context, judges would still be in a better position to further the rationale of the law.

Soames's second reason is that he takes the range of cases within which courts can exercise discretion to be smaller if epistemicism holds. This is because epistemicists, who believe that there always is a linguistic fact of the matter as to

¹ In addition to this claim, there are several assumptions, some of them implicit, that underlie Soames's argument. See [15] for an overview as well as an extended discussion of one of them.

220 M.A. Weber

whether some predicate does or does not apply to an object, first have to exhaust all available linguistic evidence before they are allowed to base their decision on whatever appears to be the rationale of the law, whereas PD/CS theorists, who believe that linguistic evidence is normally insufficient to determine whether a specific vague expression applies to an alleged borderline case (this is the 'PD' in 'PD/CS'), can in general directly draw on the rationale of the law to determine what to do in an alleged borderline case. Soames seems to think that epistemicists, but not PD/CS theorists, must acknowledge that the linguistic evidence enables judges to categorize, in an uncontroversial way, at least some of the cases that appear to be borderline as either cases of application or cases of non-application. For instance, while both bicycles and skateboards may be regarded as borderline vehicles, bicycles appear to be more similar to paradigm cases of vehicles than skateboards, which suggests that we should take them to be vehicles *tout court* (according to Soames). As a consequence, they should be banned in both of our scenarios.

Soames thus believes that if there is a sharp boundary, even if it is of unknowable location, the range of cases that appear to be borderline even after close examination is somehow smaller than otherwise. I believe this is a confused understanding of what a borderline case is. With regard to apparent borderline cases of a vague expression, we are in no position to tell whether this expression does or does not apply to them. The reason might either be that we cannot find out what the fact of the matter is (as epistemicists suppose), or that there is no fact of the matter (as other theorists assume). Yet even if we assume that epistemicism is true, it does not follow from this characterization that borderline cases that are located near one end of the borderline area – the 'application end', say – are likely to fall under the expression, whereas other borderline cases located near the other end of the borderline area are likely not to fall under it. To deduce this, we had to assume, first, that we can localize the borderline area sufficiently well, and second, that each admissible precisification of the vague expression is equally likely to be correct. But we have no reason to consider the second proviso true, and higher-order vagueness suggests that the first is false.

Endicott's case of the million raves may serve to illustrate my point. For one thing, it is as hopeless to determine the borderline area of cases that cause distress to the local residents as it is to determine a sharp cut-off point. In particular, when we fix on one case that appears to be borderline, we just cannot say whether it is closer to the one or closer to the other end of the borderline area. What we can say is that a borderline case in which the music is played slightly louder than in another borderline case is closer to a clear case of an illegal rave than this other case. But we cannot deduce from this that the first borderline case is close to clear cases of violation of the law. Similarly, in Soames's example, even if bicycles are really more similar to paradigm vehicles than skateboards, they might still be more similar to paradigm non-vehicles than to paradigm vehicles. Higher-order vagueness prevents us from justified judgements to the point that they are almost vehicles.

For another thing, suppose we had, *per impossibile*, idenitified a borderline area of exactly one thousand raves. What reason do we have to suppose, for instance, that the one hundred loudest of them are probable cases of violation of the law as well? This would be the case if each of the thousand raves had an equal probability of being the first legal one. But we cannot assume this without further

argument. It might easily be that it is, for some funny reason, much more likely that the first legal rave is one of the ten (or five, or two) loudest borderline cases than one of the following 990 (or 995, or 998).

I conclude that Soames's argument for the thesis that epistemicists cannot make use of the power-delegating function of vagueness in the same way as PD/CS theorists can is not sound. Even if there is a sharp but unknowable boundary, this does not have any consequences for the way lawmakers or judges could deal with borderline cases. Not knowing where the boundary is located is, for all practical purposes, the same as assuming that there is none.

5

Stephen Schiffer originally maintained, in his 2001 paper A Little Help From Your Friends? [16], what I have called the Irrelevance Thesis. Although he convincingly defends the arguments he gave there in his 2016 paper Philosophical and Jurisprudential Issues of Vagueness [17] against Kent Greenawalt's objections (see [18]), he suggests 'that there is a way technical philosophical work on vagueness may be relevant to understanding what judicial interpretation can and can't be' [17. P. 30]. Schiffer then sketches a theory of meaning that is motivated, among other things, by observations on vagueness, and argues that a specific doctrine of legal interpretation, namely textualism, is hardly compatible with this theory of meaning and should therefore be abandoned.

The type/token distinction is essential to Schiffer's theory of meaning. If I utter the sentence 'The rain is beating on the windows' when I am in Paris, and later utter the sentence 'The rain is beating on the windows' when I am in Dublin, have I then uttered the same sentence twice? Yes and no. I uttered the same sentence type in Paris and in Dublin, but I uttered different sentence tokens. A sentence token is one concrete utterance, by word or letter, of a sentence; it normally consists of sound waves or dispersions of ink on paper. A sentence type, on the other hand, is an abstract object of which a token is an instantiation. Talk about sentence identity is ambiguous between talk about type identity and talk about token identity. (The same holds mutatis mutandis if we consider not sentences but other objects).

To further complicate matters, there is an intermediate category. In a way, the sentence 'The rain is beating on the windows' on the last page of my copy of Beckett's *Molloy* is the same sentence token as the sentence 'The rain is beating on the windows' on the last page of your copy of Beckett's *Molloy* – in contrast to the sentence 'The rain is beating on the windows' in the first line of the second chapter of my copy of *Molloy*, which clearly is a different token of the same type. However, as different copies of a book are different tokens of the same abstract book type, a specific sentence that occurs at the same location in each copy is, as a part of an abstract object, itself abstract, and thus only a *semi-token* (as I will call it here for simplicity's sake).

Different tokens of the same sentence type need not have the same truth value; it might have rained in Paris but not in Dublin. Similarly,

(C) Different tokens of a vague expression need not give rise to exactly the same borderline cases.

For instance, when some park official uses the word 'vehicle' in Soames's first scenario, it probably has different borderline cases than when an official uses

222 M.A. Weber

it in Soames's second scenario. (Different semi-tokens, however, always have the same borderline cases.) Moreover,

(D) Speakers and their audiences do not know what exactly the borderline cases of a specific vague expression's token are, or what determines them.

It follows from the observations (C) and (D), according to Schiffer, that only tokens and semi-tokens but not types of sentences that contain vague expressions can be said to have a definite meaning.

(C) and (D) together pose a problem for textualism. *Textualism* (or *originalism*, as it is called when applied to constitutional interpretation) holds 'that jurists should take the law promulgated by a text to be determined by, and only by, "the meaning the text had when it was created" [17. P. 41]; the part that Schiffer put in quotes refers to similar formulations by Scalia, the major proponent of textualism; see e.g. [19] and [20]. Alternatives to textualism hold that, for example, moral norms, policy principles or the meaning the text has at the time of interpretation should be considered as well. What makes textualism more problematic than these alternatives (or at least those of them that do not refer to *the* meaning of a text) is that if textualism is to have any chance of being correct, 'the meaning the text had when it was created' must refer to the propositional content expressed by the sentence tokens produced by the authors of the texts (in the extended sense of 'token' [referred to as 'semi-token']), and that is a content that is constrained but never determined by the meanings of the tokened sentences. [17. P. 42.]

As passages in legal texts that are difficult to interpret often contain vague expressions, and as it follows from (C) that only the tokens and semi-tokens of sentences containing vague expressions can be said to have a definite meaning, the prase 'the meaning the text had when it was created' can only refer to such a token or semi-token. Because of (D), however, we cannot extract from the relevant tokens and semi-tokens the exact location of the borderline area of some relevant vague expression. Hence it is not reasonable to regard 'the law promulgated by a text to be determined by, and only by, "the meaning the text had when it was created".

As Schiffer correctly concedes, we do not need (C) and (D) in order to see that textualists rely on an unduly naive understanding of meaning, according to which the exact wording of a law statute plus some knowledge about the historical development of the relevant concepts determines what verdict should be given on a legal issue. He emphasizes, however, that (C) and (D) should make us recognize the extent of legal indeterminacy with which judges would have to cope if textual-lism were the relevant doctrine of legal interpretation [Ibid. P. 45].

I am not sure whether this last claim is incompatible with the Irrelevance Thesis at all. Be that as it may, I want to stress – and maybe Schiffer would agree – that whether or not textualism is a plausible doctrine does not in any way depend on whether or not Schiffer's theory, according to which tokens are the primary bearers of meaning, is right. For assume that textualism were true. In deciding whether or not a certain law applies to a specific case, a judge then has to concentrate on 'the meaning the text (of this law) had when it was created' and hence relies on her competence as a speaker and her knowledge of the historical developments of the relevant concepts. If she forms the opinion that the law clearly applies or clearly

¹ We assume here, as Schiffer does, that epistemicism is false.

does not apply, she should decide accordingly; if she remains unsure, all that she can do is invoke other reasons on which she could base her decision. Nothing in this story hinges on whether or not she acknowledges Schiffer's theory of meaning. If Schiffer is right, textualists will probably be surprised by how often focussing on the meaning of the text does not yield a clear verdict; and Schiffer's theory could explain to them why this is the case. Put differently, legal practitioners encounter a phenomenon, namely the troubles to unanimously identify the meanings of texts containing vague expressions, that requires both explanation and a way to deal with it. It is the apparent occurrence of the phenomenon, and not Schiffer's explanation of it, that shows that textualism is of restricted applicability, and this in turn can be used as an argument against textualism in general. The presumed explanation for the phenomenon, on the other hand, neither implies whether or not lawmakers and judges should agree to follow a restricted version of textualism – that is, focus primarily on what they take to be the original meaning of a legal text and invoke other principles and methods of interpretation only if this does not help to decide the case—nor what other principles and methods should play a major role in legal interpretation. What holds for theories of vagueness holds for theories of meaning as well: they only explain linguistic phenomena, but do not suggest specific ways of using words or interpreting vague expressions.

References

- 1. Endicott, T. (2000) Vagueness in Law. Oxford: Oxford University Press.
- 2. Williamson, T. (1994) Vagueness. London: Routledge.
- 3. Sorensen, R. (1988) Blindspots. Oxford: Clarendon Press.
- 4. Tye, M. (1994) Sorites paradoxes and the semantics of vagueness. In: Tomberlin, J. (ed.) *Philosophical Perspectives*. 8. pp. 189–206.
- 5. Machina, K.F. (1976) Truth, belief, and vagueness. *Journal of Philosophical Logic*. 5(1). pp. 47–78.
- 6. Edgington, D. (1997) Vagueness by degrees. In: Keefe, R. & Smith, P. (eds) *Vagueness: A Reader*. Cambridge (MA): MIT Press. pp. 294–316.
 - 7. Fine, K. (1975) Vagueness, truth and logic. Synthese. 30(3–4). pp. 265–300.
- 8. Raffman, D. (1994) Vagueness without paradox. *The Philosophical Review*. 103(1). pp. 41–74.
- 9. Weber, M.A. (2016) The non-conservativeness of legal definitions. In: Keil, G. & Poscher, R. (eds) *Vagueness and Law*. Oxford: Oxford University Press. pp. 189–203.
- 10. Alston, W.P. (1967) Vagueness. In: Edwards, P. (ed.) *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan. pp. 218–221.
- 11. Poscher, R. (2011) Ambiguity and vagueness in legal interpretation. In: Solan, L. & Tiersma, P. (eds) Oxford Handbook on Language and Law. Oxford: Oxford University Press. pp. 128–144.
 - 12. Kolber, A.J. (2014) Smooth and bumpy laws. California Law Review. 102(3). pp. 655-690.
- 13. Kolber, A.J. (2016) Smoothing vague laws. In: Keil, G. & Poscher, R. (eds) *Vagueness and Law*. Oxford: Oxford University Press. pp. 275–295.
- 14. Soames, S. (2012) Vagueness and the law. In: Marmor, A. (ed.) *The Routledge Companion to Philosophy of Law.* New York: Routledge. pp. 113–126.
- 15. Asgeirsson, H. (2016) Can legal practice adjudicate between theories of vagueness? Keil, G. & Poscher, R. (eds) *Vagueness and Law.* Oxford: Oxford University Press. pp. 95–125.
 - 16. Schiffer, S. (2001) A little help from your friends? Legal Theory. 7(4). pp. 421-432.
- 17. Schiffer, S. (2016) Philosophical and jurisprudential issues of vagueness. In: Keil, G. & Poscher, R. (eds) *Vagueness and Law*. Oxford: Oxford University Press. pp. 23–48.
- Greenawalt, K. (2001) Vagueness and judicial responses to legal indeterminacy. *Legal Theory*, 7(4). pp. 433–445. DOI: 10.1017/S1352325201704077
- 19. Scalia, A. (1997) A Matter of Interpretation. Federal Courts and the Law. Princeton: Princeton University Press.

224 M.A. Weber

20. Garner, B. & Scalia, A. (2012) Reading Law. The Interpretation of Legal Texts. St. Paul (MN): Thomson/West.

Marc Andree Weber, University of Mannheim (Mannheim, Germany).

E-mail: marc.andree.weber@phil.uni-mannheim.de

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 212–224.

DOI: 10.17223/1998863X/48/21

THE RELEVANCE OF PHILOSOPHICAL THEORIES OF VAGUENESS TO LEGAL INTERPRETATION

Keywords: vagueness; legal interpretation; sorites paradox; Scott Soames; Stephen Schiffer.

The paper presents a careful analysis of an application of different philosophical theories of vagueness to legal interpretation. The author argues for the following Irrelevance Thesis: it is irrelevant to legal interpretation which specific philosophical theory of vagueness is to be preferred. In order to establish this thesis, we should distinguish between conceptual clarifications about the nature of vagueness and related phenomena on the one hand and various philosophical theories of vagueness on the other. With regard to many of those clarificatory matters (which the author takes to include specifications about the differences between semantic vagueness and similar phenomena such as ambiguity, generality, and pragmatic vagueness), philosophers widely agree with each other; controversies here mainly arise about how to best define different kinds of vagueness. The situation is different when we consider distinct philosophical accounts on vagueness, such as supervaluationism, contextualism, and degree theories; here, it is a matter of much controversy which theory is to be preferred. The author argues that, while knowledge of what precisely vagueness is bears importance for anyone who works with legal texts, the question of which philosophical theory can best explain vagueness has surprisingly little impact on legal interpretation. For this purpose it is necessary to survey over the most prominent theories of vagueness, to analyse the role that vagueness plays in legal interpretation, and to point out why this role is independent from whatever theory of vagueness is actually correct. The author also discusses recent accounts from Scott Soames and Stephen Schiffer, who both claim to deduce norms for legal interpretation from specific accounts on vagueness. That leads the author to the conclusion: what holds for theories of vagueness holds for theories of meaning as well, namely, they only explain linguistic phenomena, but do not suggest specific ways of using words or interpreting vague expressions.

МОНОЛОГИ, ДИАЛОГИ, ДИСКУССИИ

УДК 165

DOI: 10.17223/1998863X/48/22

В.А. Бажанов, О.А. Козина

ФЕНОМЕН ПЛАГИАТА И ЕГО ВОСПРИЯТИЕ В АКАДЕМИЧЕСКОЙ СРЕДЕ

В статье анализируется феномен плагиата под углом зрения отечественных и зарубежных ученых. Показано, что по поводу этого феномена существует целая палитра различных мнений, которая определяется пониманием природы науки и различными культурными традициями. Предлагаются рекомендации, которые целесообразно принять академическому сообществу в восприятии лиц, допустивших плагиат и / или самоплагиат, а также рецензентов, оппонентов, которые не заметили / пропустили факт плагиата в произведениях науки.

Ключевые слова: *плагиат, самоплагиат, допустимость* – не допустимость, рецензенты, оппоненты.

Оригинальность – это хорошо, зато плагиат быстрее. Джон Мёрфи

На ниве академической жизни плагиат (стыдливо называемый «некорректным или недобросовестным заимствованием») является одним из наиболее страшных грехов. Этот грех осознается в глобальном масштабе и в самой мягкой форме оценивается как мошенничество. Благодаря современным информационным технологиям он легкодоступен и кому-то, кто связан с культурой производства текстов, кажется весьма соблазнительным. В «доинтернетовскую» эпоху плагиат также, конечно, существовал. Старший автор данного материала (В.А. Бажанов) вспоминает посещение зала диссертаций Ленинской библиотеки в 1987 г., в который он приходил лишь дважды с тем, чтобы воочию познакомиться с тем, как оформляются ссылки и библиография перед тем моментом, когда диссертацию надо было отдавать машинистке, которая должна была перепечатать ее набело. В первое посещение он познакомился с общими правилами оформления, а второй раз понадобился для того, чтобы уточнить какие-то детали. Зал диссертаций был забит до предела, а люди усиленно переписывали диссертации, которые были открыты не на библиографическом описании. Плагиат тогда обычно обнаруживался случайно. Ныне же при наличии многих антиплагиатных программ роль случайности снизилась, но не стала равной нулю.

Проблема плагиата и недобросовестного исследования тревожит академический мир многих – развитых и не очень развитых – стран. Где-то, как в Китайской Народной Республике, предпринимаются меры против этих явле-

ний на правительственном уровне [1], где-то, как у нас, занимаются энтузиасты «диссернета», озабоченные состоянием этоса научного сообщества [2, 3]. Явления эти исследуются [4]. А как к ним относится наше, отечественное, научное сообщество и как воспринимается коллегами за рубежом?

Мы провели собственное небольшое исследование, в котором приняли участие коллеги самых разных специальностей из Ульяновска (большая часть), Москвы и Казани, включая некоторых членов экспертного совета ВАК по философии, социологии и культурологии. Результаты этого исследования и их осмысление излагаются ниже, но перед этим имеет смысл привести некоторые оценки и суждения наших зарубежных коллег.

Начнем с истории, которой поделился главный редактор (Ф. Паглери) престижного журнала «Тороі». В этом журнале в 2007 г. была опубликована статья, которая семь лет спустя была переиздана под иным авторством. Этот факт был случайно замечен и явился основанием для более пристального взгляда на феномен плагиата (в статье прямо говорится о плагиате без «некорректное использования стыдливого понятия заимствование»). Ф. Паглери вспоминает статью в Нью-Йорк Таймс 2010 г., в которой проводится мысль о том, что ничего не ново под луной еще с Аристотеля и Платона, таким образом, плагиат не столь уж кошмарный проступок. Однако Паглери категорически не согласен с такой умиротворяющей точкой зрения и рассуждает о недопустимости лжи, которая, вне всякого сомнения, является большим грехом, и речь здесь должна идти не просто об оригинальности (текста), а о достоинстве человека [5. Р. 2]. «Вместе с процедурами фальсификации и фабрикации результатов плагиат относится к трем смертельным грехам в науке, - считает Б. Педерс. - Хотя плагиат не затрагивает содержания научного знания, что происходит в случаях фальсификации и фабрикации, но он... подрывает саму инфраструктуру получения нового знания» [6. P. 29–30].

Плагиат подрывает доверие к коллегам, без которого не может функционировать научное сообщество, не может идти поиск истины, не может определяться репутация того или иного коллеги. Поэтому наказание за факт плагиата должно быть «максимально суровым. Между тем, по мнению Паглери, ни журнал, напечатавший плагиат, ни рецензенты, не заметившие его, не могут нести ответственность за пропуск некорректного заимствования. Более того, они более, чем иные люди, являются жертвами этого явления. Факт плагиата должен быть придан всемерной огласке, а персоне, допустившей плагиат, должен быть закрыт путь во все уважающие себя издания. Однако перед этим научному сообществу нужно провести тщательный, немеханический анализ текста, подозреваемого в плагиате, а человеку, его допустившему, должен быть дан шанс объяснить, как всё произошло [5. P. 5].

О немеханическом подходе к анализу текста, подозреваемого в плагиате, важности не только формальной, но и неформальной экспертной оценки такого текста недавно авторам этого материала также говорил Ю.В. Чехович, исполнительный директор компании «Антиплагиат».

Действительно, рецензенты не обладают даром всеведения и в принципе не могут быть знакомы со всеми работами, даже если они непосредственно касаются их интересов. Ситуацию с плагиатом можно сравнить с денежным расчетом при покупке товара. Если вы используете крупную купюру и вам

дают сдачу, то вы же не будете эту сдачу проверять на подлинность. Между продавцом и покупателем существует негласное доверие. Оно, однако, не гарантирует, что в сдаче не попадется фальшивая купюра, о которой продавец может и не подозревать. Другое дело, если продавец намеренно сдает лишь фальшивыми деньгами. В этом случае здесь должна действовать полиция, а не обманутый покупатель.

Честные исследователи – рецензенты, оппоненты, научные руководители и т.п. – вряд ли в своих коллегах подозревают или ожидают увидеть злостных плагиатчиков, тем более что, например, оппонентам дается уже отпечатанный вариант диссертации, а не ее файл, который можно проверить на плагиат. Думается, что само отношение к коллегам как потенциальным плагиаторам может быть признаком психического неблагополучия, деформирующим этические нормы научного сообщества.

Аналогичная ситуация складывается и в случае «самоплагиата»: сам автор, а не журнал и не рецензенты должен отслеживать и регулировать, какой объем уже опубликованного ранее текста может быть использован в последующих работах [7]. Бывает, что редакция журнала требует сократить текст статьи, включая ссылки на работы, которые в этом тексте упомянуты. Иногда сокращаемый текст содержит важные, с точки зрения автора, результаты. Имеет ли он право этот – уже полный – текст опубликовать в ином, не столь требовательном к объему издании? Полагаем, что в общем случае, который относится к достаточно обширным изъятиям, безусловно.

Популярная среди администраторов науки установка «публикуйся или исчезни (publish or perish)» ни в коем случае не служит оправданием плагиату [8. P. 357].

Возвращаясь к этике, напомним, что на поверхности темы – в большей степени плагиат как проблема научного этоса. Но разве только в научном сообществе?.. Как справедливо отмечает Э.Г. Баландина, «привычка к плагиату поддерживается самим характером общества постмодерна...» [9. С. 71]. Об очевидности взаимосвязи двух социальных институтов – образования и науки - говорить не приходится. Казалось бы, отсутствие мотивации, леность, безответственность и иные «параметры» студенчества, приводящие к греху плагиата, изживаемы с течением времени и возрастом. В институте же науки такой грех, по выражению и классификации Д. Мартина, именуется «грязные трюки» [10]. Ценностный сдвиг приобрел массовый характер и укоренился в обоих институтах общества. Подобные явления в первую очередь должны фиксировать специальные социологические организации, изучающие общественное мнение. Но проблема плагиата, учитывая всеобщую низкую научную грамотность и вовлечённость в процесс производства плагиата собственно науки, остаётся актуальной только для научного сообщества. О связи плагиата в вузах и в системе РАН говорится лишь в научных публикациях (например, в газете «Троицкий вариант»: статьи Я. Гилинского «Тотальный плагиат как норма российской научной жизни», 2009, № 44; В. Вяткина «Групповой плагиат: от студента до министра», 2011, № 8 и др.). Из «последних» масштабных социологических «вскрытий» можно привести только пресс-релиз исследования Левада-центра в 2013 г.: «Россияне о плагиате и шпаргалках», по которому плагиат в науке недопустим, по мнению 55% опрошенных [11], и сообщение о Совете по этике научных публикаций (29.01.2018) на сайте ВЦИОМ [12].

В Ульяновском государственном университете осенью 2018 г. было проведено пилотажное разведывательное исследование феномена плагиата в научно-академической среде посредством метода опроса (анкетирование), которое позволяет в самом общем плане оценить восприятие плагиата, выявить его оценки с позиций отношения «допустимо – недопустимо» и некоторые оттенки этого отношения. В нём на добровольной основе приняли участие преподаватели, в большинстве имеющие степень кандидата (54 человека) и доктора наук (15 человек); без учёной степени – 6 человек. Общее количество опрошенных составило 75 человек, представляющих гуманитарные, общественные, естественные и технические науки. Среди опрошенных 8% составляли члены экспертного совета ВАК по философии, социологии и культурологии.

Цель исследования — срез мнения представителей академического сообщества о различных аспектах плагиата в научных работах, а также проверка адекватности инструмента (опросного листа) на предмет выявления общественного мнения в научно-академической среде о плагиате в научных работах.

В опросный лист (анкету) вошли вопросы, разработанные на основе анализа дискурса о распространении плагиата в российской научной среде с учётом мнения ведущих специалистов и учёных — социологов, политологов, философов. Большая часть вопросов — «полузакрытого» типа, т.е. наряду с вариантами ответов присутствовала строка «другое». Анкета составлена с учётом восхождения сложности вопросов и нацелена на включение опрашиваемого в контекст (с учётом профессиональной идентичности).

По полученным результатам анкетирования можно утверждать, что опрошенные преподаватели в целом разделяют мнение о том, что сейчас плагиат — распространённое явление в научной среде (полностью согласны 17 человек, скорее согласны 55). Общая ситуация в российской научной сфере по совокупности типичных событий плагиата становится социальным фактом, открытым для научных исследований.

На вопрос «Актуальна ли для Вас проблема плагиата?» ответы распределились весьма показательно: «да» — 22 человека, «нет» — 21 человек, «это сложный и неоднозначный вопрос» — 31 человек. То есть это не означает, что плагиат актуален «здесь и сейчас» для каждого из опрошенных, но сама проблема не менее актуальна вообще для тех, кто занимается научной деятельностью, а не в «данное настоящее время» для кого-то конкретно. Поэтому вопрос об актуальности в будущих исследованиях желательно формулировать по-другому, учитывая в качестве «сейчас» определённый промежуток времени, а также с корректно сформулированными вариантами ответов в виде наиболее часто встречающихся форм плагиата. Оставлять вопрос открытым нежелательно, поскольку данный опрос показал, что большая часть строк «другое» осталась незаполненной.

62 человека согласны или склонны согласиться с тем, что плагиат — это явление, деформирующее понятие о научном знании; 10 человек этой позиции не разделяют. Данные цифры необходимо принять к сведению без интерпретации, так как вопрос был задан без соответствующих пояснений, тем не менее на фоне общероссийской ситуации понятно, что возникает угроза

имитации научного знания, что, к сожалению, может дискредитировать научное сообщество в глазах общественности.

64 человека полагают, что плагиат является фактором, нарушающим систему профессиональных ценностей в научной и академической среде, в отличие от 11 опрошенных. Это значит, что пока сохраняется приоритет профессиональной этики, хотя уже довольно распределено вполне терпимое отношение к плагиату.

Почти все опрошенные уверены в плагиате относительно чужих текстов, поскольку встречались с ним «постоянно» – 6 человек; «часто» – 23 человека; «иногда» – 45 человек. С плагиатом собственного текста «никогда» не встречались – 23 человека, «иногда» – 46, «часто» – 4, «постоянно» – 1. Вопрос «Приходилось ли Вам встречаться с плагиатом», имея в виду и свои и чужие тексты, также был задан без пояснений. Его целью было подтверждение самого факта плагиата, что мы и видим. Впоследствии желательно дифференцировать варианты на те, которые касаются собственно научной деятельности и публикаций, и те, которые можно отнести к учебной и учебнометодической деятельности. Многие учебники, например, которые используются в учебном процессе в высшей школе, можно сопоставлять не только по цитатам, но и по абзацам. Кроме того, нужно уточнять формы плагиата собственного текста для их сравнения и обобщения.

Вопрос «В какой мере Вы считаете самоплагиат (повторение собственных текстов при подготовке новых статей) допустимым?» интересен и многопланов. Полученный разброс ответов приводит к разным интерпретациям, что требует дальнейшего исследования и уточнения проблемной области. Ответы на этот вопрос таковы: «недопустим» – 7 человек, «недопустим при некоторых обстоятельствах» – 3 человека, «допустим при некоторых обстоятельствах» – 34 человека, «допустим» – 31 человек. Сам вопрос призван был дать оценку без объяснений, потому и задан слишком общо. Но 34 выбора варианта «допустим при некоторых обстоятельствах» требует уже социологического операционального вмешательства; и должная операционализация «допустимости плагиата» при введении в анкету вариантов типичных ситуаций (для начала) будет полезной при разработке мер его предотвращения. Но в пилотажном исследовании это сразу сделать сложно, поскольку на первом плане – адекватность опросного листа и контуры общего отношения к плагиату.

Ключевым и дифференцирующим в анкете был вопрос «Плагиат в научной среде: допустим, недопустим; это неизбежно», который, на взгляд авторов, размежевал академическую аудиторию на две общности: «допустим» – 2 человека, «недопустим» – 38 человек, «это неизбежно» – 34 человека. Цифры 2 и 34 близки по своему смыслу. «Неизбежность», по мнению половины опрошенных, сразу адресует к «бессмысленности» борьбы с плагиатом. Это значит, что плагиат может стать одной из социальных норм. Несмотря на то, что четвёртым вариантом была открытая строка «другое», никто из опрошенных ею не воспользовался. Можно утверждать, что вариант «это неизбежно» – это стереотипный ответ, по лёгкости воспроизведения, типичности и наиболее широкой оценке вполне устраивающий многих. Как известно, бездействие – это тоже действие, и скорее всего этот вариант – один из устойчивых показателей общественного мнения академических сообществ.

10

11

12

13

Вид интеллектуальной кражи Имитация научного исследования

Некорректное заимствование

Форма ограбления

Форма коррупции

Подделка научных результатов

Необходимый элемент компиляции текста

Сигнал о некачественной экспертизе

Вопрос-меню «Просим Вас выбрать определение плагиата, наиболее соответствующее Вашим представлениям...» содержал 14 вариантов ответов, а также открытую строку «другое». В данном вопросе можно было выбрать несколько вариантов. Результаты таковы.

The state of the s			
No	Вариант ответа	Количество голосов	
1	Присвоение чужого текста	44	
2	Присвоение чужих идей	41	
3	Текст, в котором чужой текст используется как свой	40	
4	Использование идей и/или текста без ссылки	29	
5	Присвоение чужого авторства	27	
6	Нарушение профессиональной этики	27	

26

17

15

7

6

4

2

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «Просим Вас выбрать определение плагиата, наиболее соответствующее Вашим представлениям...»

Все варианты разработаны с учётом двух групп основных акцентов: собственно «научность, содержательность» (группа 1) и соблюдение научной этики (группа 2). Данные таблицы наглядно показывают, что на первом месте — восприятие плагиата как «присвоения чужого»; согласно акценту группы 2 ему отданы 249 голосов. Видно, что большинство опрошенных единодушны в своей трактовке плагиата; плагиат — интеллектуальное воровство и нарушение этики. Акцент группы 1 — «Подделка научных результатов», «Имитация научного исследования», «Сигнал о некачественной экспертизе» (вариант относится к обеим группам акцентов) — не столь значим; ему отдано всего 24 голоса. Истолкование, напрашивающееся само собой, — угроза этике в системе ценностей научного сообщества. Но интерпретация может быть и такой: принцип доминирует над сутью, т.е. главное — правила публикации, а не её содержание. На взгляд авторов, это также угроза, но уже научному знанию: данные вполне согласуются с уже полученным результатом при ответе на вопрос о деформации научного знания (см. выше).

На вопрос «Является ли плагиат, связанный с заимствованием Вашего текста, нарушением Ваших неимущественных прав?» 37 человек ответили «да», 26 человек – «иногда», 7 человек – «нет». Этот вопрос непосредственно связан с предыдущим, что подтверждают цифры: большинство признаёт плагиат собственного текста как нарушение неимущественных прав, хотя в предыдущем вопросе и не было такого варианта ответа.

«Случалось ли, что у Вас крали Ваши идеи?»: этот вопрос, в целом выходящий за пределы пилотажного исследования, был включён в опросный лист для того, чтобы избежать узости взгляда на плагиат только как заимствование текстов. Конечно, вопрос очень сложный и касается прежде всего установок серьёзных исследователей, научной ценности и новизны результатов работы в области науки. Данные таковы: вариант «Это сложный и неоднозначный вопрос» выбрали 24 человека; вариант «Да» – 21 человек; вариант

«Нет» – 19 человек; вариант «Идеи украсть невозможно, они принадлежат научному сообществу» – 6 человек. В дальнейшем детализация и проблематизация этого вопроса могли бы поспособствовать более тщательному программному обеспечению обнаружения плагиата.

На вопрос «Считаете ли Вы полезным для развития отечественной науки и образования деятельность общества «Диссернет»?» мнения опрошенных разделились следующим образом.

№	Вариант вопроса	Распределение по вариантам ответов (количество голосов)		
		Да	Иногда	Нет
1	В части, касающейся диссертаций	35	19	13
2	В части, касающейся пропуска плагиата			
	Вашими аспирантами / соискателями	34	27	13
3	В части, касающейся пропуска плагиата, когда		25	
	Вы выступаете оппонентом по диссертации	28		17
4	В части, касающейся «дублирующих» публикаций	20	29	20

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы полезным для развития отечественной науки и образования деятельность общества "Диссернет"?»

По табл. 2 видно, что почти половина опрошенных разделяет мнение о полезности деятельности сообщества «Диссернет» в вариантах 1 и 2. Разрыв между «да» (вообще) и «иногда» в варианте 3 невелик. Многие слабо или вообще не информированы о деятельности Диссернета (поиск плагиата и других нарушений в научных работах). Об этом можно судить по вопросам типа «А что такое Диссернет?», которые задавали некоторые участники опроса. Возможно, цифры могут скрывать недоверие к сообществу на добровольных началах. В исследовании ставился вопрос только самого общего характера.

Вопрос «Считаете ли Вы, что человек, в диссертации которого обнаружен плагиат в размере более 10 / 20 / 30 / 40% текста, должен быть лишен ученой степени?» связан с вопросом «Плагиат в научной среде: допустим, недопустим или это неизбежнои отражает не только мировоззренческую позицию авторов статьи, но и тенденцию в российской науке.

 $\it Tаблица~3$. Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы, что человек, в диссертации которого обнаружен плагиат в размере более 10% / 20% / 30% / 40% текста, должен быть лишен ученой степени?»

$N_{\underline{0}}$	Содержание плагиата, %	Количество голосов		
		Да	Нет	
1	10	2	33	
2	20	6	29	
3	30	20	16	
4	40	48	8	

По табл. 3 видно, что содержание плагиата в объёме от 10 до 30% не является фактором, ставящим под сомнение учёную степень соискателя. Мнение большинства определить затруднительно (так как нужно было выбрать один вариант напротив соответствующего количества процентов), однако мнение более половины опрошенных: 40% плагиата — предел, который преступать нельзя. Если данные таблицы соотнести с предыдущим вопросом о допустимости плагиата в научной среде, то для 38 (из 48) человек это «недо-

пустимо». Но нельзя не учитывать, что определённый процент неоригинальности текста могут составлять необходимые корректные заимствования, без которых весьма проблематично определить место изысканий в структуре приращения научного знания. Вопрос неоднозначный, поскольку касается не менее сложного вопроса новизны научных результатов и специфики сфер научной деятельности. По крайней мере, видно, что проблемным диапазоном, исходя из мнения опрошенных, является объём плагиата от 30 до 40% в научной работе.

Вопрос «Что бы Вы предложили в качестве меры (мер) борьбы / предупреждения плагиата текста?» – открытый и был рассчитан на заинтересованность и ответственность опрашиваемых.

В табл. 4 приведены меры в порядке убывания повторов.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Что бы Вы предложили в качестве меры (мер) борьбы / предупреждения плагиата текста?»

No	Предложение / мера	Количество повторов
1	Публичная информация о случаях плагиата, максимальная гласность, информирование авторов	6
2	Создание экспертной комиссии, тщательная экспертиза научных публикаций и диссертаций	3
3	Рассматривать применение плагиата как серьёзный удар по репутации	3
4	Воспитание нетерпимости к плагиату	3
5	Отменить количественную оценку деятельности учёных (обязательное количество публикаций в год)	3
6	Система штрафов	2
7	Работа со студенческими статьями и курсовыми работами	2
8	Искать более подходящие критерии оценивания, изменить систему критериев заимствований	2
9	Рассматривать на предмет плагиата каждый конкретный случай	1
10	Вести разъяснительную работу	1
11	Менять систему образования	1
12	Популяризация ценности науки	1
13	Нужно проверять смысл текста, а не дословность изложения, по-	1
	скольку проблема не в плагиате текста, а в плагиате научной идеи	
14	Снизить требования к учёным со стороны администрации	1
15	Использовать социальные сети	1
16	Лишать учёной степени	1
17	Законодательно закрепить определение плагиата	1

По табл. 4 мы видим, насколько различаются меры, во-первых, по своему масштабу; во-вторых, по содержательному вектору, что позволяет объединить их в группы: организационные, моральные и меры-санкции. Любопытно, что мера № 2, в качестве выбранного варианта в табл. 1 отсутствует (вопросменю «Просим Вас выбрать определение плагиата, наиболее соответствующее Вашим представлениям…»). Поскольку вопрос открытый, обнадёживает тот факт, что почти половина опрошенных (33 человека) высказались и не остались равнодушными к проблеме. Предложения, касающиеся публичности, представляются обоснованными в отличие от предложений оправдательного характера, к каковым можно отнести завышенные требования к учёным со стороны администрации, поскольку присвоение чужого текста и / или идей в первую очередь безответственно.

Заключительным в анкете был вопрос «Просим Вас проранжировать влияние на плагиат следующих аспектов» (1 – влияние отсутствует; 2 – сла-

бое влияние; 3 – сильное; 4 – очень сильное; 5 – это основной фактор). Этот вопрос связан с предыдущим, так как результаты приведены в табл. 5.

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Просим Вас проранжировать влияние на плагиат следующих аспектов»

Nο	Содержание аспекта	Позиция	Результат ранжирования
- 1-	Содержите испекти	шкалы	(количество голосов)
1	Технологический аспект: возможности современной	1	4
	техники, скорость копирования, информационно-	2	9
	технологическая грамотность	3	21
		4	11
		5	19
2	Социокультурный аспект: давление на учёных, требо-	1	1
	вания результатов исследований, повышение качества	2	9
	профессионального роста, сжатые сроки, ограниченные	3	16
	ресурсы	4	21
		5	16
3	Личностно-психологический: мотивация к интеллекту-	1	12
	альной краже у конкретного исследователя ввиду от-	2	8
	сутствия моральных обязательств	3	11
		4	7
		5	24
4	Другое:		
	«Престиж учёной степени» можно отнести к аспекту 3		
	«Лишние люди в науке» можно отнести к аспекту 2		
	«Давление чиновников от науки» можно отнести к ас-		
	пекту 2		
	«Заключение «эффективного контракта» (можно отне-		
	сти к аспекту 2)		
	«Защита диссертации даёт бонусы» (можно отнести к аспекту 3)		

По табл. 5 можно уверенно заключить, что все три аспекта, предложенных в анкете, по мнению опрошенных, оказывают сильное влияние на плагиат, но наиболее значимой его причиной оказывается социокультурный аспект. В общем, это отражает привычную действительность вузовской работы, загруженность преподавателей выполнением требований эффективного контракта и обилие методической документации. Однако налицо смещение ответственности за плагиат с исследователей на субъектов, не имеющих непосредственного отношения к науке. «Другие» единичные варианты, по сути, относятся к указанным аспектам. Следовательно, на данный момент три предложенных фактора для опрошенных оказываются исчерпывающими (что не исключает действие и других факторов за рамками данного опроса).

Таким образом, можно сделать вывод, что все вопросы, включенные в инструмент для проведения пилотажного опроса, дали свои результаты и их нельзя назвать «неработающими», напротив, полученные данные позволяют раскрыть и приблизительно оценить общее отношение к плагиату в научном сообществе, более того, обозначить направления дальнейшего анализа данного явления. Считаем целесообразным провести подобные опросы в научно-академических сообществах ведущих вузов регионов, чтобы не столько удостовериться в масштабах ценностных деформаций, сколько обобщить знание о социальной проблеме плагиата и дать ей должную этическую оценку.

Литература

- 1. Chinese checkers // Nature. 2018. Vol. 558. June 14. P. 162. DOI: 10.1038/d41586-018-05359-8
- 2. Заякин А. К итоговому документу Международной научно-практической конференции «Проблемы качества научной работы и академический плагиат» // Троицкий вариант. 2018. № 22 (266). С. 10.
- 3. *Итоговый* документ Международной научно-практической конференции «Проблемы качества научной работы и академический плагиат» // Троицкий вариант. 2018. № 22 (266). С. 10–11.
- 4. *Рудаков В.Н.* Практики нечестного поведения (академического мошенничества) в российских вузах // Мониторинг экономики образования. 2018. Вып. 19 (85). С. 1–4.
- 5. Paglieri F. Reflections on Plagiarism // Topoi. 2015. Vol. 34. P. 1–5. DOI: 10.1007/s11245-015-9313-8
- 6. *Penders B*. Beyond Trust: Plagiarism and Truth // Bioethical Inquiry. 2018. Vol. 15. P. 15–32. DOI: 10.1007/s11673-017-9825-6.
- 7. Chapman S.T. Ethics Lessons Learned While Editing the Monthly: Modern Publishing Is Raising New Issues // Notices of the AMS, 2018. Vol. 65, № 10. P. 1270–1272. DOI: 10.1090/noti1740
- 8. Shahabuddin S. Plagiarism in Academia // International Journal of Teaching and Learning in Higher Education. 2009. Vol. 21, № 3. P. 353–359.
- 9. *Баландина Э. Г.* Проблема запрета на повтор-плагиат в современной науке // Социология науки и технологий. 2015. Т. 6, № 1. С. 65–73.
- 10. Мартин Д. Психологические эксперименты: Секреты механизмов. СПб. : Прайм-Еврознак; М. : Нева, 2002. 477 с.
- 11. *Мурзилов В.А.* Мысли о плагиате. URL: https://www.dekanblog.ru/mysli-o-plagiate (дата обращения: 21.02.2019).
- 12. *Научное* сообщество объединяется против нарушений этики научных публикаций // URL: https://wciom.ru/index.php?id=237&uid=8907 (дата обращения: 21.02.2019).

Valentin A. Bazhanov, Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russian Federation).

E-mail: vbazhanov@yandex.ru, http://staff.ulsu.ru/bazhanov

Olesya A. Kozina, Ulyanovsk State University (Ulyanovsk, Russian Federation).

E-mail: lesenka2010@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 225–235.

DOI: 10.17223/1998863X/48/22

THE PLAGIARISM PHENOMENON AND ITS PERCEPTION IN THE ACADEMIA

Keywords: plagiarism; self-plagiarism; conscientiousness – unconscientiousness; peer-reviewers; opponents.

The article analyzes the plagiarism phenomenon from the point of view of Russian and foreign scholars. The authors demonstrate different opinions on this phenomenon related to the comprehension of the nature of science and to various cultural traditions. The opinions range from a rather tolerant attitude towards plagiarism to a radically intolerant one. The complex and ambiguous position of peer reviewers and experts in the system of ethical relations of all subjects of scientific publications is shown. The article focuses on the situational and dynamic traits of scientific ethos. In general, the main idea of the article is the unconditional diffusion of plagiarism with its stable place in the reality and in the perception of the academia members. An attempt has been made to examine the ethical interrelationship of the two most important social institutions – education and science – in the context of the value shift in society. Plagiarism is particularly relevant in the academic milieu. Fighting scientific plagiarism is not a rhetorical question. The scale of plagiarism according to Russian scholars has been revealed through a local sociological survey; its results are presented in the article. A study in a particular university allowed the authors to assess the perception of plagiarism from the standpoint of the "permissible - impermissible" attitude, and to reveal various shades of this attitude. The authors proved the adequacy of the developed research tool (a questionnaire), which is important in view of the delicacy of the topic. The questionnaire was compiled based on the discourse on the distribution of plagiarism in the Russian academic community, taking into account the opinions of leading experts and scholars - sociologists, political scientists, and philosophers. The data obtained allow to draw a

conclusion about the undoubted relevance of the problem of scientific plagiarism, the features of which are: abundance, complexity and ambiguity, dependence on the situation and on the most decisive sociocultural factor (pressure on scholars, demand of research results, improvement in the quality of professional growth, deadlines, limited resources). Other important factors are technological (the possibilities of modern technology, copying speed, information technology literacy) and personal psychological (motivation for intellectual theft from a particular researcher due to the absence of moral obligations). The survey clearly showed that plagiarism is perceived primarily as misappropriation of someone else's achievements and violation of non-property rights. Unfortunately, the question of the inadmissibility of scientific plagiarism remains open: only half of the representatives of the academic community who volunteered to participate in the survey claim this. The authors found that the problematic range, based on the opinion of the respondents, was from 30 to 40% of plagiarism in a research work. It is indicative that about half of the respondents consider the activity of Dissernet.org useful. In general, the authors do not consider the ethical side of scientific plagiarism to be clarified and unambiguous. This should be discussed in further publications of the results of a more methodologically thorough research. The authors claim that it is scholars who committed plagiarism that are fully responsible for this violation of scientific ethos that grossly distorts the meaning and goals of scientific activities.

References

- 1. Anon. (2018) Chinese checkers. Nature. 558. pp. 162. DOI: 10.1038/d41586-018-05359-8
- 2. Zayakin, A. (2018) K itogovomu dokumentu Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Problemy kachestva nauchnoy raboty i akademicheskiy plagiat" [Comment to the final document of the International scientific-practical conference "Problems of the quality of scientific work and academic plagiarism"]. *Troitskiy variant*. 22(266). pp. 10.
- 3. Anon. (2018) Itogovyy dokument Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii "Problemy kachestva nauchnoy raboty i akademicheskiy plagiat" [The final document of the International scientific-practical conference "Problems of the quality of scientific work and academic plagiarism"]. *Troitskiy variant.* 22(266). pp. 10–11.
- 4. Rudakov, V.N. (2018) Praktiki nechestnogo povedeniya (akademicheskogo moshennichestva) v Rossiyskikh vuzakh [Practices of dishonest behavior (academic fraud) in Russian universities]. *Monitoring ekonomiki obrazovaniya Monitoring of Education Markets and Organizations*. 19(85). pp. 1–4.
- 5. Paglieri, F. (2015) Reflections on Plagiarism. *Topoi*. 34. pp. 1–5. DOI: 10.1007/s11245-015-9313-8
- 6. Penders, B. (2018) Beyond Trust: Plagiarism and Truth. *Bioethical Inquiry*. 15. pp. 15–32. DOI: 10.1007/s11673-017-9825-6.
- 7. Chapman, S.T. (2018) Ethics Lessons Learned While Editing the Monthly: Modern Publishing Is Raising New Issues. *Notices of the AMS*. 65(10). pp. 1270–1272. DOI: 10.1090/noti1740
- 8. Shahabuddin, S. (2009) Plagiarism in Academia. *International Journal of Teaching and Learning in Higher Education*. 21(3), pp. 353–359.
- 9. Balandina, E.G. (2015) The Problem of the ban on repeated plagiarism in modern science. *Sotsiologiya nauki i tekhnologiy Sociology of Science and Technology*. 6(1). pp. 65–73. (In Russian).
- 10. Martin, D. (2002) *Psikhologicheskie eksperimenty. Sekrety mekhanizmov* [Doing Psychology Experiments]. Translated from English by S, Rysoev, S. Chiligarova. St. Petersburg: Praym-Evroznak; Moscow: Neva.
- 11. Murzilov, V.A. (n.d.) *Mysli o plagiate* [Thought on Plagiarism]. [Online] Available from: https://www.dekanblog.ru/mysli-o-plagiate. (Accessed: 21st February 2019).
- 12. Russian Public Opinion Research Center. (2018) *Nauchnoe soobshchestvo ob"edinyaetsya protiv narusheniy etiki nauchnykh publikatsiy* [The academic community unites against violations of the ethics of publications]. [Online] Available from: https://wciom.ru/index.php?id=237&uid=8907. (Accessed: 21st February 2019).

УДК 1(091)

DOI: 10.17223/1998863X/48/23

К.А. Ролин

ВИТГЕНШТЕЙН И СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ1

Рецензия на книгу Альбера Ожьена «Практические действия: Витгенштейн, прагматизм и социология»)

В статье дан краткий обзор книги французского социолога Альбера Ожьена «Практические действия: Витгенитейн, прагматизм и социология». Основное внимание сосредоточено на сопоставлении прагматизма и социологических исследований (близких к прагматизму на уровне общего подхода к природе социальной реальности) и на возможности инкорпорирования некоторых идей Людвига Витгенитейна в социологию. Ключевые слова: Витгенитейн, Гофман, прагматизм, следование правилу, форма жизни, ситуация, этнометодология, интеракционистская социология.

В 2018 г. в издательстве «Cambridge Scholars Publishing» вышла книжка французского социолога Альбера Ожьена (брат французского философа Рувена Ожьена) «Практические действия: Витгенштейн, прагматизм и социология» [1]. Альбер Ожьен дважды приезжал в Москву. В последний приезд (четыре года назад) выступал с несколькими лекциями (видео доступно для широкой аудитории в сети Интернет). На русском языке опубликована только одна статья социолога «Уличная политика и политика голосования» [2]. Среди важных для Ожьена имен отметим исследователя повседневности и создателя этнометодологии Гарольда Гарфинкеля. Другой ключевой автор – Ирвинг Гофман. Он занимался исследованиями повседневности и известен как создатель «символического интеракционизма». Оба автора сходно отвечают на поставленный Дюркгеймом на заре социологии вопрос о природе обязательства и совместного действования (сообщество функционирует посредством разделения и исполнения индивидами общих принудительных обязательств). Согласно Дюркгейму совместные действия (в соответствии с обязательствами) могут рассматриваться в контексте глобальной структуры социального порядка (и внимание сосредоточено на функционировании социальных институтов) или же в контексте практической активности в рамках (внутри системы фреймов – если воспользоваться термином Гофмана) непосредственных общих совместных действий. Гофман и Гарфинкель выбирают вторую альтернативу. Согласно Гарфинкелю производство социального порядка носит локальный характер (и именно внутри такого порядка обнаруживаются, воспроизводятся и обосновываются социальные обязательства и социальная нормативность) (см.: [3]). Для Гофмана внутри сформированной системы фреймов определяющее значение закреплено за структурой человеческого опыта. Последняя воспроизводится в практическом действии и не спускается сверху от социальных институтов к индивидам. Здесь и берет

¹ Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 18-78-10082).

начало интерес Ожьена к внеинституциональным формам протестных движений.

Социальный порядок и нормативность воспроизводятся (поддерживаются и обосновываются) в совместном действии людей. Вот основной посыл микросоциологических исследований Ожьена.

Новая книжка Ожьена состоит из шести небольших глав. Самые большие посвящены Витгенштейну и прочтению Гарфинкелем Джорджа Герберта Мида. В последней главе разбирается концепция демократии Джона Дьюи. В настоящем обзоре главный интерес будут представлять прослеженные Ожьеном пересечения прагматизма и социологии (от теории до эмпирических исследований) и вклад в социологию Людвига Витгенштейна (через призму прагматистского подхода) (ссылки на книгу Ожьена приводятся в круглых скобках с указанием страниц соответствующего издания). Соответственно, внимание будет сосредоточено на сопоставлении прагматизма и близких к прагматизму (на уровне общего подхода к природе социальной реальности) социологических исследований — первая часть обзора и на инкорпорировании Витгенштейна в социологию — вторая часть.

В настоящем обзоре мы допускаем близкий к тексту пересказ основных тезисов.

T

Согласно Альберу Ожьену перед нами ключевые вопросы социологии знания и социологии действия. Одним из первых методологические трудности анализа действия (как возможен анализ действия...) описал Стивен Тулмин. Одновременно: вне социальной деятельности и совместного действования людей исследование знания малопродуктивно. Здесь на первый план для Ожьена выходят некоторые положения прагматизма и известное определение Витгенштейна «значение слова есть употребление» (по аналогии: знание исчерпывается «употреблением» в рамках социальной деятельности). Автор ссылается на Тулмина. Тулмин отмечает: объединенное наследие Дьюи и Витгенштейна открывает для нас новые возможности в психологии и социальной теории (итальянский режиссер Пьер Паоло Пазолини считал Витгенштейна и потенциальным антропологом). Ожьен намерен показать (через анализ понятий и связанных концепций формы жизни, исследования (inquiry заимствованный у Пирса термин Дьюи) и определения ситуации (Гофман)) неотделимость объективности знания от соответствующего практического контекста (1-8). Для Ожьена позиция Витгенштейна, прагматизм Дьюи и «реалистический интеракционизм» Гофмана отчасти совпадают: в каждом случае теория знания не может быть отделена от теории действия. И здесь возможно выделить следующие общие принципы: 1. Радикальная незавершенность (знание неизбежно и постоянно переопределяется в процессе деятельности). 2 Контекстуальная природа опыта. 3. Объекты и события становятся фактами только вследствие повторяющейся последовательности совместных действий.

Перезагрузка социологии посредством прагматизма (первая глава). Прагматизм, постоянно утверждает Ожьен, формирует не набор теоретических положений, но определенный настрой, который предполагает бесконечную открытость мира и возможность увидеть человека частью природной

238 К.А. Родин

материальной среды (9). Действительно, под прагматизмом можно подразумевать разные направления: прагматизм отцов-основателей (учение о знаках и философия логики и математики Чарльза Пирса, эмпирицизм Уильяма Джеймса, теория «inquiry» и опыта Джона Дьюи, социальный бихевиоризм Джорджа Герберта Мида), современный американский прагматизм (Патнем, Рорти и Брэндом). Ожьену интересен этот общий настрой, который Х. Патнем суммировал в четырех отличительных признаках прагматизма: 1. Антискептицизм (сомнение рассматривается как источник знания и inquiry). 2. Фаллибилизм (никакое убеждение не располагает метафизическими гарантиями и может быть пересмотрено). 3. Отрицание противопоставления факта и ценности (люди постоянно наделяют факты ценностью). 4. Приоритет практики над теорией. Фаллибилизм необязательно заканчивается скептицизмом: сомнение не ведет к отказу от поиска истины. Сочетание фаллибилизма и антискептицизма обнаруживается в «реалистичном интеракционизме» в рамках анализа совместного действия: в принципе социальное поведение обозримо (foreseeable) и одновременно - совершенно непредсказуемо (unpredictable). Согласно автору прагматизм в определении Патнема дает возможность социологам спокойно признать, что совместная деятельность людей руководствуется двумя «противоречащими» принципами: деятельность заранее определена (в такой-то ситуации мы ожидаем определенных действий) и одновременно допускает изменчивость и неопределенность (11–12).

Ожьен подробно останавливается на понятиях Гофмана «ситуация» и «определение ситуации». Гофман отрицает необходимость рационального обдумывания ситуации: согласованности действий достаточно для совместной практики и общего понимания происходящего. Поддержание определенности ситуации в рамках повседневного взаимодействия организуется правилами (где правила внутри ситуации определяют соответствие несоответствие действий происходящему). Однако правила оказываются в определенной мере безосновательными и хрупкими (хотя именно правилам мы обязаны нашим более или менее устойчивым восприятием реальности) (14-15). Для прагматизма существенными являются сомнение и неопределенность. Здесь проявляется различие между Гофманом и Дж.Г. Мидом. Для последнего взаимодействие должно прийти к завершению в результате получения ожидаемого результата (ответа) (бихевиоризм). Для Гофмана ответ всегда может быть понят как незавершенный и неокончательный. Неопределенность преобладает. Но, как таковая, ситуация есть типичная стабильная часть социального мира (она жестко определяет поведение индивида). Предсуществующая ситуация функционирует как социальный институт (не будучи социальным институтом) и задает внеличностные критерии определения происходящего. Согласно Гофману так и организуется социальный опыт. Неопределенность сочетается с системой жестких поведенческих предписаний (16-17).

Прагматизм и социология связаны и через понятие множественности миров (плюрализм). Для Ожьена на первый план здесь наряду с Гофманом выходит и Гарольд Гарфинкель. Плюрализм в социологии затрагивает не истину, но нормативность и регуляторную функцию нормативности (нормативность координирует совместные действия). Социологический подход к плюрализму основывается на двух фактах: 1. Наш мир фрагментарен + любая

организованная практическая активность представляет собой социальный мир. 2. Люди внутри повседневности знают, как переместиться из одного социального мира в другой, и не сталкиваются здесь с особыми трудностями. В рамках плюрализма социальных норм социологи и прагматисты совместно приписывают человеку свободу выбора: нормы только на какое-то время признаются ценными (норм придерживаются в установившихся обстоятельствах и в каждом отдельном совместном действовании). Кроме того: 1. Люди, по существу, осведомлены о нормах (и поэтому, в частности, нормы не работают на уровне только внешних ограничений, как считалось в традиционной социологии). 2. Нормы предоставляют обоснование и объясняют происходящее в конкретной ситуации совместного действия. Принцип плюрализма норм и нормативных порядков, по сути, предлагает социологическую версию важного прагматистского положения: отказ от противопоставления фактов и ценностей (18–19).

Этнометодология рассматривается автором как верификация прагматизма на поле социологии. Действительно (автор ссылается здесь на работу Мустафы Эмирбайера и Дугласа Мэйнорда), этнометодологический подход предполагает определенные «прагматистские» положения: 1. Объяснение социального мира требует возврата к социальным практикам. 2. Именно проблемные ситуации заставляют объединяться на практике ради выработки общих решений, что приводит к формированию «коллективного разума». 3. Естественный характер социальной жизни проявляется через определенный порядок практик (наиболее важной частью которых выступает использование языка). Так последовательный анализ практической активности, предложенный Гарфинкелем и последователями, эмпирически обосновывает прагматистский подход (20). Подход основывается на трех методологических принципах (источник которых можно обнаружить в прагматизме): 1. При объяснении происходящего не прибегать к абстрактным категориям теоретических моделей. 2. Не принимать в расчет разделение факторов на внутренние и внешние (внешние факторы включены в общее действование и не определяют практику извне). 3. Отказаться от противопоставления факта и ценности.

Во второй главе (прагматизм и социология) Альбер Ожьен останавливается на отдельных социологических исследованиях (например, на прагматистской экологии Эмили Хаш). Но главный интерес представляет критический разбор работы Антти Гронова «От привычек к социальным структурам» (2011). Гронов под «прагматическим подходом» объединяет ряд социологических направлений от интеракционизма до (даже) структурного функционализма. В список попадает теория рационального выбора, политическая социология Чарльза Тилли, работы Амартия Сена и понятие габитуса Бурдьё. Столь разные направления объединяются благодаря своего рода редукционизму: прагматизм в социологии исчерпывается для Гронова основанной на понятии «привычки» теорией действия. Действие «производит» структуры структуры же, в свою очередь, воспроизводятся благодаря закреплению действия в привычке (26). Однако в прагматизме Дьюи и Мида привычка не сводится к механической стандартной реакции. Привычка переходит в убеждение (belief) в результате прошлого успешного решения практических проблем. Любые непредвиденные обстоятельства через пересмотр старых 240 К.А. Родин

убеждений заставляют принимать новые. Поэтому привычка работает как внешняя статичная схема действования, но одновременно она подвержена постоянному изменению. Гронов игнорирует проблему двойственности привычки (27). И главное, привычка, по Гронову, играет роль посредника между действием и социальными структурами. Здесь автор видит след Роберта Мертона. Последний призывал социологию оставить попытки создания общей теории действия и заняться теориями среднего уровня. Привычка в таком контексте должна выступать «средним» объяснительным механизмом для понимания социальных связей, культурных предпочтений или феномена сегрегации и пр.: нет необходимости возводить к другим (глобальным) социальным структурам (здесь можно провести аналогию с подходом аналитической социологии). Но подобные прагматистские теории социальных механизмов-посредников противоречат прагматистскому настрою (в частности, фаллибилизму) (27–28). Аргументы Альбера Ожьена против внешнего характера механизмов связи между действием и социальными структурами во многом совпадают с критикой Витгенштейном «внешних отношений» (внутренние отношения подменяются внешними) (см. вторую часть обзора).

Мы не включаем в обзор некоторые (весьма неожиданные) более специализированные главы «Гарфинкель читает Мида» и «Исследование (inquiry) как практика». Переходим к Витгенштейну.

П

Ожьен почти не рассматривает обширную литературу по Витгенштейну и прагматизму. Как почти не рассматривает и различные попытки внедрить идеи Витгенштейна в социологию. Однако собственный контекст работы Ожьена (обрисованный выше) вполне позволяет пропустить возможный здесь обзор существующей литературы.

Итак, условно витгенштейнианская концепция социальности. Возможные точки сближения Витгенштейна и социологии по Ожьену (38): 1. Витгенштейн не признает единую конечную систему норм (в сравнении с детерминистской концепцией социальной нормативности). Система норм напоминает скорее открытое множество контекстно зависимых нормативных порядков. Нормативные порядки включают внешние (связанные с обществом и общественными институтами) и внутренние (в порядке взаимодействия между людьми) ограничения. 2. Социальная нормативность включена в «естественную историю человечества» (термин Витгенштейна). Обязательные (нормативные) способы говорить и вести себя приобретаются в процессе обучения и тренировки. Другими словами, обязательства включены в форму жизни. 3. Форма жизни представляет собой связанный с контекстом нормативный порядок. Только внутри некоторой формы жизни приобретают значение совместные действия и речевые практики. 4. Поэтому понимание рассматривается как общая для людей (некоторой формы жизни) практика производства понимания. 5. Включенные в повседневность рациональные суждения - результат совместного действования (и суждения служат координации и согласованности действий).

Дальше Альбер Ожьен формулирует вопрос: как определить понятие «социальности»... Джон Сёрл (например) считал, что социальность – это сочетание эволюции и самореферентности (self-referentiality). Нормативность

же Сёрл объединяет с понятием фона. При таком подходе совершенно игнорируется множественность практических контекстов и не рассматривается совокупность налагаемых на действия отдельного человека ограничений. Значительно более продуктивно определять социальность через понятие слепого послушания и следования правилам (39). Однако можно ли из замечаний Витгенштейна о слепом следовании правилам выделить и сформулировать понятие «социального»... (40). Для ответа на этот вопрос Ожьен возвращается к Дюркгейму. Феномен обязательства (по Дюркгейму) исчерпывает предмет социологии. Внешние ограничивающие социальные силы субсуммируются в понятие обязательств. Обязательства же возникают благодаря объединению людей в сообщество. Так и формируются обязывающие отношения и кооперация. Объединение предшествует и оказывается источником социальных обязательств. Социальность есть определенная структура сообщества и одновременно специфическая человеческая способность к совместному действованию. Здесь пролегает условная граница между функционалистской и интеракционистской социологией. Но Альбер Ожьен берет на вооружение более широкое различие между морфологической и «аналитической социологией». Первая изучает распределение (стратификацию) индивидов по группам и классам, соответствующую иерархию власти в некотором общественно-политическом строе, ценности и отношения членов общества. природу и функции общественных институтов. И в морфологической социологии важны объективные переменные: возраст, пол, профессия, воспитание, статус, доход, благосостояние, социальный капитал, расовая и религиозная принадлежность и пр. Здесь социология выступает как объяснительная наука (использующая схему гипотетико-дедуктивного подхода) и социальные факты рассматриваются предметно. Аналитическая социология, напротив, рассматривает социальное в рамках совместного действования людей. Первую роль здесь играет эмпирическое исследование повседневных практик, а факты возможны только в порядке «представления» непосредственных участников социального действия (интенциональная природа фактов). Интенциональность отсылает не к субъективной воле или к сознанию, а к практическому согласию относительно «происходящего». Внутри поля согласия координируется совместное действие. И интенциональность показывает себя через выполнение общих действий в согласии с другими людьми (41). В морфологической социологии согласованность – результат действия машины социальных институтов, тогда как в аналитической социологии она становится проблемой: согласованность как-то реализуется на каждом отдельном этапе совместного действия.

Именно для аналитической социологии Витгенштейн может быть полезным.

Далее по тексту автор вновь возвращает нас к Дюркгейму. Общее у Дюркгейма и Витгенштейна, по Ожьену: анализ человеческого поведения должен быть привязан к соответствующей социальной среде (которая и наделяет поведение смыслом) + определенного рода натурализм: никакое человеческое действие нельзя отделить от социальности человека как такового. Но для Дюркгейма человеческий вид приспособился жить в группах и воспринимает мир через коллективные практики (последние подразумевают набор определенных общих действий и способов мышления). А для Витгенштейна

242 К.А. Родин

социальность принадлежит «естественной истории человечества» (внутри которой и определяются усвоенные благодаря раннему обучению способы поведения и речевой практики). Нет смысла (или невозможно в принципе) говорить о причинах или механизмах устойчивости и поддержания соответствующих социальных порядков: невозможно полностью обозначить состав естественной истории и определить степень влияния (детерминации) естественной истории на правильность (адекватность) использования в повседневной социальной жизни (усвоенного) здравого смысла. Дюркгейма интересует природа отношения между обществом и индивидами. И здесь должен быть найден или задан какой-то опосредующий внешний связывающий индивидов и общество «механизм», тогда как для Витгенштейна отношение между отдельными индивидами и обществом напрямую демонстрирует себя в совместном действовании и в согласованном использовании повседневного языка. Между индивидами и обществом устанавливаются внутренние отношения. Кроме повседневной социальной практики, отношения не подразумевают посредничества. Здесь факт согласованности и адекватность действия – прямой критерий принадлежности индивида к обществу. Дюркгейм разрабатывает теорию для объяснения природы согласованного действования, Витгенштейн же видит оснований для постановки вопроса: социальность уже заранее встроена в человеческое поведение (43). Ожьен справедливо ссылается на Питера Уинча. Уинч был первопроходцем социологического прочтения Витгенштейна.

Логика Уинча следующая: сущность социального кроется в понимании (общая осмысленная включенность в совместные социальные практики) понимание не сводится к объективным фактам - социология (в позитивистском изводе) не способна объяснить социальные феномены. Любое осмысленное поведение (любое специфически человеческое поведение) ipso facto управляется правилом. Приписать кому-либо «следование правилу» (когда позиция наблюдателя позволяет со стороны предположить некоторую осмысленность в наблюдаемых действиях) можно только, если: 1. Манифестирована сфера практической активности (неизбежно включает реакцию людей на наблюдаемое (испытываемое) внутри определенной ситуации действие - реакция и согласованное действие не могли бы возникнуть без возможности видеть в действиях другого человека следование правилу). Иначе говоря, должен существовать контекстно зависимый нормативный порядок (44). 2. Правилосообразное поведение приписывается не отдельному индивиду. Практические обстоятельства действия постоянно переопределяют существо происходящего и логические (в смысле внутренней логики происходящего) ограничения для каждого участника действия. Для конкретного «следования правилу» не существует критерия тождества - кроме несовершения ошибки (вот почему существенной является все-таки возможность совершить ошибку). Парадоксы следования правилу на практике просто не наблюдаются. 3. Следование правилу невозможно редуцировать к механическому применению инструкций. Но наблюдатель все равно сможет констатировать априорное существование некоторых требований (как бы заранее организующих деятельность). Так, обучение счету предполагает следование образцу - и одновременно способность распространить образец на множество других случаев. Внутри общей формы жизни люди предчувствуют внутреннее отношение между понятиями (или же схематическими образцами) и согласованным совместным действием (действиями). Понимание демонстрируется публично и не требует объяснения или обоснования. Однако люди почти всегда могут предъявить правило в качестве объяснения собственных действий. Понимание и знание содержатся (и формируются) на практике (и поэтому необязательно привязаны к какому-либо буквальному содержанию или объективному значению) (45). Ожьен продолжает Уинча: социальная нормативность (вместе с пониманием и знанием) устанавливается внутри форм жизни (определенными связными языковыми, культурными и поведенческими практиками, внутри которых только и можно говорить о понимании и знании). Форма жизни предъявляет отдельным индивидам безличные публичные требования (47).

Отдельное внимание Альбер Ожьен уделяет прочтению заметок Витгенштейна о «Золотой ветви» Дж. Фрезера» и заметок под названием «О достоверности». В «первых» заметках Витгенштейн наметил слабое и сильное определение «понимания». Последнее предполагает интуитивное схватывание происходящего в рамках определенной среды. Непосредственность и мгновенность подобного схватывания исключает доступ наблюдателя (не включенного в соответствующую форму жизни). Такое определение понимания сводится к аффектам и эмоциям и предполагает тесное (и даже непосредственно телесное) знакомство со средой. Здесь исключена любая возможность стороннего понимания. Более слабая версия «понимания» предполагает возможность понять (скажем, словесное выражение зубной боли) без непосредственной вовлеченности (не испытывая зубную боль). Любой опыт принципиально может быть передан другому человеку (пусть последний и незнаком с таким опытом на собственном опыте). Социолог может достигнуть существенного понимания определенного действия при условии достаточной восприимчивости по отношению к другой чужой форме жизни (уместно вспомнить про бессмысленность «индивидуального языка»). Зубная боль, верования, моральные и политические обязательства, проституция, фабричная работа, употребление наркотиков и психотропных веществ всетаки поддаются пониманию (для чего не обязательно быть проституткой, наркоманом, фабричным рабочим или приверженцем ритуального культа). И эмпатия не играет никакой роли. Возможность разделять ожидания (общность) с другими людьми - следствие нашей принадлежности естественной истории человечества (48). Витгенштейну обычное поведение людей (человеческого рода) представляется системой отсылок, посредством которых мы интерпретируем незнакомый язык. В заметках «О достоверности» Витгенштейн проводит различие между достоверностью и знанием. Достоверность исключает сомнение (знание, напротив, предполагает возможность сомнения, а следовательно, проверку или обоснование). Некоторые базовые пропозиции (псевдопропозиции) остаются безосновными и сами формируют основания наших осмысленных высказываний (основания для пропозиций знания). Сама достоверность - вне возможности обоснования или опровержения. При этом не существует строго определенного множества базовых пропозиций. В зависимости от контекста базовые пропозиции могут быть эмпирическими (и наоборот). Представим нелепую ситуацию: человек сидит в больнице у постели больного и говорит: «Я знаю: я сижу в больнице у постели больного»

244 К.А. Родин

(49–50). Несомненные вещи видно из ситуации (снова вспомним Гофмана). Обычай навещать больного включен в определенную форму жизни. Форма жизни срабатывает в качестве нормативного общественно понятного порядка (действий). Знание снова оказалось неотделимым от опыта. Предложение имеет смысл, только если мыслимыми оказываются практические эффекты и определенный диапазон соответствующих действий.

Литература

- 1. Ogien A. Practical Action: Wittgenstein, Pragmatism and Sociology. Cambridge Scholars Publishing, 2018.
- 2. *Ожьен А.* Уличная политика и политика голосования // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13, № 1. С. 38–51.
 - 3. Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер. 2007.

Kirill A. Rodin, Institute of Philosophy and Law of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk, Russian Federation).

E-mail: rodin.kir@gmail.com

Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya – Tomsk State University Journal of Philosophy, Sociology and Political Science. 2019. 48. pp. 236–244.

DOI: 10.17223/1998863X/48/23

WITTGENSTEIN AND SOCIAL STUDIES (REVIEW OF ALBERT OGIEN'S PRACTICAL ACTION: WITTGENSTEIN, PRAGMATISM AND SOCIOLOGY)

Keywords: Wittgenstein; Hoffman; pragmatism; rule-following; form of life; situation; ethnomethodology; interactionism.

In 2018, Cambridge Scholars Publishing published a book by French sociologist Albert Ogien, Practical Action: Wittgenstein, Pragmatism and Sociology. Among persons important for Ogien is Harold Garfinkel, the founder of ethnomethodology, and Irving Hoffman, the creator of symbolic interactionism. These authors respond in a similar way to the question of the nature of obligation and common action posed by Durkheim at the dawn of sociology (the community functions through the sharing and execution of common compulsory obligations by individuals). According to Durkheim, common actions can be viewed in the context of the global structure of social order (and attention is focused on the functioning of social institutions), or in the context of practical activity within the framework of direct common actions. Hoffman and Garfinkel choose the second alternative. According to Garfinkel, the production of social order is of a local nature (and it is within this order that social obligations and social norm are found, reproduced and justified). According to Hoffman, the structure of human experience is of decisive importance within the formed frame system. The structure of human experience is (also) reproduced in practical action and does not descend from above social institutions to individuals. This is the main theme of Ogien's microsociological approach. Ogien's new book consists of six small chapters. The biggest ones are devoted to Wittgenstein and to Garfinkel's reading of George Herbert Meade. The final chapter deals with John Dewey's concept of democracy. In the review, the main interest lies in the intersections of pragmatism and sociology traced by Ogien (from theory to empirical research) and in Ludwig Wittgenstein's contribution to sociology (through the prism of a pragmatist approach). Accordingly, the author of the review admits retellings of Ogien's main theses.

References

- 1. Ogien, A. (2018) Practical Action: Wittgenstein, Pragmatism and Sociology. Cambridge Scholars Publishing.
- 2. Ogien, A. (2014) Street Politics and Ballot Box Politics. Translated from English by A. Borisenkova. *Sotsiologicheskoe obozrenie Russian Sociological Review.* 13(1), pp. 38–51. (In Russian).
- 3. Garfinkel, G. (2007) *Issledovaniya po etnometodologii* [Studies in Ethnomethodology]. Translated from English. St. Petersburg: Piter.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

АБРАМОВА Елена Алексеевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры теории и практики социальной работы Новосибирского государственного медицинского университета (г. Новосибирск).

E-mail: Elabr72@mail.ru

АНТОНОВ Михаил Валерьевич — кандидат юридических наук, доцент кафедры теории и истории права и государства юридического факультета Санкт-Петербургского филиала Высшей школы экономики (г. Санкт-Петербург).

E-mail: mantonov@hse.ru

БАЖАНОВ Валентин Александрович — заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, действительный член Academie Internationale de Philosophie des Sciences (www.lesacademies.net); зав. кафедрой философии ФГОУ ВО «Ульяновский государственный университет» (г. Ульяновск).

E-mail: vbazhanov@yandex.ru

БЕЛОКОНЕВ Сергей Юрьевич – кандидат политических наук, руководитель департамента политологии и массовых коммуникаций, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва).

E-mail: SYUBelokonev@fa.ru

БРЯНИК Надежда Васильевна – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры онтологии и теории познания департамента философии Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: vastas07@mail.ru

БЫКОВ Роман Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск). E-mail: nimai.bykov@gmail.com

БЫКОВА Елена Юрьевна – кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры общей и педагогической психологии Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: bykova1117@gmail.com

ДАНИЛОВА Лариса Николаевна – доктор педагогических наук, доцент кафедры теории и истории педагогики Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского (г. Ярославль).

E-mail: yar-da.l@mail.ru

ДИДИКИН Антон Борисовия – доктор философских наук, профессор юридического факультета Национального исследовательского университета Высшей школы экономики (г. Москва); ведущий научный сотрудник отдела философии права, истории права и теории права Института государства и права Российской академии наук (г. Москва).

E-mail: abdidikin@bk.ru

ДЫДРОВ Артур Александрович – кандидат философских наук, доцент кафедры философии Южно-Уральского государственного университета.

E-mail: dydrovaa@susu.ru

ЕВГЕНЬЕВА Татьяна Васильевна – кандидат исторических наук, профессор департамента политологии и массовых коммуникаций, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва).

E-mail: etv133@mail.ru

КАТЕРНЫЙ Илья Владимирович – кандидат философских наук, доцент кафедры социологии Московского государственного института международных отношений МИД России, старший научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН (г. Москва).

E-mail: yarkus@mail.ru

КЕРИМОВ Александр Алиевич – кандидат политических наук, доцент, доцент кафедры политических наук, департамент политологии и социологии, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: kerimov68@mail.ru.

КИРИЛЛОВА Наталья Павловна – доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики, Санкт-Петербургский государственный университет (г. Санкт-Петербург).

E-mail: kirillova59@mail.ru

КЛОЧИХИНА Вероника Сергеевна – аспирант кафедры истории философии и логики философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: efr.vs@yandex.ru

КРАСНОПЁРОВ Антон Юрьевич – магистр политологии, аспирант кафедры политологии факультета исторических и политических наук Национального исследовательского Томского государственного университета (г. Томск).

E-mail: krasnopyorov.anton@gmail.com

ЛИСАНЮК Елена Николаевна – доктор философских наук, доцент, доцент кафедры логики, Институт философии СПБГУ (г. Санкт-Петербург).

E-mail: e.lisanuk@spbu.ru

НЕВЕЛЕВА Вера Сергеевна – доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой философских наук Челябинского государственного института культуры (г. Челябинск).

E-mail: vsneveleva@mail.ru

ОГЛЕЗНЕВ Виталий Васильевич — доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории философии и логики Национального исследовательского Томского государственного университета, профессор Западно-Сибирского филиала Российского государственного университета правосудия (г. Томск).

E-mail: ogleznev82@mail.ru

ОПОЛЕВ Павел Валерьевич – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры философия ФГБОУ ВО «Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет» (г. Омск).

E-mail: pvo-sinergetica@rambler.ru

ПЕТРЕНКО Валерия Владимировна – кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры онтологии, теории познания, социальной философии философского факультета Национального исследовательского Томского государственного университета» (г. Томск).

E-mail: vptomsk@mail.ru

РОДИН Кирилл Александрович – кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: rodin.kir@gmail.com

ТИТОВ Виктор Валериевич – кандидат политических наук, старший научный сотрудник департамента политологии и массовых коммуникаций, ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (г. Москва).

E-mail: VVTitov@fa.ru

УДАЛЬЦОВА Мария Васильевна – доктор экономических наук, профессор кафедры социологии Новосибирского государственного университета экономики и управления (г. Новосибирск).

E-mail: a.y.oreshko@mail.ru

ХЛЕБАЛИН Александр Валерьевич — кандидат философских наук, заместитель директора по научной работе Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: sasha khl@mail.ru

ЦЕЛИЩЕВ Виталий Валентинович – доктор философских наук, профессор, научный руководитель Института философии и права Сибирского отделения Российской академии наук (г. Новосибирск).

E-mail: leitval@gmail.com

ЦЕЛИЩЕВА Оксана Ивановна – кандидат философских наук, младший научный сотрудник, сектор философии, Институт философии и права СО РАН (г. Новосибирск).

E-mail: oxanatse@gmail.com

ШИШКОВ Василий Валерьевич – кандидат политических наук, доцент, доцент Института права и безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (г. Москва).

E-mail: fh55@mail.ru

ШУТАЛЕВА Анна Владимировна — кандидат философских наук, доцент кафедры онтологии и теории познания Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург).

E-mail: ashutaleva@yandex.ru

WEBER Marc Andree (ВЕБЕР Марк Андрэ) — Academic Researcher of the Department of Philosophisches Seminar at the University of Mannheim (Mannheim, Germany). Доктор философии, научный сотрудник департамента философских исследований университета Мангейма (г. Мангейм).

E-mail: marc.andree.weber@phil.uni-mannheim.de

Научный журнал

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ

TOMSK STATE UNIVERSITY JOURNAL OF PHILOSOPHY, SOCIOLOGY AND POLITICAL SCIENCE

2019, № 48

Редактор Т.В. Зелёва Оригинал-макет О.А. Турчинович Дизайн обложки Яна Якобсона (проект «Пресс-интеграл», факультет журналистики ТГУ)

Учредитель Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский государственный университет»

Подписано в печать 08.05.2019 г. Дата выхода в свет 14.06.2019 г. Формат $70x100^1/_{16}$. Печ. л. 15,5; усл. печ. л. 20,15; уч.-изд. л. 21,27. Тираж 50 экз. Заказ № 3819. Цена свободная.

Адрес издателя и редакции: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 Томский государственный университет

Издание отпечатано на оборудовании Издательского Дома Томского государственного университета 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, тел. 8(382-2) 53-15-28; 52-98-49 http://publish.tsu.ru; e-mail; rio.tsu@mail.ru